

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

369/2 2.2018

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Анатолий Змиевский. «Зимняя вишня». Памяти погибших при пожаре в
ТРК «Зимняя вишня» (Кемерово) 25 марта 2018 года3

Поэзия

Иван Молчанов-Сибирский. Пусть дольше длится ясная минута4

К 70-летию известного русского поэта

Анатолий Аврутин. И жизнь, и музыка, и свет...22

Александр Щербаков. Слава Богу за всё...31

Александр Сокольников. Воспоминание о прошедшем счастье89

Александр Раевский. Тихо от мороза, и душа тиха...121

Проза

Алексей Зверев. Как по синему морю... *Рассказ*14

Олег Слободчиков. Первопроходцы. *Главы из романа*38

Надежда Калиниченко. Марта Амвросиевна. *Цикл рассказов*104

Владимир Шавёлкин. Пашина душа. *Рассказ*128

Публицистика

Лев Анисов. История создания картины «Иван Грозный и сын его Иван.

16 ноября 1581 года»136

Василий Козлов. «Заметки на белых полях...»147

Критика

Алла Большакова. Память слова и время памяти. *О прозе Валентина Распутина*157

Эдуард Анашкин. Золотистый золотой! *О прозе Николая Иванова*167

Валентина Семенова. Театр и смыслы — это соединимо?..

Эхо Вампиловского фестиваля172

Редакция

К 105-летию со дня рождения писателя Алексея Зверева

Валентин Распутин. С болью и верой, честно и талантливо.....179

<i>К 115-летию со дня рождения поэта Ивана Молчанова-Сибирского</i>	
Владимир Скиф. Осиянный немеркнущим светом	181
Наталья Дулова. Молчановы и Распутины в моей жизни	193

Вернисаж

Григорий Лазарев. Идиллия живописца Сергея Казанцева	202
---	-----

Сулочка к редактору

Борис Барановский. Сказание о графомане	210
«...Исторгая радости рекой...» Литературные пародии	213

Книжная лавка

Владимир Максимов. «...Значит, нужные книги ты в детстве читал»	221
Андрей Хромовских. Эхо незабытого детства	225
Книжная полка	229

События

Лауреаты премии имени Валентина Распутина	232
Валерий Скрипко. Верхушка айсберга. О журнале «Сибирь» (№ 1, 2018)	234
Вячеслав Андреев. Литературный автопробег «Великая Россия»	240
Дарья Некрасова. Кедровые орешки «Сибирячка»	243

Главный редактор **А.Г. БАЙБОРОДИН**

Директор редакции **Ю.И. БАРАНОВ**

Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь **С.В. ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.С. Гурулёв, В.К. Забелло, В.В. Козлов, И.И. Козлов,
А.К. Лаптев, М.П. Попова, О.К. Стасюлевич, Л.А. Сулейманова, В.Н. Хайрюзов.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Л.Н. Заступова.

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600**

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.
Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru
Подписано в печать 14.05.2018 г. Выход в свет: 24.05.2018 г. Формат 70х108/16.
Усл-печ. л. 22. Тираж 1300. Цена свободная.
Издательство: ИП Лаптев А.К. Адрес: 664047, ул. Трудовая, 55-51. Тел. (3952) - 23-38-45.
Отпечатано в типографии: «Репроцентр А1», 664023, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/2.
Тел. 8 (3952) 540-940. E-mail: info@printrepro.ru

АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ

«Зимняя вишня»

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРЕ В ТРК «Зимняя вишня» (КЕМЕРОВО) 25 МАРТА 2018 ГОДА

Что взять теперь с руины этой чёрной,
на мультик заманившей обречённых?
Скатилось горе к нам с вишнёвых веток,
и взрослых жаль, но всё же жальче деток.
Вихры, кудряшки, чёлки и косички
от дьявольской не ускользнули спички.
И кинозал на этаже четвёртом
стал жуткою дорогой в царство мёртвых.
Как будто солнце взорвалось в окошке —
под звон весны погибли наши крошки.
Погибли так, что их кошмарной смерти
невольно ужаснулись даже черти.
На пару с дымом запертые двери
детей скормили огненному зверю.
На вечное «Ну как же это так?!»
нам не ответят ни зола, ни шлак.

Никто не видел ангелов над крышей —
оставил Бог девчонок и мальчишек.
Как за соломинку, во внешний мир стучась,
за телефонную они цеплялись связь.
— Мы задыхаемся! — несло из западни.
— Нас много здесь, но мы совсем одни!
— Мы умираем! Поскорей спасите нас! —
кричали деточки. Но их никто не спас.
Никто не спас. Сгорели телефоны
и малыши в той темноте зловонной.
В той темноте, что в буйстве чада с пеклом
сама и задохнулась, и ослепла.
Расплавив кнопки у судьбы на пульте,
закончился ужасный этот мультик.
Огонь потух, с дверей упали цепи,
а от детей остался только пепел...

Огонь потух. Призвал орёл державный
державу к битве противопожарной.
Нас пронимает лишь одно из двух:
внезапный гром иль жареный петух...
Свечей так много, что от них темно,
игрушек и букетов — горы, но
игрушками, цветами, свечек светом
не искупить стране вины за это.
Тем более — не искупить деньгами.
Такие деньги руки жгут, как пламя.
И на погосте детские могилки
больней для глаза ветки или вилки...
Последний дым уносит в небеса
ребячьи слёзы, всхлипы, голоса.
И напоследок слышится сквозь дым:
— Вас Бог простит, но мы вас не простим.

31 марта 2018 г.

ПОЭЗИЯ



ИВАН МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ



Пусть дольше длится ясная минута...

* * *

Серый, серый гаснет вечер,
Запотело окна плачут.
И висят скупые речи:
Как нам быть? Иль жить иначе?

Дым удушливый повиснет
В дряхлой, старенькой избёнке.
Тополёк в последних листьях,
Будто стрижен под гребёнку.

Не придёт весна до срока,
Не растеплится в лазури,
И ручьёв весенний рокот
Не разбудит сонный Урик.

Скоро ночь! И за амбаром,
Где стоят немые ёлки,
Заглушив напев гитары,
В тишине завоют волки.

12.01.22

МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ Иван Иванович (1 мая 1903, Владивосток — 1 апреля 1958, Иркутск) — русский советский поэт, прозаик, детский писатель. Общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Организатор литературных сил Восточной Сибири. Один из создателей, руководителей Иркутского отделения Союза писателей. Член Союза писателей СССР (1934). Главный редактор альманаха «Новая Сибирь». Кавалер орденов Красной Звезды и «Знак Почёта». Родился в семье военного моряка, баталера канонерской лодки «Кореец». В 1905 г. его семья переехала в Иркутск. В 1914 г. поступил в гимназию. В 1918 г. поступил и затем окончил два класса Иркутского технического училища. В 1920 г. начал работать в Иркутском депо помощником слесаря. В 1921 г. поступил в Иркутский политехникум на химическое отделение, где обучался до 3-го курса, а затем был переведён в Красноярский техникум путей сообщения. В 1938 г. с мая по декабрь 1939 года служил в рядах Советской Армии (Монголия, Хасан, Халкин-Гол), работал в газете «На боевом посту». В годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1946 г. нёс службу в рядах Советской Армии на Дальневосточном фронте в качестве военного корреспондента газет «На боевом посту», «Героическая красноармейская». В 1933 г. был избран ответственным секретарём Иркутского отделения Союза советских писателей. С декабря 1938 г. по май 1939 г. работал в Иркутском отделении Союза писателей. С 1946 г. был консультантом в Иркутском отделении Союза советских писателей. С 1947 по 1958 г. — ответственный секретарь Иркутского отделения Союза советских писателей. Делегат Первого (1934) и Второго съезда писателей СССР (1954). Депутат областного Совета депутатов трудящихся. С 1932 по 2010 г. у И.И. Молчанова-Сибирского было издано в Москве, Ленинграде, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Чите, Чебоксарах, Хабаровске более сорока книг — сборники стихов, проза, произведения для детей — общим тиражом более 1 миллиона экземпляров.

Я бы рад

Я бы рад полюбить горячо,
Да скучны будут страсти страницы.
Потому-то я их не прочёл,
Не прошёл сокровенной границы.

А теперь в сердце зреет печаль...
Вспоминаю последнюю встречу...
Мне любви неизлюбленной жаль
И проколотый звёздами вечер.

4.01.23

* * *

Снова старенькая комната,
Расписной узор гардин.
Я сижу, печалью скованный,
В тёмной комнате — один!

Монотонно время тукает,
Как сегодня и вчера.

12.01.23

Со своею старой мукою
Буду снова я играть.

Плещет белыми метелями
Ночь из чёрного ковша.

Будешь в полночь ты расстреляна
Злой тоской, моя душа!

Что им...

За продажную ласку накрашенных губ
Полупьяной, больной проститутки
И мечты, и любовь предавали... за рубль,
Чтобы выпить порок этот жуткий.

Что волнение и трепет невинной души,
Что красивые, робкие встречи,
Если нагло и томно шёлк юбок шуршит,
Если нравятся пьяные речи.

Что безумная сладость мучительных ран,
Что любовь из лазоревой сказки,
Если окнами жадно блестит ресторан,
Если жгучи продажные ласки.

16.02.23

Что певучая нега старинных сонат,
Что отжившие — Гейне, Мольеры,
Если душу сковал продающийся взгляд
Зачумлённой пороком гетеры.

За невольную ласку насурмленных уст
Будут жечь поцелуями тело...
Соловей так ласкает сиреневый куст
Песней страстной, слепой, оголтелой...

Но никто не придёт на призывную трель,
Не обломится с неба вершина...
Всё сожжет огневая восстаний купель,
И сомнёт песни страсти машина.

Осеннее

За решётками парка
Томно, нежно зарделись
Молодые боярки —
Ягод колкая прелесть.

Солнце стало с монету,
Часто прячется в тучах.
После пылкого лета
Стало время тягучим.

Под вуаль паутины
Скрылось золото листьев.
У рябины — рубинов
Светят тяжкие кисти.

По утрам заморózки,
Серый день слёзы точит.
Обнажились берёзки,
Ветер в парке хохочет.

Ветерок втихомолку
Пробежался по клумбам,
Сбросил пыли ермолку
С алебастровой тумбы.

Он своею метёлкой
Вымел чисто аллею
И стыдливую ёлку
Заласкал, залелеял.

15.01.23

Мать

Что ты ходишь за околицу
Неустанно каждый день,
Где согнулся, словно молится,
Перекошенный плетень.

Ты куда идёшь — печальная —
Через старый-старый мост,
Через лысую прогалину
На заброшенный погост.

Там часовенка забытая
Робко скрылась за сосну,

12.02.23

Здесь ты хочешь горе вытаять,
Вылить сердца глубину.

Не проси прощенья строгого
Непреклонного Творца,
Что пошёл отец дорогою
Пролетарского бойца.

Не ходи ты за околицу
Неустанно каждый день,
Где согнулся, словно молится,
Бурый скошенный плетень.

* * *

Ваши очи — небесные выси,
Как цветок — ваша нежная стать.
Вот бы мне ваше сердце приблизить
И родные глаза целовать.

Заласкаю вас музыкой звуков,
Зацелую словами любви,
Позабуду жестокие муки,
Эти сладкие муки мои.

Растопите же снежную горечь,
Растопите в груди лёд и яд...
Я сотку вам на небе узоры,
Я спою вам стихи серенад.

Вы умеете ласково мучить,
Вы умеете нежно играть.
Дайте сердца мне вашего ключик,
Мне спокойнее с ним умирать.

1923

Я не знаю...

Кузнец

Воеет железо стропил,
Сталь голосит серенаду.
Жжёт меня, словно тротил,
Пламя кузнечного ада.

Февраль, 1923

Эй, кузнецы! Я — кузнец!
Бронзою волос мой вьётся.
Молотом наших сердец
Новое время куётся!

Утро в степи

Степь безмолвна. Дымка аргала.
Вдруг дохнул ветерок. По приволью
Вмиг повеяло вереском, смолью,
Горьким жаром таёжного пала.

Будто снова иду я тропую,
А она всё вздымается круче.
Кедры, словно витязи к бою,
Поднимают, как сабли, сучья.

Будто степь вмиг покрылась лесами,
Будто всюду ручьи зажурчали,
Колебался стружок на причале
На реке сумасбродной, на Маме.

Скоро ль, скоро ль моя судьбина
Приведёт — побороться с японцем.
Предо мною лежит равнина
И трава, спалённая солнцем.

Июль, 1945

* * *

Скудный вид из моего окошка.
Крыши, трубы, провода.
По песку накатана дорожка,
Из растений — только лебеда.

25.08.45

Бедно! Лишь закат не скуп на краски.
Греет солнце, уплывая прочь.
Рад я этой мимолётной ласке,
Ведь за нею наступает ночь.

Мунку-Сардык

Мунку-Сардык суров и грозен
Среди погод и непогод.
Там воздух в самый жар морозен,
Снега сияют круглый год.

Глядятся в зеркало Байкала
Его высокие хребты,
Где туча, словно покрывало,
Ползёт с небесной высоты.

Сражаясь на земле далёкой,
Играть со смертью я привык.

1945

С тоскою русскою глубокой
Я вспоминал Мунку-Сардык.

Как всё здесь мило и знакомо,
И сердцу дорого до слёз.
В глухих горах раскаты грома
И трепет ветреных берёз.

Здесь кедры, словно великаны,
Пронзают прошлые века.
Так мы, раскрепощая страны,
Прославили сибиряка.

* * *

Что ж, быстрее падай, падай,	Вот зима без проволоочки
Пожелтый, скорбный лист,	Наступила. Снег пушист.
Ты — последняя отрада...	Но уже тает в почке
День осенний хмур и мглист.	Молодой и клейкий лист.

1946

На берегу

Слушаю: плавится рыба,	Станут сейчас усмехаться
Птицы ночные кричат.	Омуты звёздной воды.
С грохотом катится глыба —	
Струи речные звучат.	Трудно мне сдвинуться с места.
	Чёрная даль. Тишина.
Ночью хотел я дожждаться	В золоте, словно невеста,
Первой колючей звезды.	В степь выплывает луна.

1945

Год назад

Отроги гор. Их дальняя вершина
Цепями стягивает сумрачный Хинган.
А наша одинокая машина —
Скорлупкой брошена
В песчаный океан.

Какая тишь!
Здесь миг похож на вечность.
Века назад —
Была морская гладь кругом.
Теперь степей усталых бесконечность.
Не здесь ли мы найдём
В песках
Свой вечный дом?

29.08.46

У таёжного ключа

Краюха хлеба аржаного —	Мгновенно губы леденеют,
Хороший завтрак у ключа,	Как будто от осколков льда.
Вода в котором так сурова,	Ладони жаркие немеют —
Что мнится — вправду горяча.	Свела студёная вода.

14.09.46

Смородины душистой листья
Над зябким холодом повисли...
Я в три погибели согнусь,
Студёной досыта напьюсь.

Запомнилась мне тихая беседа,
Я вновь увидел — стоек человек.
И здесь куётся русская победа:
Вблизи сибирских заповедных рек.

От печки пляшут озорные тени,
Окно в узорах, в блёстках куржака.
Как Русь крепка избушка на Ичене,
Такая может простоять века.

16.09.46

Римма, или Северная быль

(ПОЭМА)

1

Не в шелках-каракулях,
В парке оленьей,
Чтоб сучья не царапали
Локти и колени.

Кудри не подрезаны
(Ножницы всё ищет),
Подкованы железом
Большие сапожища.

Шапку из пыжика
Натянула Римма.
Дома ждёт братишка,
Ласковый, любимый.

На простых конвертах
Поистёрлись марки.
Три недели с ветром
На обгонку — нарты.

В письмах не ругаются,
Письма дышат грустью:
«Римма, дорогая,
Это ж — захоlustье...

Надо бы вернуться...
Милая... Скучаю...»

Задрожало блюдце
С ароматным чаем.

Дым в окне курчавится,
Тень судьбы — по нарам.
Крышку на чайнике
Поднимает паром.

Подойдёт распутица —
Север не отпустит.
Знать, напрасно крутится
Колесо из грусти.

Не сойдуся я с ветром,
Не кручинься, друг.
Сотни километров —
Никого вокруг.

Строчки тенью застились,
И глаза намокли.
Вьюга белым заступом
Колотила в окна.

Красноватым локоном
Догорала свечка.
И ко сну глубокому
Призывала печка.

2

Ночь к рассвету клонится.
Утром будет дело.
Белой выюги конница
В дебрях околела.

...Римма шла по берегу,
Отыскала лодку...
Глазом рысь на дереве
Целилась в молодку.

Рысь, ты тоже видела,
Голубая кошка,
Как искусно выделан
Чемодан из кожи.

А на нём приделаны
Медные застёжки,
Там не платья девичьи,
Бусы да серёжки.

На рулоне ватмана,
На хрустящей кальке
Там отдельно взятые
Русские Клондайки.

Здесь в краю нехоженом
(Ровно две Европы!)
К золоту проложены
По завалам тропы.

На бегучем катере —
Удаль, красота! —
Будут плыть старатели:
В недрах ждёт руда.

Чертежи размечены —
Всё доступно глазу.
Их доставить к вечеру
Надобно на базу.

3

Лодка бьётся, мечется,
Бороздит протоку.
Хочется разведчице
Привезти всё к сроку.

Время берега́ми
Ей навстречу мчится.
Вдруг подводный камень?
Вдруг беда случится?

Листвяки с затёсами,
Звёзд летящих стая.
Тишина морозная,
Тишина густая.

Варнаком и ухарем
На глухой дороге
Стережёт и ухает
Речка сквозь пороги.

4

Где гудит и пенится
Кипяток реки,
Лодка вдруг накренится,
Душу береги!

Среди звёздной челяди
Месяц точит рог.
С хрустом сдвинул челюсти
Проклятый порог.

В клочковатой пене
Кроется удар.

Обожгла колени
Лютая вода.

Лодка завизжала,
Словно тарбаган.
Римма крепко сжала
Тяжкий чемодан.

Не добраться к берегу,
Видно, не доплыть.
— Хватит, без истерики! —
А хотелось быть.

Кто-то крикнул с берега:
— Выбрось чемодан!
Крикнула уверенно:
— Никогда!

Плакала от горечи
И плыла, плыла,

Но стремнина горная
Верх над ней взяла.

В небе зорька медная,
Золотая медь
Начинает медленно
Коченеть.

5

На низовьях плачущих
В тёмной-тёмной сини
Закричали сплавщики:
— Эй, лови, Василий!

Тишина литая,
Тишина, как мина.
Лодочка пустая
Пролетела мимо.

Не поймал Василий
Утлую лодчонку,

Но достал Василий
Мёртвую девчонку.

Чемодан держала
Цепкими руками
И не отпускала,
Превратилась в камень.

Неуклюже взяли,
Понесли на базу...
Руки им отдали
Чемодан не сразу...

1933, 1953 гг.



АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ



Как по синему морю...

РАССКАЗ

По случаю гостей из теплушки в дом пригласили бабку Лушу.

А так, неделю и две, никто из домашних: ни сын, ни внук Сергей, ни невестка — к ней не заглядывали. Она сама ходила в магазин за продуктами, сама готовила себе на плитке обед, ходила к колонке за водой — имелось всё немудрое хозяйство для самостоятельной жизни. Дом она отписала сыну и перешла жить в теплушку, где едва разместились кровать, столик и кирпичная плита. Хоть в тесноте, да в стороне от суеты. Суета приходила не часто, когда студент-внук являлся с друзьями, брякал воротами и на минуту задерживался на дворе, а из дому не так слышно было, что там у них. Да мешал иногда сын, приходивший домой пьяный. Мало выпивший, он шёл прямо в дом и ругался с женой своей Веркой, и тогда доносилось до старухи бубуканье голосов. Средне пьяный сын шёл к псу Диму и с ним разговаривал, играл, садясь подле. Пьяный хорошо он шёл к матери, и этот час был для бабки Луши трудный. Сын у неё был один. Есть дочери, да живут далеко, а бабке далеко от родного края уезжать не хочется. Пьяный сын

ЗВЕРЕВ Алексей Васильевич, прозаик (1913, с. Усть-Куда Иркутского района Иркутской области — 1992, Иркутск). Автор книг: *Далеко в стране Иркутской*: роман (Иркутск, 1962); *Дом и поле*: роман (Иркутск, 1970); *На Ангаре*: рассказы (Иркутск, 1972); *Последняя огневая*: повести (Иркутск, 1977); *Лыковцы и лыковские гости*: повести (Иркутск, 1980: Современная сибирская повесть); *Выздоровление*: повести и рассказы (М., 1982); *Раны*: повести и рассказы (М., 1983); *Жили-были учителя*: повести и рассказы (Иркутск, 1990); *Как по синему морю*: повести, рассказы (Иркутск, 1984). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

вспоминал одно дурное в жизни, и оно исходило от бабки. Она была виновата и в том, что сын не кончил семи классов, и что женился неудачно, и что внука бабка избаловала, и что дом ест грибок, а она как барыня живёт в своей келье и в ус не дует. Сидел и попрекал мать, и потом ни с того ни с сего лез целоваться, и бабка, обиженная разговорами, отмахивалась и плакала. И сын уходил расквашенный, расплаканный — неудачливый сын, единственный, испорченный прежде ненужной негой. Бабка же плакала больше затем, чтобы сын поскорее ушёл, потому что теперь видеть его ей было не надо: всё одно и то же, всё попреки, ничего нового не приносил ей сын в жизни.

Пугали её сыновьи глаза, косоватые слегка, в пьяне синие зрачки сбивались к переносью, и казалось, что он смотрел не на мать, а пытался заглянуть в себя. За такие сыновьи глаза она много переживала раньше, теперь она их боялась и только. И другие печали забылись, а сохранились одни добрые воспоминания. Жили воспоминания в виде тёплых, ровно катящихся волн, и каждая волна — чей-нибудь голос, чья-нибудь песня. Если бабка углубится, она найдёт, чей голос, чья песня. Поют, разговаривают с ней волны, накатываясь одна на другую. Не бывала у моря, жила у реки, а волны, длинные, пологие, тихие волны, и цвет их серебряный, то ли бабка сама изобрела эти волны, то ли что ей подсказало — ране их не было, и не думала так никогда. В досужее пенсионное время появились они. Появились, может, от мысли, что правильно, хорошо жила. Осталась она вдовой с тремя детишками вовсе молодой. Испугалась, что в деревне не прожить, надо в город на зарплату перебираться, и переехала она и нанялась сторожихой в школу, и так смолodu до старости пробыла в сторожихах, нажила стаж и пошла на пенсию. А дом перевезла из деревни на сбережения, отрывая от каждой зарплаты по пятёрке. Вот такая дальнoзоркая, такая упрямая была: хоть пусто в брюхе, а копейку откладывала. Перевезла дом и обставила кое-как по-деревенски, и теперь эта обстановка — кровать да стул со столом — у неё в теплушке, а комод разбили на дрова, диван пылится на чердаке, а в сыновьем доме теперь всё по-новому. Чего только не натащили в дом, ставить некуда, а самая последняя покупка — магнитофон, особо умная вещь, которая может записать твой разговор навечно.

Вот гости эти и пришли по случаю покупки музыки, как приходили они по случаю приобретения трельяжа, холодильника и дорогих мягких кроватей.

Бабка надела длинное крепдешиновое платье, дорогое, шитое ещё в крепкие годы за большие деньги, доброе ещё, потому что бережёное. А поверх платья вязаную кофту, и вот она за столом, рядом с дядькой, кумом сына, а звать как, не знает. Он тут для всех кум, потому что бывает аккуратно на всех гостях, и к нему привыкли. На другом конце стола внук Серёжка и его приятели. Они оборачиваются назад и тянут руки к стонущему, охающему магнитофону. Бабка музыки не понимает, но улыбается, как привыкла улыбаться гостям и вещам сына. Она ласково оглядывает всех, желая, чтобы и её заметили. На кухне топает пятками невестка, гремит посудой, не дожждётся конца своих приготовлений. Эти минуты для бабки самые неприятные, потому что не знает, сидеть ли за столом, идти ли — помогать невестке. Потом уж, когда невестка выпьет стограммовку и подышит на ломоть, тогда и ей улыбнётся бабка, потому что от вина невестка становилась доброй и начинала бабку называть мамой.

— Вот и всё, — сказала хозяйка сердито, последний раз обозревая стол и вытирая о фартук руки. — Иван, разливай. Да не красное, не пойло это, — кричала невестка и пыталась расправить брови, расширить глаза, улыбнуться, но улыбка отлетала. Она про себя знала всё и торопилась выпить.

— Ну, за что? За магнитофон, значит? Махонький какой, холера, а деньжищи-то!

Гости выпили, раз-другой ткнули в тарелки и повернулись в угол, оглядывая блесневшее дорогое удовольствие. Угрюмый кум стал вдруг вертучим, беспокойным. Возбуждённые глаза его бегали по предметам и лицам, и он громко и значительно обратился к внуку.

— Ну, перво-наперво, скажи, сколь стоит она?

— Кто «она»? — насмешливо спросил того внук.

— Эта штука. И что она значит?

Студенты засмеялись, дивясь неосведомлённости человека.

— Эта штука всё может, — ответил внук, обшаривая взглядом засаленный галстук кума, а тот, развальясь на стуле, задорил:

— Ну что? Ну что? Ну вот ракета. Она в космос летит, кружит там. Она, так сказать, науку изучает, собак там, птишек проверяет, тучи где, будет дождь или нет. Так? Так! — ставил кулаком по столешнице точку своим размышлениям кум. — А эта куда полетит?

Студенты ухмылялись, поджидали, что ещё скажет кум.

— Продолжайте, продолжайте, — незаметно для кума подмигивал внук товарищам.

— Да что говорить о ней! Балалайка! Напрасная трата денег!

Бабка поморгала, крутила головой, следя за речью и не понимая тоже, зачем этот ящик. Куда бы полезнее насос для огорода, всё ведрами черпают из колодца да растаскивают по грядкам, как делалось в старину.

— Без водки тут не разберёшься, — сказал хозяин дома и налил по другой рюмке. — Это чёрт-те что напридумывал человек.

— Ну, кум, слушай, — попросил внук, — слушай, что может эта машина. — Внук щёлкнул клапанами, и магнитофон, пошуршав, заговорил, завозмущался, чётко и ясно выговаривая: «Балалайка! Напрасная трата денег!»

Кум наигранно удивился: как ловко собезьянничала машина, выпучил глаза, погрозил в угол пальцем.

— Чёрт подери! Никогда со стороны не слышал себя. Вон как я говорю! Безобразно говорю. Ругательно. Нехорошо, — мотал кум головой, — давай-ка другой раз. Экой я со стороны-то.

За столом смеялись, глядя на потешно озадаченного кума, на игриво уставленные в стол глаза его. Одна бабка не понимала, над чем смеялись молодые, за что просмеяли человека.

— Вы что же над ним, ребята? — спросила она.

— Не поняла ты, бабка, не поняла, — обескураженно качал головой кум, всё удивляясь своему отчуждённому голосу. — Машина надсмеялась надо мной, бабка. Вот послушай.

Ещё раз магнитофон передал шумную речь кума, а бабка глядела в немые уста его и только тут догадалась.

— Да ведь это он по-твоему говорит. Это он уворовал у те голос-то.

Перед третьей рюмкой попросили сказать хозяйку.

— Ну-ка заверни, мать, тост, скажи слово за эту штуку, — попросил муж. — Скажи, мол, зряшная трата денег. А лучше бы палас купить. Без паласа никуда. Пыль в избе копить нечем. Ага?

— На палас я с тебя сдеру. Этот раз до копейки выкладывай. Помидоры, огурцы — на рынок. Вот тебе и палас.

— Этот раз на палас, а в другой раз на баркас, — сочинил внук, и мать расфыркалась:

— Не подфигуривай! Молод ещё подфигурировать! Ты ведь от своей стипешки ни копейки.

— От стипешки ни копейки, — срифмовал внук.

— Где бы взять на это, если бы не отец да мать, а ты подфигурировать.

— У бабки бы подзаянл.

Магнитофон повторил громкий бранчливый диалог, который оборвался занозистыми словами «У бабки бы подзаянл», и бабка расхохоталась.

— Займи-ка, внучок, займи-ка.

Затем один студент пел, а другой теребил всё одну басовую струну гитары — и это повторил магнитофон, и теперь все обратились к бабке.

— Теперь твоя очередь пришла, бабка, — сказал кум. — Скажи что-нибудь про старинку. Ну, как колхозница.

— До колхозов уехала, — ответила бабка.

— Ну, как замуж выходила.

Бабка зарумянилась вдруг, испугавшись приглашения говорить для магнитофона, отмахнулась, кося смущённый взгляд на кума.

— На потеху-то говорить? — сказала она и, боясь, что и эти малые слова её уворовала неладная машина, закрыла ладонью рот и поднялась. В такую пору гулянки она поднималась всегда и уходила к себе. Сидеть дальше ей было неинтересно, потому что самые умные слова говорились с первой рюмки. Тихонько она ушла на кухню, а там за дверь. Сквозь единственное, всегда закрытое окно доносились голоса, подвывание магнитофона, утробное бужанье гитары, всё то, что мало коснулось её в жизни.

Помаленьку она отдалась волнам своим. Она плыла по волне тихой памяти своей о самой радостной поре — девичестве. Не обо всём девичестве, его разом на волну не поднимешь. Один кусочек ей накатывался и накатывался, как ехали они с подёнщины. Ехали на трёх парах. В сумраке вечера, в замирании дневного зноя, ехали они бойко, свесив ноги с телег, подбрасываемые на выбоинах, и пели. Она бы в подробностях воскресила этот миг жизни: с кем сидела рядом, какие шлеи, дуги, гривы бились на конях, как росные травы касались её ног, какой голос слышался с передней и задней пары и с другого боку телеги, какие перелески, распадки, залежи и жнивы проносились мимо. Она уже не раз перебирала в памяти всё это, и теперь случай поднимался нерасчленённым, единым и плавал в душе доброй, милой ласковостью, песней, и она плыла, качалась на её волне.

Это сколько же ей тогда было? Зимой на восемнадцатом вышла замуж, значит, было семнадцать — вон сколько, и бабка улыбнулась тому, что ей было когда-то семнадцать, как внуку её Серёжке теперь, и она была молода, красива, звонкоголоса и любима и что все бугорки и перелески означались своим волнением. Она могла плакать, горячиться, смеяться и не навовсе это нынче умерло в ней, а обратилось в отлогие, тихие волны, и они несли её по слабеющей, но ещё не отлетевшей памяти. Одна память жила крепче в ней — память песенная. Когда она душой поднималась на плоскую вершину волны, тут и выносилась песня одной случайно выплеснутой строкой, одним извивом голоса. «Соловей кукушку уговаривал» — пелось в её душе, а другая волна подносила «Во субботу, день ненастный», третья — «На заре было, на зореньке». Иногда бабке становилось совестно: в такие годы и песни на уме. О другом, трудно-печальном, конечном следует думать старому человеку, а ей песни в голову заползают, волнение прежнее приносят.

Бухала за окном гитарная струна, визжала пьяная невестка, ревели мужские голоса и на миг омрачали бабку — она закрывала глаза, натягивала на уши платок и отгоняла нерадостные звуки. В эту пору хотелось поднять на волну что-то сильное, и оно пришло. То была грустная песня, то была печальная песня об утопленице, и принесла она память о сватовстве, о свадьбе, о счастливом миге её жизни. Бабка облокотилась о стол и закачала головой, как, должно быть, качала ею, едучи на телеге, и молча запела песню.

*Как по синему морю да океану
Качает да девицу волной,
Да как никто её не пожалеет,
Да никому её не жаль.*

Эту песню они и пели с Груней Грачёвой, подружкой, где она теперь? Живая ли ещё, умерла ли? Сидели они тогда рядышком, голова к голове, плечо к плечу, тряслись на телеге. От тряской дороги голоса рвались, а они пели и пели.

Сударушка моя Груня, мила, —

пела бабка, а та вместо «Груни» пела «Луша», и было сладко, страшно и тревожно, и они не чуяли ни тряской дороги, ни песен с других телег, ни парней, будущих мужей своих, которые сидели по другую сторону телеги и тоже пели свои, парняцкие песни. Радостное чувство поднималось оттого, что сжато поле и плыла мимо вечерняя прохлада, что хорошо складывается любовь вот уже другой год и что она не замужем только потому, что сама «манежит», куражится, сама откладывает, мучает парня; и оттого ещё, что пахло вокруг солнцем, свежим жнивьем и отзревающими травами. Хорошее с этой песней пришло настроение, как оно часто приходило к ней в эти дни отдохновения, когда пять лет назад, получив пенсию, она зажила без торопливости. А до того шли долгие годы без роздыха, всё было надо и надо, и никуда не спрятаться от забот, а тут вдруг свобода на старости лет, на тебе, передохни и оглянись, и бабка отлетала в прошлое, и, слава богу, приходило оно к ней счастливое, а всё горькое: война, смерть детей, голодовки — замерло и молчало. Лежа в одиночестве на железной кровати, она пугалась иногда, а ну как поотлетит от неё память о добром, забудет она песни, а приходиться будет плохое, как тогда доживать? Вот уж и из этой песни она забыла строчки. «Сударыня моя Груня», а что дальше? Бабка легла, закинув руки за голову, и мучила память, просила отдать слова песни. Они то прилетали, то отлетали, словно играли с бабкой. Хоть слово бы одно пришло, она бы и уцепилась, а там и другое слово открыла. «Да придите же», — просила она память, и слово пришло. Уехал же ведь он, отлюбил и уехал — обрадовалась бабка и запела:

*Улестил её словами,
Да сам уехал далеко.*

Так слово за словом она вспомнила всю песню и тотчас вспомнила, где закончили они с Груней песню на той подённости. Они её закончили против Морозовых заимок, и тогда ещё, тогда, когда пронёсся вдруг из пади густой запах конопляника и родилось отчаяние, знобкая тоска, накатывающаяся темень разлилась над полями, и они, девчонки, прижались друг к другу. Ей бы сейчас подняться, достать из столика карандаш и записать слова песни, тогда бы в другой раз не мучиться, не искать в туготе памяти слов, а взглянуть в тетрадку, вот она, песня, — пой. Она подумала и опять засовестилась — стара, ни к чему это, да и сладость в

самом воспоминании. Вишь, как она этот час хорошо пожила. «Как по синему морю-океану», — провздыхала бабка, охватываясь печалью песни.

А за окном её, из распахнутого окна сыновьего дома вырывалось топанье по деревянному звонкому полу, уханье пляшущих.

— Их! их! их! — визжала невестка, весёлая только в пьяном виде.

Бабка убирала из головы посторонние звуки и несла свою задушевную строку:

Как по синему морю да...

А ведь вот дальше-то и забылось. Как же дальше-то? Бабке стало страшно: а вдруг она вспомнила песню последний раз, вдруг эта, как и другие песни, уйдёт от неё. Бабка уставила глаза в невидимый потолок, в темноту, полную бисерного мерцания волн. «Господи! — охнула она. — Господи, прости», — шутя и улыбаясь в душе, сказала она и поднялась с кровати.

«Как по синему морю-океану» — билось у неё на сердце, когда она, накинув платок на плечи, как делала ещё в деревне на праздниках, пошла в сыновью избу.

Её, стоящую у притолки, сперва и не заметили. Кум бил каблуками в пол, словно затапывал гадюку, поднимая руки к потолку, пыхтел и отдувался, скаля жёлтые прокуренные зубы. Он же первый и увидел бабку.

— А! Бабуся пришла! — прокричал он. — Давай, бабуся, за стол, давай выпей портвейна, — и взял за руку её, усадил за стол и вина в рюмку налил. Бабка от вина отмахнулась.

— А чего надо, бабуся? — грубовато спросил кум, но бабка его уж не слушала, а качала головой и шевелила губами, и тогда внук крикнул:

— Тихо! Моя бабуля в ударе. Моя бабуля петь желает!

На минуту стало тихо, невестка ушла на кухню греметь посудой, сын утомлённо сидел за столом, свесив голову на грудь. Не выдержав тишины, кум заорал:

— Бабуся! Ну сколь ждать!

— Я не так петь буду, — сказала тихо бабка. — Я на память хочу петь. Чтобы себе не забыть и вам помнить.

— На плёнку? Ура! Фольклором займёмся! — прокричал внук.

Бабка покивала и откашлялась, поправила платок на плечах, не замечая или не желая замечать, как перемигнулись студенты, как в сторону похихикал сын и глянул на бабку косоглазо.

— Тишшшш! — прошипел внук и, когда наступила тишина, дирижерским жестом велел бабке начинать. Бабка закачалась медленно и плавно, глотнула глубоко, смочила губу о губу и запела, прикрыв глаза:

Как по синему морю-океану...

Что певучей бабка была в молодости, слышно было по звонкому началу. Но, поизмерив силы, она убавила голосу и вошла в ровное пение. Кум зашевелил губами, замахал руками согласно песне. Внуковы дружки упёрли руки в подбородки и оглядывали бабкино лицо, руки, одежду, а она уронила тёмные руки на колени, поправив цветной платок на плечах, и закачалась шибче прежнего. Качали её невидимые волны и уносили в молодость, и телега, и лёгкие шлеи, и крутые холки коней виделись ей, и настигали и отставали в ночи злые августовские комары, первые росы брызгали с трав на чирки, на вязаные шерстяные чулки, и всё это — была песня. Бабка останавливалась для передыха и омачивала губы, проглатывая слюну, и пела дальше. Кончила бабка петь и обвела всех взглядом благодарности.

— Вот это, бабка, да! — воскликнул кум и поцарапал затылок.

— Это не наше трень-брень, — сказал один студент.

— Это сама история, — сказал внук, улыбаясь. — Сейчас я, бабуля, перемотаю, и мы слушаем.

— А послушаю, послушаю, — покивала бабка стеснительно. — Мне охота услышать, что я там навывала.

Бабка изготавилась слушать, подперши подбородок рукой, всем слухом и вниманием ушедши в угол, где стоял магнитофон. Сперва тихо зашелестели колёсики, и вот ей послышался свой голос, отъятый от неё самой, хлябкий и сиплый, но и не потерявший вовсе бойкой прелести девической поры. Бабка улыбалась и вздрагивала губами, отмечая для себя, что спелось всё же хорошо, воскрешая из прошлого заветное. Вон какие годы нагреблись, а вдруг и вознеслись откуда-то, и подружка Груня, и родной Игнатьич, и частушки вспомнились, какие она сама складывала про него и его же, забавляясь, совлекала спеть. И голос Игнатьича послышался, глуховатый, улыбочивый и сердечный на загляденье.

Но пробивалось и проскальзывало нечто новое, не от той жизни, в настроении бабки. Прибавок этот усиливался и порождал испуг и печаль. Голос её повторялся в аппарате и становился как бы чужим, холодным и переставал волновать. Не бывало такого с бабкой, чтобы песня её не волновала.

— Ну что, бабка, приуныла? — спросил её кум, как песня кончилась.

— Ну, бабуля, подарок твой отличный, — сказал внук. — Наши трень-брень от твоей песни спрятались под кровать.

— Ты, чёрт возьми, ведь тысячу раз слышал про это синее море, а тут... Давайте ещё раз прокрутим, — предложил сын.

Но бабка, словно испугалась этих слов, поднялась со скамьи и, ничего не сказав, ушла к себе.

Она долго не могла уснуть и, заложив руки под голову, глядела в невидимый потолок. В таком-то виде к ней всегда и приходила песня, и всегда молодая начинала зыбаться над ней, радостная и успокоительная отлетала на миг и прилетала ещё моложе и обливала сердце теплотой слов и звуков. Она позвала к себе любимую песню и закрыла глаза, надёжно зная, что вот сейчас она польётся и принесёт неповторимую новую радость. И песня прилетела, но, к бабкиному удивлению, послышался старческий хлябкий голос, точь-в-точь тот, какой она только что слышала из магнитофона. Она привыкла слышать свой молодой прежний голос, который и приносил воспоминания. Эта же песня порождала досаду, и Груша и Игнатьич, хоть и пришли, но печальные и безрадостные, а более всего песня уводила её к колодцу и огороду, к нескладной жизни сына, к тяжёлым коврам и кроватям. Ей виделась своя пыльная улица и сама она, волочащаяся по ней с тяжело набитой авоськой. Хоть сама песня была печальная, не эта печаль волновала бабку. Её беспокоило то, что песню поймала машина и сделала её пленницей. То, что, по её мысли, поймать, ловить нельзя, как нельзя поймать солнце, ветер, тучу, оказалось в клетке. Летела, менялась песня, порхала вольным мотылём, принося всё новые радости. Теперь хоть сто раз прослушай её, все одно и то же: радость, однажды принесённая, гаснет. Вечно юная, как юны все бабкины воспоминания, песня скоро состарится и умрёт. И теперь родилась в бабкиной голове забота, как бы эту песню вернуть к молодости. Она брала памятью другую, третью песню, но оттого, видно, что первая из них пострадала, и они радости не принесли, и бабка опять подбрела к первой и силилась влить в неё молодую прежнюю полевую радость и оттого, что не могла, заплакала.

А гуляющие уже вывалили во двор. Кум всюду хлопал руками, бил в сухую землю сапогами, совлекая плясать остальных. Пыль, взбитая дружной пляской, проникала в бабкину келейку и терпко застила рот и нос.

— Бабуля! Айда с нами плясать! — кричал в бабкино окошко внук, и бабка, в уме отмахнувшись, закрылась одеялом и ждала тишины, но тишина не приходила, а был вынесен на волю магнитофон, и начались лихие и однообразные песни про любовь, которые пришлось и для пляски. Хрипы и завывания прошибали одеяло и словно вколачивали гвозди в бабкину голову, вот так и её песню закрутят, подумала она, и плясать станут под неё. Так оно и получилось. Скоро кум закричал:

— Заводи бабушкину песню!

Бабка испугалась и прикрыла уши ладошками, но шепотливые звуки песни и топанье ног достигали её слуха. Слышался дружный раскатистый хохот, и громче всех хохотала невестка. «Вот так и будете вспоминать меня», — подумала бабка и, как подружку верную, пожалела песню. Никуда ей не уйти, не убежать, не замолчать, обидевшись. Будет она петь и петь, хоть никто её не станет слушать. Будет песня биться и стонать в напрасном усилии, утомлённая, измученная и надоевшая, не прибавившая себе ни единого звука, ни единого страдания.

Когда домашние утром ушли на работу, бабка вошла в дом и остановилась перед ненавистным чёрным аппаратом, опасно разглядывая его.

Затопила печку и, пока огонь разгорался, неторопливо ковырялась в магнитофоне. Ей удалось снять колёсики с лентой. Заодно она отыскала коробку с другими лентами и всё это бросила в огонь. Затем вернулась в теплушку, привычно положила руки под голову и позвала песню.

ПОЭЗИЯ



К 70-летию известного русского поэта

АНАТОЛИЙ АВРУТИН



И жизнь, и музыка, и свет...

* * *

Что лучше — слава иль безвестность?..
Я к лишним спорам не привык,
Мне мама — русская словесность,
Отец мне — русский мой язык.
Так и живу в краю прозрений,
Где воинство — певучесть строк,

Где вся политика — Есенин,
А вся величественность — Блок.
Где словом жалуют на царство,
Где бессловесен пистолет,
Где слово — высшее бунтарство,
И жизнь, и музыка, и свет...

АВРУТИН Анатолий родился в Минске в 1948 г. Автор более двадцати поэтических сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, двухтомника избранного «Времена». Член Общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси. Лауреат Национальной литературной премии Беларуси и многих Международных и Всероссийских литературных премий. действительный член Академии российской литературы, член-корреспондент Российской Академии поэзии и Петровской Академии наук и искусств. Главный редактор журнала «Новая Немига литературная». Указом Президента Беларуси награждён медалью Франциска Скорины. Удостоен также многих общественных наград — орденов М. Лермонтова, В. Маяковского, С. Есенина, медали им. Ивана Ильина «За развитие русской мысли», медали им. Фёдора Тютчева, медали им. генерала М. Скобелева «За верность идеалам служения Отечеству», медали им. Александра Довженко. Название «Поэт Анатолий Аврутин» в 2011 г. присвоено звезде в созвездии Рака. Живёт в Минске.

* * *

«...Но жизненные органы задеты...
Да и раненья слишком глубоки...»
Своею кровью русские поэты
Оправдывали праведность строки.

А как ещё?.. Шептались бы: «Повеса,
Строчил стишки... Не майтесь ерундой...»
Когда бы Пушкин застрелил Дантеса
У Чёрной речки в полдень роковой.

И, правда, как?.. Всё было бы иначе...
Попробуйте представить «на чуть-чуть»,

Что Лермонтов всадил свинец горячий
В мартыновскую подленькую грудь.

И дамы восклицали бы: «О Боже...
Да он — убийца... Слава-то не та...»
Но ведь поэт убийцей быть не может,
Как не бывает грязью чистота.

Любима жизнь... И женщина любима...
В строке спасенья ищет человек.
И Лермонтов опять стреляет мимо...
И снова Пушкин падает на снег...

* * *

Узколицая тень всё металась по стареньким сходням,
И мерцал виновато давно догоревший костер...
А поближе к полуночи вышел отец мой в исподнем,
К безразличному небу худые ладони простёр.

И чего он хотел?.. Лишь ступней необутой примятый,
Побуревающий листочек всё рвался лететь в никуда.
И ржавела трава... И клубился туман возле хаты...
Да в озябшем колодце звезду поглотила вода.

Затаилась луна... И ползла из косматого мрака
Золоченая нежить, чтоб снова ползти в никуда...
Вдалеке завывала простуженным басом собака
Да надрывно гудели о чём-то своём провода.

Так отцова рука упиралась в ночные просторы,
Словно отодвигая подальше грядущую жуть,
Что от станции тихо отъехал грохочущий «скорый»,
Чтоб, во тьме растворяясь, молитвенных слов не спугнуть...

И отец в небесах...

И нет счёта всё новым потерям.
И увядший букетик похож на взъерошенный ил...
Но о чём он молился в ночи, если в Бога не верил?..
Он тогда промолчал... Ну а я ничего не спросил...

* * *

...Наш примус всё чадил устало,
Скрипели ставни... Сыпал снег.
Мне мама Пушкина читала,
Твердя: «Хороший человек!»
Забившись в уголок дивана,
Я слушал — кроха в два вершка —
Про царство славного Салтана
И Золотого Петушка...
В ногах скрутилось одеяло,
Часы с кукушкой били шесть.
Мне мама Пушкина читала —
Тогда не так хотелось есть.
Забыв, что поздно и беззвёздно,
Что сказка — это не всерьёз,

Мы знали — папа будет поздно,
Но он нам Пушкина принёс.
И унывать нам не пристало
Из-за того, что суп не густ.
Мне мама Пушкина читала —
Я помню новой книжки хруст...
Давно мой папа на погосте.
Я ж повторяю на бегу
Строку из «Каменного гостя»
Да из «Онегина» строку.
Дряхлеет мама... Знаю, знаю —
Ей слышать годы не велят.
Но я ей Пушкина читаю
И вижу — золотится взгляд...

* * *

В струенье жизни быстротечном
Слышнее грома — только тишь.
Вовек не станет слово вечным,
Когда о вечном говоришь.
Но если, предваряя звуки,
Вдруг захлебнёшься тишиной,

Немым предвестником разлуки
Простор увидится сквозной.
И так — от выдоха до вдоха,
От первых дней до серых плит...
И кем ты стал — решит эпоха,
А вечность — кем не стал — решит...

* * *

Валерию Хатюшину

Мы пришли в этот мир
Из холодных квартир,
Где под примус скворчала картошка,
Где за стенкою жил отставной конвоир,
Всё приученный слушать сторожку.
Где динамик хрипел от темна до темна,
И нигде его не выключали —
Вдруг внезапно объявят, что снова война,
И по радио выступит Сталин?..
Этот круглый динамик меня одарил
Знаньем опер, столиц и героев.
Душу «Валенки» грели,
«Орлёнок» парил,
И танкистов-друзей было трое...
А Утесов хрипел нам про шар голубой,
Но мы знали: объявят тревогу —
И пойдём «на последний, решительный бой»,
Так что, «смело, товарищи, в ногу...»
А теперь ни динамиков нет, ни святынь...

И давно нет в быту керосина.
Телевизор посмотришь: «Нечистая, сгинь...»
Где был дух, там одна Хиросима.
Слышу старых друзей голоса из-под плит —
Им так больно, что мир разворован!
И отрада одна — белый аист летит
Всё же выше, чем каркает ворон...

* * *

Кто там плачет и кто там хохочет,
Кто там просто ушёл в облака?
То ли кречет кричит, то ли кочет...
То ли пропасть вдали, то ль река...
И гадаю я, тяжко гадаю —
Не поможет здесь даже Господь, —
Где прошли мои предки по краю,
Чем томили суровую плоть?
Зажимаю в ладонях монетку
И бросаю в бездонье пруда —
Робкий знак позабытому предку,
Чтобы молвил — откуда?.. куда?..
И вибрирует гул непонятный
Под ладонью, прижатой к земле,
И какие-то сизые пятна
Растворяются в сумрачной мгле.

И вдруг чувствую, дрожью объятый,
Посреди перекрестья дорог,
Как ордою идут азиаты
На восток... На восток... На восток...
Но не зрится в прозрениях редких,
Что подобны на детский наив,
То ль с ордою идут мои предки,
То ль с дружиной орды супротив?
И пока в непроявленной дали
Растворяются тени теней,
Чую, токи идти перестали,
А вокруг — всё мрачней и темней.
И шатаюсь я вдоль раздорожий,
Там, где чавкает сохлая гать,
И всё Бога пытаю: «Я — божий?..»
А Господь отвечает: «Как знать...»

Ночные стихи

Напрасно... Слова, как «антонов огонь»,
Сжигают души не сгоревшую малость.
Уже из ладони исчезла ладонь,
Что, вроде, пожизненно мне доставалась...
А следом поношенный плащик исчез,
Что вечно висел на крючке в коридоре.
Ни женских шагов, ни скрипучих завес,
И сами завесы отвалятся вскоре...
Всё стихло... Лишь полночью схвачен этаж
За меркнувшей лампочки узкое горло.
И чувствуешь — всё, что копилось, отдашь,
Чтоб только мгновения память не стёрла,
Когда в глубине потрясённых зрачков
Растерянный облик спешит проявиться,
И сам ты в зрачках отразиться готов,
И платье вдоль ждущего тела струится...
Как всё это призрачно... Тени спешат
Впечататься в бледную кожу обоев,

Туда, где впечатан испуганный взгляд,
Один на двоих... И предавший обоих...
При чём здесь трагедия?! Горе уму...
Здесь даже Шекспир разберётся не шибко.
И тьма обращается в новую тьму,
И щепками сделалась звучная скрипка.
Её всё вертели — опять и опять, —
С осинною талией божью милость,
Её разломали, пытаюсь понять,
Откуда же музыка в ней появилась...
Разломана скрипка... И взгляд овдовел...
И надвое полночь в тиши раскололась.
Всё в жизни предельно... Иду за предел...
На тень от беззвучья... На голос, на голос...

* * *

Она всего лишь руку убрала,
Когда он невзначай её коснулся.
Он пересел за краешек стола...
Налил фужер... Печально улыбнулся.

Она в ответ не выдала ничуть,
Что прикасанье обожгло ей кожу.

Сказала тихо: «Поздно... Как-нибудь
Увидимся... Я вас не потревожу...»

И поднялась... Напрасных мыслей рой
Пульсировал артериею сонной.
Ушёл он... С обожжённою душой...
Ушла она... С рукою обожжённой...

* * *

Когда подходишь тихо, осторожно,
Всё остальное — призрачно и ложно.
Есть только эти вздрогнувшие пальцы
И белых плеч шальная белизна.
Непониманье — это что?.. Откуда
Такое неожиданное чудо?..
Что суждено, то сбудется, конечно...
И в этот миг лишь ты мне суждена.

Умчит такси... Тебя... Мою... Такую...
Я поцелую след от поцелуя
На много страсти помнящей подушке...
И снова поцелую этот след...
Лишь комната останется со мною...
Здесь боль живёт... Здесь пахнет тишиною.
И вымытые стекла так прозрачны,
Как будто стёкол в окнах вовсе нет.

Мгновенен миг... Молю его продлиться.
Пусть это платье медленно струится,
Вдоль тела ослепительно сползая,
И пенится смущённо на ковре...
Пусть остывает позабытый завтрак...
День пролетит... Двенадцатое завтра...
Неужто же двенадцатое — завтра?..
Зачем оно мне в этом январе?

Притушен свет... Час ночи... Пусто в доме.
Но силуэт твой чудится в проёме.
Ни голоса... Ни шёпота... Ни звука —
Один лишь златоглазый силуэт.
И я к нему протягиваю руку...
О Господи, продли мне эту муку! —
Ловить твоё тревожное дыханье
И знать, что своего дыханья нет...

* * *

Пусть будущее зыбко, как свеча,
Где огонёк колеблется молитвой,
Есть только свет от белого плеча,
Есть только память, взрезанная бритвой...

Вновь накатило... Снова отошло...
Греховный взгляд... Божественное тело.
И от плеча так сделалось светло,
Что всё вокруг мгновенно потемнело.

Две женщины... А между ними — мгла,
Но есть в обеих царственная сила.
Две женщины... Одна из них ушла,
Вторая — никогда не приходила...

* * *

Забываю тебя забыть...	Что безлюбой любовный хруст
И страшусь, презирая страх,	Взмает выше щербатых стрех,
Что души моей волчья сыть	Что от милых и грешных уст
Станет выть на семи ветрах.	Будет в памяти только грех...
Что не сгорблюсь... Не попрошу,	Что всё мнимо — ни лиц... ни тел...
Чтобы стала тропой — стезя...	Что хулу разнесёт молва...
Что опять я тебе скажу	Я о чём-то сказать хотел...
То, чего говорить нельзя.	Совершенно забыл слова...

* * *

Темнеют в комнате углы,	Твои, чуть слышные, слова
Блуждают тени.	Полны сомнений.
Но как, родимая, светлы	Моя больная голова,
Твои колени,	Твои колени...
Когда я голову на них	Опять за окнами мело,
Кладу повинно...	И вьюга стонет.
И понимаю в этот миг,	О, как же больно и светло
Что ты — лавина...	Сплетать ладони!
Лавина неба и тоски,	И помнить, что прервётся тишь,
Мечты и страха.	И плакать, зная,
Твои тревожные виски...	Что ты ладонь освободишь,
Моя рубаха...	Моя родная.

И тихо к вешалке шагнёшь,
Как будто в пропасть.
Неужто и колени — ложь?..
И — пальцев робость?..

Так невозможно... Всё равно
Я не поверю.

Но как же страшно и темно
Стоять за дверью!

И снова ждать любимых глаз
С зимы до лета.

Пока мой полдень не погас,
Пока ты где-то...

* * *

Зябко... В углу дивана
Вновь прижилась тоска.
Вьётся немного странно
Музыка у виска.

Я не могу по звуку
Определить... Шопен?..
Мне бы в шальную руку
Рондо твоих колен...

Чтоб на подушке смятой
Нас целовал Христос...

Мне бы сейчас сонату
Дерзких твоих волос.

Чтобы и в миг печали,
Горечь испив до дна,
Губы твои звучали —
Гулкие, как струна.

Нету струны... Твой голос
Душу взрезает мне.
...Тоненький женский волос
Вьётся по простыне...

* * *

Пусть ещё не погасла закатная медь
На взъерошенных клёнах недужных,
Скоро мыслям блуждать, скоро сердцу болеть,
Скоро истина станет ненужной...

А когда заструится дождливая темь,
По стволам растекаясь коряво,
Будем завтракать — в десять, а ужинать — в семь,
И страшиться, что рухнет Держава.

И всё мучиться — той ли дорогой идём,
Брат ли тот, кого принял за брата,
Если так и не стала дорога Путём,
Вдоль трясины струясь плутовато?

Если ворон — и тот удержаться не смог,
Упорхнув сквозь зари побежалость.
Если всё тяжелее становится вздох,
Хоть и раньше легко не дышалось...

И, запутавшись среди разлук и потерь,
Всё гадаешь — кто лишний у Бога?..
Кто-то в стылых потёмках всё дергает дверь,
А откроешь — лишь ночь и тревога...

* * *

*«Эрос, филия, сторге, агапэ, латрейа...» —
греческие слова, обозначающие
различные оттенки любви*

Языки мелеют, словно реки,
Но течению лет — не прекословь...
Много знают чувственные греки
Слов, обозначающих любовь.

Научились жить раскрепощённо
И, расцветив жизненную нить,
О любви светло и утонченно,
О любви — с любовью говорить...

А наш круг житейский, словно дантов —
Как ни хлещут чувства через край,
Но по-русски нету вариантов,
И любовь любовью называй.

Но зато, скажу без укоризны,
В русском слове, что не превозмочь,
Много есть названий для Отчизны —
Родина, Отечество и проч.

Есть название громкое — Держава,
Ну а в нём сплелись и «кровь», и «кров».
Многогранна воинская слава,
А любовь?.. Она и есть любовь.

И большой любовью обогретый,
Я другого слова не терплю.
Женщину люблю... Люблю рассветы...
И ладони мамы люблю...

Прощание с августом

Позднее светает... Уносят тепло
Смущённые аисты.
Пока что не осень, но время пришло
Прощания с августом.

Молоденькой прелью пропахший овраг
Грустит в одиночестве.
Приходит к нему только Ванька-дурак...
Растрёпа... Без отчества...

Чадит костерок.
— Подходи, посидим —
Вот здесь, под берёзою...
Но Ванька питается духом грибным
И дымкою розовой.

— Эй, Ванька, чего это в душах свербит,
Вот ёлки зелёные!
Он лишь отмахнётся и что-то бубнит
Свое, забубённое.

О чем ни спроси, Ванька врать не мастак:
«Не знаю... Не ведаю...»
Прощается с августом Ванька-дурак,
А мы тут с беседою.

Тридцатое августа... Голос далёк.
Редееет дубравушка.
А истину знают лишь Ванькин киёк
Да вдовый журавушка.

* * *

Эта робкая сирость нищающих тихих берёз...
Снова осень пришла... Всё опять удивительно просто —
Если ветер с погоста печальные звуки донёс,
Значит, кто-то ушёл в ноздреватое чрево погоста.

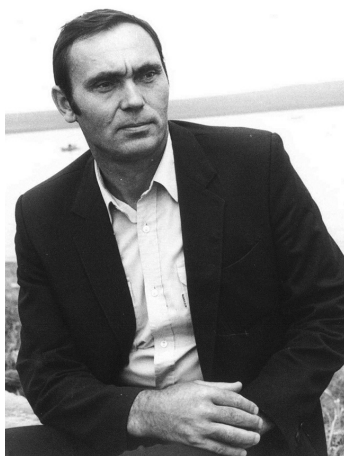
И собака дичится... И женщину лучше не трожь —
Та похвалит соседку, потом обругает её же...
И пошла по деревьям какая-то странная дрожь,
И такая же дрожь не даёт успокоиться коже.

Только женские плачи всё чаще слышны ввечеру...
Увлажнилось окно... И я знаю, не будет иначе —
Если в стылую осень я вдруг упаду и умру,
Мне достанутся тоже скорбящие женские плачи.

Постоишь у колодца... Почувствуешь — вот глубина!
А потом напрямки зашагаешь походкой тяжёлой.
Но успеешь услышать, как булькнет у самого дна
Та ночная звезда, что недавно светила над школой.

Вслед холодная искра в зенит вознесётся, слепя
Обитателей тёплых и похотью пахнущих спален...
И звезду пожалеешь... И не пожалеешь себя...
Да о чём сожалеть, если сам ты и хмур, и печален?

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



Слава Богу за всё...

Таёжному брату

Видно, пращуры были древлянами,
Коли нам так любезны леса
С родниками, грибными полянами
И деревьями — под небеса.

Мы с тобою лесные, древесные,
И почти деревянные мы.
Жизнь степная нам кажется пресною,
Городская — теснее тюрьмы.

Хоть дровишки таскаем вязанками,
Но мы любим удел наш лесной.
Как Есенин с берёзкой рязанской,
Повенчались с ангарской сосной.

Уважаем соседа топтыгина,
Лося потчует хлебом с руки
И в избушке охотничьей с книгою
Засыпаем под шелест реки.

Пусть кондовые мы, но бедовые
И в тайге (дальше в лес — больше ГЭС)
Сотворили плотины бетонные,
Чтобы стало светлее окрест...

А когда нами жизнь будет пройдена,
Словно эхо в лесных голосах,
Наши души, дышавшие родиной,
Растворятся в сибирских лесах.

ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович родился в 1939 г. на юге Красноярского края, в селе Таскино, в крестьянской семье. В различных вузах окончил факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Александр Щербаков — автор более 20 книг, в том числе прозаических — *«Свет всю ночь»*, *«Деревянный всадник»* (Красноярск, М.), *«Месяц круторогий»*, *«Душа мастера»* (Красноярск), поэтических — *«Трубачи весны»* (М.), *«Глубинка»*, *«Жалейка»*, *«Дар любви»*, *«Венцы»* (Красноярск). Печатался во многих журналах СССР и России: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Огонёк», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Сибирь», «День и ночь», «Дальний Восток» и др. Заслуженный работник культуры России. Лауреат первой премии Международного конкурса детско-юношеской литературы им. А.Н. Толстого (проза), дипломант VII Московского международного конкурса современной поэзии «Золотое перо». Член Союза писателей России. Живёт в Красноярске.

Святые старухи

Среди нищеты и разрухи,
Дурниной заросших полей
Живут по деревням старухи,
Душою послушниц светлей.

Спокойные, ясные лица
Не ожесточились в трудах.
Таких не бывает в столицах
И прочих шальных городах.

А как их тяжёлые руки
Нежны и теплы, и добры,
Доподлинно ведают внуки,
Льняные ребячьи вихры.

Телята, ягнята и гуси,
Наверно бы тоже могли

Поведать о том, как бабуси
Их чутко пасли. И спасли.

Да что там телячий с гусиным
И всех братьев меньших роды —
Те бабушки нашу Россию
Спасали не раз от беды!

И нынче на них уповаю.
Восстанет страна, как трава,
Основа её корневая
Ещё, слава Богу, жива.

Я верую в эту основу
И мысли заветной держусь,
Что будет по вещему слову:
«Спасётся платочками Русь».

Старый поэт

Отсияло, ушло, закатилось
Невозвратное время твоё.
Многоцветная жизнь превратилась
В полусумеречное бытё.

В прозябанье на свете на этом,
В ожидании света того...
На посаженный голос поэта
Нету отклика ни от кого.

Мир оглох. Стал он глуше подвала,
Иль зиндана, уместней назвать,

Потому как всех замуровала,
Заточила бандитская рать.

Мы в темнице сидим за решёткой,
И орёл не зовёт молодой...
Перестройки закончились шоком,
Обернулись великой бедой.

Кто же вызволит нас из неволи?
Как вернуть нам свободу и свет?
Выход знает кричащий от боли,
Но неслышимый старый поэт.

На игле

Я на вождей смотрю с опаскою,
Увы, живущих, как в дыму...
Спросили хоть бы в нашем Таскино,
Там растолкуют, что к чему.

Понятно всё любому таскинцу,
Но не поймут никак в Кремле,
Что мы на башне на Останкинской
Сидим, как будто на игле.

Её когда-то взяли танками.
Народу дали по башке.
С тех пор на башне на Останкинской
И власть сидит, как на штыке.

Но это долго не протянется.
Наш дом построен на песке.
Не усидеть нам на останкинских
Ни на игле, ни на штыке.

Послание из Сибири

Во глубине сибирской Азии,
Где Енисей берёт разбег,
Рифмую я свои фантазии,
Безвестный, нищий человек.

Из недоходного — в отходные
Моё скатилось ремесло.
Теперь поэзия не модная,
Всех на торговлю понесло.

Всё продаётся-покупается:
Талант и слава, и чины.
Менялы в золоте купаются,
Бал правят слуги сатаны.

И, обобрав страну-покорницу,
Рыгочут эти холуи
Над нами, кто трудами кормится
И, если пьёт, то на свои.

Да чтоб я с этим безобразием
Смирился — боже упаси!
Ведь я пишу свои фантазии
Не просто в глубине Евразии,
А посреди святой Руси.

В отставку

Патрон заверил обходной листок,
И, словно тот бездельник из бомонда,
Я оседлал финансовый поток,
Даруемый нам Пенсионным фондом.

Поток не бурный, под десяток тыщ,
Но, говорят, до срока не иссякнет.

Винцом, мясцом не злоупотребишь,
Зато кефир от пуза и овсянка.

И вообще, старик, всё хорошо.
Что делать, возраст... Не горюй особо.
Ведь не «ушли», ты как бы сам ушёл
И как бы не без выходных пособий.

Тишина

Нет в голове заветных слов,
И лишних денег нет в кармане...
Ленив, как дедушка Крылов,
Лежу часами на диване.

И кот — отнюдь не «в сапогах», —
Мне подражая, не иначе,

Лежмя лежит в моих ногах,
О чём-то грезя о кошачьем.

Кругом такая тишина,
Что возникает мысль простая:
Вот так лежит и вся страна,
О рае рыночном мечтая.

Крест

Прочь, зеваки! Я не скоморох,
Не какой-нибудь вам Арлекино.
Мне оружием стало перо
И крестом, что вручила судьбина.

Слово взял я за меч и за щит.
Расступитесь, уйдите с дороги!
Дайте крест да конца дотащить
Самому, одному, без подмоги.

Нет, врагов я отнюдь не простил,
Ибо ведали, что сотворили,

Под откос Мать-Россию пустив,
Погубив с хладнокровьем рептилий.

Только мстить никому не хочу
И глумиться над кем-либо тоже.
Я по-русски врагам отплачу —
Правду брошу в лукавые рожи.

Отложил до поры меч и щит
И не жду ниоткуда подмоги.
Сам я должен свой крест дотащить
На горбу... Уходите с дороги!

Слава Богу за всё

Слава Богу за всё. За даренье
Многолетия мне на земле,
За горенье души, за прозренье
Правды в мире, лежащем во зле.

За моё, слава Богу, явленье
В деревенской лесной стороне,
За причастность к тому поколению,
Что крестилось в священной войне.

С ним я рос, Вышней помощью живой,
Не в довольстве, но и не в нужде.

Ради хлеба насущного жили
С ним тянул в непрестанном труде.

Полюбил его красные стяги,
Серп и молот его полюбил
И, подобно ему, работягой
Сам на свете на этом пробывл.

Не дельцов, а жнецов и поэтов
Чтить учил меня тот «гегемон»...
Слава Богу за всё, но за это —
Самый низкий сыновний поклон.

Матери

За кладбищенской рощей туманы.
Над кладбищенской рощей дожди...
Ты прости, ты прости меня, мама,
Я приду, только ты подожди.

Закрутили меня, завертели,
Замотали земные дела.
И давно уже, как от метели,
Голова моя стала бела.

Но заботам поставлю я точку.
С батожком и сумой на весу
Ушагаю домой — и цветочки
На могилку твою принесу...

Не однажды мне виделось это.
Наконец, я в родимом краю
На исходе Господнего лета
Перед холмиком горьким стою.

Чёрный крест, домокованный, грубый,
И берёза — как свет в небеса.
Затряслись стариковские губы,
Затуманились влагой глаза.

То ль в кладбищенской роще туманно,
То ль в кладбищенской роще дождит?
Я пришёл... Я вернусь к тебе, мама,
Навсегда... только ты подожди.

Седому земляку

А. Байбородину

Брось печалиться, старый кержак.
Пусть судьба выдаёт оплеухи
И повис над ушами куржак,
Но ведь искры в глазах не потухли!

Что куржак? Нам же не под венец,
Нам — радеть о Державе и людях.

Не остыл ещё пламень сердец
Правдолюбов и родинолюбов.

Да и мыслей огонь не угас.
И пока не сыграли мы в ящик,
Препоясаны чресла у нас,
И светильники наши горящи.

На прощанье

Когда-то жаждал с ней свидания,
И сон теряя, и покой...
Теперь — одни воспоминания
О той девице городской.

Она, окутанная тайною,
Взошла над нашенским селом,
Но вскоре облачком растаяла,
Осиротив мой небосклон.

Одно единственное летечко
Я с нею был, она — со мной...

Ромашки памятной розеточка
Истлела в книжке записной.

А я всё думами досужими,
Мол, позабыла или нет,
Томлюсь. Да только нужен ли
Теперь какой-нибудь ответ?

Пусть будут снами и поверьями
Прощанья наши на мосту,
Стиравшие между деревнею
И между городом черту.

Вечерней дорогой

Не гони меня, ветер, навстречу закату
Вдоль полей и лесов по безлюдному тракту.

Понапрасну мой плащ не трепли, словно парус,
Пощади и пойми неторопкую старость.

Я давно никуда не спешу и не рвуся,
Ни на бой, ни на пир, ни к желанной Марусе.

Отспешил — отлетал, откатался, отплавал,
Поотстал от борьбы, от любви и от славы.

И теперь мне бы только покоя немного.
Не гони меня, ветер, вечерней дорогой,

Той, что мимо полей, мимо рощи зелёной
Устремилась к закату стрелою калёной.

Друзьям-графоманам

И граф Толстой был графоманом...

Расхожий каламбур

Да, граф Толстой был графоманом, У графа мания была — Писать толстенные романы Про все подлунные дела.	Шатал престолы и режимы, Бичуя глупость и порок. Привлѣк всеобщее вниманье К «войне» и взял над «миром» власть...
И классик впрямь, как одержимый, Пером по самый смертный срок	Жаль, эта дерзость графоманья Нам с вами не передалась.

Корова

Шла по улице корова...

В. Скиф

Вдоль деревни шла корова
И ревела — прямо жуть.
То ль была корова — рѣва,
То ль обидел кто-нибудь.

Спотыкаясь, шла, спешила
По проезжей полосе,
Даже встречные машины
Уступали ей шоссе.

Люди думали-гадали
И прикидывали вслух,
Мол, товарки пободали
Иль кнутом хлестнул пастух.

Но один малец-всезнайка
Рубанул на то сплеча:
— Да она кричит хозяйке:
«Молоко несу, встречай!»

А кричит издалека —
Значит, много молока.

Фламинго

От пламени — имя фламинго. Мне редкая птица сия Знакома не только по книгам — По встрече в предгорьях Саян.	Однажды её на Амыле, Когда мы по этой реке В верховья с таёжником плыли, Увидел я невдалеке.
--	---

Окрас её розово-алый,
Клюв, загнутый буквою «гэ»...
Она неподвижно стояла
В заливе на длинной ноге.

Потом заплескала крылами,
Разбег с гоготаньем взяла,

Стремительно взмыла над нами,
Сияюще снизу бела,

И, вытянув ноги и шею,
Вразмах улетела за лес,
Как некий небесный пришелец,
Похожий на огненный крест.



ОЛЕГ СЛОБОДЧИКОВ



Первопроходцы

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА*

3. Великий Камень

Той осенью, когда из-за указа о переписи ясачного населения начиналась очередная ленская смута, Михей Стадухин ушёл к восходу от Алдана на неведомую реку. В прошлом туда самовольно откочевал род ленских якутов, за ними был послан казак Елисей Рожа с небольшим отрядом. Его люди встретили пограбленную ватажку торгового человека Ивана Свешникова, от неё узнали, что якуты и тунгусы в среднем течении Алдана убили тридцать пять служилых и промышленных, в устье Май ещё двенадцать. Казаки не отважились идти дальше и вернулись, Елисей Рожа, оправдываясь перед воеводами, просил полсотни служилых для нового похода. Тут начальные люди острога и вспомнили про Мишку Стадухина с его непомерным желанием отправиться в неведомый край, а он ухватился за намёк о дальнем походе, как таймень за наживку, и заглотил её до самых кишок.

— Обещаю в казну сорок соболей добрых! — дал посул в съезжей избе.

*Начало см.: Сибирь. 2016. № 1.

СЛОБОДЧИКОВ Олег Васильевич, прозаик (род. в 1950 г. в г. Первоуральске Свердловской области). Автор книг: *Перекрёсток*: повести (Алма-Ата, 1987); *Штольни, тоннели и свет*: повести (Алма-Ата, 1989); *Чикинда*: повести (Алма-Ата, 1991); *Заморская Русь*: роман (Иркутск, 2000); *По прозвищу Пенда*: ист.-приключ. роман (Иркутск, 2009); *Похабовы*: сиб. ист. роман (Иркутск, 2011). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

— Мало! — сморщил нос Бахтеяров. — Одни только вожи того стоят. Меньше сотни явить никак нельзя.

Лукаво поглядывая на казака и посмеиваясь, Еналий намекал, что немало потруился перед воеводами, расхваливая Михея.

— Сто так сто! — согласился Стадухин и сник, торопливо соображая, сколько же их надо добыть, чтобы отдать посул и расплатиться за снаряжение.

Его не смутило и то, что воеводы позволили взять в поход всего четырнадцать казаков и только своим подъёмом. Получив дозволение на сборы, он вспомнил об Арине и на миг ужаснулся, что вынужден бросить её среди незнакомых людей. Но неведомое и заветное так манило, что душа казака пела и ныла одновременно. «Оставляю жену Герасиму: брат есть брат», — решил он, не смущаясь их прежней связи.

Но Герасим с Тархом, узнав, что старший идёт в дальний поход, стали проситься с ним: один торговать, другой промышлять. Не взять их Михей не мог и в суете сборов мысленно оправдывал себя, что все казачки ждут мужей со служб, Арине это не впервой. Останься он при остроге — всё равно пропадал бы месяцами, за одно только жалованье разбираясь с обычными тяжбами якутов и тунгусов об угоне скота, разбое и межродовых обидах. А из дальнего похода можно вернуться богатым, построить дом. К тому же венчанная жена — не девка-брошенка, останется на его хлебном и соляном содержании. И всё же мучила казака совесть, звлила душу.

Хоть бы и на дальнюю службу, а желавших идти на неведомый Оймякон оказалось не так много. Из отряда Елисея Рожи не пошёл никто. Михей позвал Ивашку Баранова с Гераськой Анкудиновым, проверенных в совместных службах, но те отговорились, что собираются на Яну с сыном боярским Власьевым.

С Василием Власьевым Михей встречался на Куте и здесь, в Ленском, при съезжей избе. Знал, что воевода Головин проездом через Казань прибрал его в полк, и Власьев с большим отрядом ходил с Куты в верховья Лены на братьев, а нынче получил наказную память идти в Верхоянское зимовье на перемену Митьке Зыряну.

— Ничего не пойму! — затряс бородой Стадухин: его товарищи не могли испугаться сказок Елисейки Рожи. — На восход от Алдана никто не ходил, а Яна давно объясасчена!

Иван Баранов насупил, попиная ичигом мёрзлую землю, шмыгнул носом, Герасим Анкудинов с чего-то обозлился, сверкнул глазами.

— Тебя обманули, как верстанного придурка, — презрительно сплюнул под ноги. — Власьеву казённых коней дают, хлебный оклад годом вперёд! А тебе что?

Михей долго и тупо смотрел на казаков, накручивая на палец рыжий ус, сообщал, что могло их злить. Поморщившись, досадливо оправдался:

— Так ведь на неведомые земли, чтобы подвести под государя тамошние народы... Ну, ладно, не хотите на Оймякон — идите на Яну!

Из гарнизона с ним вызвались идти Ромка Немчин и Мишка Савин Коновал. Услышав про Оймякон, стали проситься половинщики: Семейка Дежнев и Гришка Фофанов-Простокваша.

— Ладно он, — Стадухин кивнул на Простоквашу, — ты-то куда, хромой?

— Что с того, что прихрамываю, от других не отстаю, — не смущаясь, отвечал Дежнев, глядя на земляка младенчески голубыми беспечными глазами. — А с тобой идти на конях, верхами. Сам сказал!

На конопатом посечённом мелкими морщинами лице не было ни заискивания, ни просьбы, дескать, откажешь — от меня не убудет, а на тебе, земляк, грех.

— Не плачьтесь потом! — отмахнулся Михей, соглашаясь взять обоих раненых в предыдущем походе.

К нему примкнули томские и красноярские казаки Ивана Москвитина: в другие места их не пускали, а строить новый острог они не хотели. Ушёл бы и сам Москвитин, но сыск по делу атамана Копылова не закончился.

Просился на Оймякон Пашка Левонтьев. Этот справный казак слыл на Лене за мученика от ума: он подрезал бороду и волосы, стараясь походить на святого угодника Николу Летнего, в трезвости был молчалив и задумчив, всюду таскал с собой кожаную суму с Библией. Временами Пашка запивал и с причудой. Поскольку выносить вино из кабака позволяли только по разрешению приказного, Пашка, крестя бороду, опрокидывал в рот чарку и быстро уходил в уединенное место, где разговаривал сам с собой. Таким образом, он частенько пропивался и потому искал служб подальше от кабаков.

Мишку Савина-Коновала Стадухин знал давно. У того и в молодые годы лицо было похоже на личину, вырубленную из смолевого пня, а нынешним летом красы прибавилось: какой-то якут ткнул его пальмой — и от уголка рта к уху протянулся грубый багровый рубец. Коновал бездумно должился у торговых людей, стаивал на правеже. Найти заимодавца ему было трудно, но Михей ценил его как хорошего лекаря.

Казак Федька Фёдоров Катаев, брат небедного торгового человека, сдавленно похотывая, спросил Михея, будто прокудахтал, не найдётся ли и ему службы в оймяконском отряде.

— Почему не найдётся? — вглядываясь в козы с придурью глаза, ответил Стадухин, торопливо прикидывая, что Федька обязательно нагрузится товаром, хоть царь и не велит служилым торговать. Этот указ обыденно нарушался, но при случае мог обернуться против атамана. Денег спутникам по походу Катаевы не дали, но Федька собирался своим подъёмом.

Хлебный оклад на казаков годом вперёд Стадухин все же вытребовал. Еналий Бахтеяров с прежними ухмылочками напомнил про обещанных соболей и дал ему двух якутских вожей, по слухам, знавших путь на Оймякон. Они были врагами самовольно откочевавшего рода якутского тойона Увы и считались надёжными.

Казаки получили хлебное и соляное жалованье на себя, венчанных жён и прижитых детей. Кроме пропитания в походе каждому нужно было по две лошади, оружие, порох, свинец, прочая справа рублей на пятьдесят. Если красноярцы и томиичи кое-что имели от прежних служб, то дежневский дружок Гришка Простокваша был должником, деньги нашёл с трудом и меньше чем надо. Ромке Немчину и Мишке Коновалу торговые люди и вовсе не занимали. Чтобы поддержать их, казаки решили взять общую кабалу.

Семейка Дежнев, Пашка Левонтьев, Втор Гаврилов, Андрейка Горелый привели торгового человека Никиту Агапитова. Глядя вприщур на известного ленского казака, купец согласился дать денег по общей кабале, если к четверым просителям примкнёт сам Стадухин. До весны, до Николы Вешнего, давал без роста, а после — два годовых рубля с десяти. Кто вернётся живым — с того спрос, перед кем кабалу выложат — тот платит.

Проще было с промышленными людьми. Желающих идти на неизвестную реку было много, надёжных и проверенных — мало. Помимо казаков Михей набрал из них десять охочих людей, среди которых были крепкие своеуженники.

Герасим, глядя на сборы и долги, которыми обрастал старший брат, стал сомневаться, стоит ли идти в поход, дотошно выпрашивал служилых и промышленных, как и чем можно расторгнуться среди отложившихся якутов и дальних, не присягавших царю тунгусов. К тайной радости Михея он стал склоняться отдать часть товара братьям и заняться рыбной ловлей со своеуженниками Федота Попова.

Старший Стадухин, волнуясь, хотел уже предложить Герасиму взять на себя опеку Арины, но он где-то что-то вызнал и заявил, что в Ленском ему быть — только проживать привезённое добро. Едва Тарх с Герасимом поняли, что должны взять с собой лошадей и пищали, младший опять стал донимать атамана расспросами, удивляясь непомерным ценам на здешних коней.

— Их тут больше, чем на Руси! — пытал Михея, будто подозревал в злом умысле. — Там за жеребца два с половиной аршина в холке просят два-три рубля. Здесь не кони — мохнатые карлы, голова огромная, брюхо до земли — рядятся по двадцать пять — по тридцать рублей...

— Тут пуд муки пять рублей! — не понимал замешательства брата Михей.

— Рожь, понятно, она на Лене не родится, а коней вон сколько. Вдруг где-то в улусе сторгуемся хоть бы по десять рублей?

Но старшему Стадухину было не до поиска, он носился по острогу и посадку, стараясь увести отряд до холодов. Кроме обыденных хлопот камнем лежала на сердце дума о жене: взять с собой не мог, оставить в остроге боялся. Когда Семейка Дежнев предложил поселить Арину с его женой Абакандой у якутского тестя Абачея, Михей от радости так притиснул земляка, что тот придавленно пискнул.

Доля казачки — годами ждать мужа. Арина сама выбирала судьбу, но при расставании заливалась слезами, как девка:

— Год выдержу, дитя под сердцем, — прижала руку мужа к животу. Михей, погладив его, приложился ухом. Ничего не услышал. — Задержишься дольше — заведу полюбовного молодца, — пригрозила, — не гневись потом!

Стадухин поёжился, посопел, признался:

— Не могу служить при гарнизоне! Судьба мне стать знаменитым разрядным атаманом с жалованьем втрое против нынешнего. Ты уж потерпи. Тебе не впервой... Хотя в Томском, наверное, было легче, — обвёл глазами якутскую юрту из жердей, обложенных дерном.

Вдоль наклонных стен были устроены нары, оконце затянуто бычьим пузырём, посередине горел очаг, дым щипал глаза и уходил чрез вытяжную дыру. Юрта была соединена крытым переходом с коровником. В ней сильно пахло скотом, но запах не был приторным. Мечталось Михею, чтобы его дети явились на свет в просторной русской избе, но с первенцем, похоже, не удалось.

— Потерплю! Потерплю! — обильно присаливая его бороду, шептала Арина. — Лишь бы вернулся цел. Молиться буду!

При проливных осенних дождях вода в Алдане поднималась несколько раз и за лето смыла следы прежнего бечевника. Берег был завален вынесенным с верховой плавником. Два с половиной десятка казаков и промышленных, два якутских вожа заново торили путь для коней и медленно, как бурлаки, продвигались вверх по реке. Лошадей жалели, не перегружали, верхом ехали только якуты.

Против устья Амги отряд застала шуга.

— Зимовье там было доброе! — указал за реку неторопливый, вдумчивый казак Втор Гаврилов. — Прошлый год якуты или тунгусы спалили. А то бы в баньке попарились.

Вскоре Алдан покрылся льдом, топкие берега отвердели, караван стал двигаться быстрее. Долина реки повернула на полдень, куда ходили атаман Копылов с Иваном Москвитиным. Томские казаки вспоминали своё зимовье, срубленное в устье Май. По слухам, оно тоже было сожжено. Пантелей Пенда, невольно слушая, как спутники бранят здешних якутов и тунгусов, молчал-молчал, неприязненно щурясь, да и выругался:

— Кабы служилые меж собой не дрались, и другие народы жили бы мирно.

В общие разговоры он не втягивался, равнодушно переносил тяготы пути, не ругался для поддержки духа, не ярился, как Мишка-атаман. Присматриваясь к нему после долгой разлуки, старший Стадухин удивлялся переменам. В верховьях Лены, ещё слегка выбеленный сединой, он был разговорчив, светился изнутри, прельщал слухами о старорусском царстве, скрытом в тайге, весело уходил в неизвестное с Иваном Ребровым. Теперь это был седой молчун с душой, запёртой на семь замков.

Счастливые ночи, проведённые с женой, не прошли бесследно: способность старшего Стадухина чувствовать опасность сильно притупилась. Если среди осторожного многолюдья это было благом, то в походе пугало. Атаман выбивался из сил от настороженного волчьего сна, перессорился с доброй половиной отряда, беспричинно вскакивая среди ночи. Застав караульного спящим, бил, мешал отдыхать другим.

За месяц пути Божий дар стал восстанавливаться, Михей всё реже проверял караулы, стал высыпаться, его затравленные глаза начали очищаться, отпускало постоянное раздражение. Но всё равно он вставал первым, а ложился и утихал последним.

— Почечуй у него в зад или что ли? — ворчали за глаза казаки и промышленные, вымещая неприязнь на Тархе с Гераськой, на атаманском земляке Семейке Дежневе.

Пантелей Демидович, слушая их ропот и ругань, долго терпел и отмалчивался, прежде чем вступить:

— Кабы не Мишка, вас бы давно перерезали. Балует караульных, один за всех службу несёт, а вы, на него надеясь, хотите Бога обмануть!

Первой пала одна из лошадей Пенды: не сдохла, но сломала ногу. Мишка Коновал ощупал её, безнадежно шевельнул рубцом на щеке, мозолистыми пальцами погладил конскую морду. Старый промышленный без видимой скорби зарезал кобылку, мясо отдал в общий котёл без платы. Но когда атаман стал распределять его груз по другим коням, начался раздор. Брать лишнего не хотел никто, а громче всех возмущались братья, жалея своих измотанных переходом лошадей. Герасим слезно отбrehивался, Тарх метал искры из прищуренных глаз, скрипел зубами, гонял желваки по скулам.

Предприятие было не только государевым, но и торгово-промышленным, а где торг и прибыль, там всяк сам за себя. Промышленные люди и половина служилых, поднимавшихся за свой счёт, настаивали на порядке, чтобы мясо кобылы оценить по ленским ценам, и кто его возьмёт, тому вести груз по тем же ценам.

Пашка Левонтьев, кого-то смешивший в будничной суете похода, кого-то беспричинно сердивший, лежал в кукуле — мешке из оленьего меха, обнаженной лысиной к огню, до споров и распрей не снисходил, душевных разговоров не вёл, но, полистав раскрытую Библию, поучительно изрёк густым голосом:

— «Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». — Полистал ещё, не найдя ответа, как делить мясо и груз, перекинулся к костру боком, захлопнул книгу и положил себе под голову.

— Что сказал мир — то благословил Бог! — поддакнул Михей, благодарный Пашке за поддержку. Не желая противиться соборному решению, выругался:

— Жрать скоро станем врозь, каждый из своего котла!

Старый Пенда бросил на него сочувственный взгляд и сказал, что дарит мясо в общий котёл, а за перегруз заплатит соболями. Михей сжал зубы, ниже опустил голову: братья своим молчанием принимали унижительное предложение. Лошадей берегли все — они достались дорогой ценой, но требовать плату за помощь товарищу ему было стыдно.

На другой день он стал жаловаться Пантелею на нынешние нравы, с тоской вспомнил времена войн при атаманах Бекетове и Галкине, когда все были заодно и всякий защищал товарища как самого себя, делился последним. А нынче даже неловко встречаться с тем же Ярком Хабаровым, с которым голодал в осаде и ходил на прорывы.

Пантелей, придерживая перегруженного коня в поводу, безучастно отвечал:

— Давно ты не был на дальних службах. Люди сильно переменялись. От бесхлебья или от богатства, которое легко даётся, оскудели душами: нынче кабальный кабального кабалит и ищет себе во всём выгод.

Михей разразился новой бранью, но старый промышленный с отрешённым лицом повёл коня под уздцы и не проронил больше ни слова осуждения или согласия.

Когда не пуржило, на восходе из-за увалов едва не к полудню выползло холодное солнце с розовыми кругами вроде ушей. Ветер наметал острые снежные заструги под заломы и торчащие льдины. Наконец, якутские вожи указали устье речки, впадавшей в Алдан с восточной стороны. Берега её были покрыты густым ивняком, по которому вести лошадей трудней, чем по бурелому. Речка вывела на каменистое, обдутое ветрами плоскогорье, которому, казалось, и конца нет. Здесь лошади пошли быстрее, а ночью хорошо выпасались, наедаясь сухой травой.

День убывал. На ночлег становились рано, долго обустроивали стан на холодной земле. Среди карликовых берёз и стланца собирали много хвороста, подолгу жгли, прогревая неприветливую землю. Луна, окольцованная радужным сиянием, серебрила равнину, вытягивая длинные тени. Подступы к табору хорошо просматривались, караульные, сидя спинами к огню, мучительно боролись со сном.

— У нас леса! — укладываясь на войлочные потники, вспоминал Семейка Дежнев, поглядывая на Стадухиных, взглядами призывал их в свидетели. — По Сибири тайга, не то что здешняя мёртвая пустошь! Сюда, наверное, и волки не забредают. Какая тут рухлядь? — Подразнивал атамана, будто тот обещал ему богатство и лёгкую зимовку.

— Есть зайцы, куропатки! — хмурясь, обрывал беспутные разговоры старший Стадухин. — Дальше, к восходу, — вскинул бороду на вожей в парках-санаяхах, — говорят, есть головной соболь.

Будто в насмешку, в пяти шагах от костра из-за камня выскочил заяц, заверещал, заходясь лещачьим хохотом, прижав к спине уши, помчался во тьму. Не дождавшись погони, остановился, поднялся на задние лапы, заманивая в ночь. Мишка Коновал, кривя рваный рот, поднял лук, пустил в него тупую стрелу. Заяц подпрыгнул, вскрикнул младенцем, задрыгал длинными задними ногами. Герасим принёс его и стрелу. Мишка одним рывком корявых пальцев содрал шкуру, насадил тушку на прут, стал печь на углях.

Михей тоскливо наблюдал за братьями из-под прищуренных век, то и дело ловил на себе их укоризненные взгляды: куда, мол, ты нас завёл? Озирая бескрай-

ною равнину слезящимися глазами, иной раз начинали роптать и бывалые казаки. Из-за дороговизны ржи взяли её втрое меньше нужного по енисейским меркам, надеялись на подножный корм, но здесь и зайцы с куропатками были редкой добычей.

Вёрст триста отряд шёл горной пустыней. Оголодав, казаки и охочие решили зарезать самого слабого коня. Таким оказался мерин Герасима. Брат соглашался, что животное со дня на день сдохнет и придётся скверниться падалью, но когда указали на неё, стал торговаться.

— Режьте! — приказал Михей, нахлеёстывая плетью по ичигу. Сдерживая гнев, отвёл младшего в сторону, обругал, но вразумить не смог.

Казаки и промышленные навязчиво расспрашивали якутских проводников о местах, куда они вели отряд, но те и сами не знали, есть ли в тамошних реках рыба, а в лесах зверь, слышали только, что скот выпасать можно. Им было известно от сородичей, что за плоскогорьем — ручей, бегущий летом встреч солнца. По нему ход на реку Оймякон.

— Раз якуты ушли туда с Лены, значит, места благодатные, — утешали себя путники.

Наконец, начался спуск в долину. Чаше встречались лиственницы в руку толщиной, среди них много сухостойных, дававших хороший жар в кострах. Выбеленная снегом трава была выше, чем на плоскогорье. Якутские вожжи уверенней повели отряд вдоль промёрзшего ручья по жёлтой обдутой ветрами долине. Время от времени они останавливали лошадок и к чему-то прислушивались.

Холода крепчали. В эту пору в Ленском остроге даже пропойцы не выполняли из землянок без шубных кафтанов, здесь стужа была ещё злей. В день явления иконы Казанской Божьей Матери промышленные и служилые сотворили утренние молитвы, очистили ноздри лошадей ото льда и ради праздника сидели у костров дольше обычного. Пашка Левонтьев, шмыгая носом и часто мигая слепавшимися ресницами, по слогам читал Новый Завет. Русские и якутские люди с молчаливым почтением слушали его и оглядывались на коней с заиндевшими мордами. Над ними курился пар, значит, в полную силу холода ещё не вошли.

Хворост вокруг табора был собран и выжжен, надо было двигаться дальше. Отдав возможное празднику, все ждали атаманского приказа собираться в путь. Но старший Стадухин медлил, всматриваясь в причудливое облако, ползущее с низовий. Его не торопили, наслаждались теплом догоравших костров, жались к огню, монотонное бормотание Пашки убаюкивало. Никто, кроме атамана, не желал ни высматривать облако, ни вдумываться в смысл Завета.

Якуты лежали с таким видом, будто никуда не собирались идти. Непоседливый атаман окликнул их. Только после третьего подзыва они поднялись, переваливаясь с ноги на ногу, пастушьей походкой подошли. Стадухин указал вдаль.

Сощутив глаза в щёлки, якуты долго глядели, куда таращился «башлык». Наконец, старший, с волосатым подбородком и выбеленными инеем усами, разлепил смёрзшиеся губы:

— Скот гонят!

К ним подошёл Пантелей Пенда в волчьих торбасах и волчьей парке, шитой на сибирский манер вместе с шапкой, молча встал за плечом атамана, всмотрелся, прошепелявил в обледеневшую бороду:

— Скот! Но чудно как-то.

— Не пасут, на нас гонят! — уверенней добавил вож.

Стадухин крикнул, чтобы люди ловили и грузили коней. Скот могли гнать только якуты, упорно вытеснявшие тунгусов с их промысловых угодий. Из-за этого между ними были постоянные войны с перемириями для торговли и обмена пленниками. В здешнем краю добывали руду, плавили и ковали железо одни только якуты, а нужда в нём была у всех.

Вскоре из студёного облака выскочил всадник на приземистой мохнатой лошадке и снова пропал. Затем показались быки, идущие впереди стада. Скорей всего, кочевал тот самый якутский род, что самовольно ушёл с Лены, не выплатив ясак. Промышленные и служилые выючили коней и собирали по стану последние пожитки, а Михай с Пендой и вожи всё стояли и разглядывали долину.

— Похоже, гонят их всех! — буркнул в бороду Пантелей, резко развернулся и кинулся ловить своего коня. Якутские вожи, опасливо переминаясь на коротких ногах, впервые на пути от Ленского острога в один голос стали поторапливать атамана:

— Собираться надо, башлык!

— Идите! — отпустил их Стадухин, обшаривая глазами округу в поисках удобного места.

Предчувствие не обмануло его. Из пара, висевшего над стадом, выскочили два оленных всадника, пронеслись возле бычьих морд, размахивая длинными луками. Они явно пытались завернуть скот в другую сторону или повернуть вспять.

— Держи огонь! — сипло приказал Стадухин. — Готовь ружья!

Стрелки грели стволы, от углей костров зажигали трут, фитили держали за пазухой в сухих местах. Завьюченные кони, хоркая заледеневшими ноздрями, двинулись навстречу стаду и вскоре были замечены приближавшимися людьми. На запаленном коне к ним поскакал якут с пальмой в руке. Разворачиваясь в полусотне шагов, прокричал:

— Помогай хасак! — Повернул в обратную сторону и пропал с глаз в хмари, где уже виднелись головы равнодушно идущих быков и очертания носившихся вокруг них конных и оленных всадников.

— Пантелей Демидыч! — окликнул старого промышленного атамана. — Бейся с охочими по левую руку, я с казаками уйду вправо, — махнул, указывая место. — Надо пропустить скот и задержать тунгусов.

Пенда кивнул, услышав его. Герасим с Тархом потянули своих коней в другую сторону. Михай гневно взглянул на них, но прогонять братьев было поздно. На низкорослых мохнатых лошадках якуты отгоняли наседавших тунгусов: стреляли в них из луков, размахивали рогатинами, громко кричали. Нападавшие верхами носились на оленях и ловко пускали стрелы между ветвистых рогов.

Чем ближе подходило стадо, тем отчётливей виделось, что происходило вокруг него. Около сотни пеших и конных якутов, баб с детьми отступали, обороняясь. Тунгусов было больше, они мельтешили на оленях, как мухи возле тухлого мяса. Казаки дали залп, ослепив себя пороховым дымом. Едва он рассеялся, Михай увидел, что урон нападавшим нанесён небольшой. Неожиданно появившиеся казаки только удивили тунгусов грохотом пищалей. Те, что были ближе, отхлынули, но вскоре опять напали на якутов.

Пантелей Пенда заставил одного из промышленных отогнать гружёных коней, сам с шестью товарищами дал залп с другой стороны пади. Привычные к огненной стрельбе якуты победно закричали, пешие побежали к казакам, конные носились вокруг сбившегося в кучу скота, загоняя его между служилыми и промышленными. За стадом сколько хватало глаз лежали туши побитых коров и бычков.

Тунгусы отступили на полёт стрелы и съехались в толпу. Их разгорячённые олени гулко клацали рогами и громко хоркали. В центре что-то кричал и размахивал руками мужик в меховой парке, украшенной бубенчиками. Его густые распущенные по плечам волосы чёрными волнами свисали по груди и по спине.

— Главного надо убить! — просипел Семейка Дежнев. Его пищаль почему-то не прострелила заряд во время залпа. Он положил ствол на костыль, с помощью которого шёл, тщательно прицелился, выстрелил. Рассеялся дым. Длинноволосый мужик, прежде сидевший на олене, теперь стоял на ногах и всё так же размахивал руками, ругая или призывая к чему-то своих сородичей. У ног его дергался, скрёб землю рогами и копытами раненый олень. Семейка резко вскрикнул. Стадухин подумал — от досады, приказал, чтобы готовили ружья к новому залпу.

Тунгусы были одеты по-разному: одни в меха, другие в кожаные халаты поверх меховой одежды. Выслушав длинноволосого, всадники развернули оленей к стаду и во весь опор ринулись на якутов, а те, разъярённые боем, бросились им навстречу, защищая женщин и детей, торопливо бежавших к русичам. Стадухин помахал им, приказывая открыть простор для стрельбы, и дал ещё один залп по рогатой лаве.

Пока казаки перезаряжали ружья и рассеивался пороховой дым, якуты беспрестанно пускали стрелы в сторону противника. Грохотали ружья промышленных на другой стороне ручья. Оттуда тоже доносились победные якутские крики. Под боком атамана снова завопил Дежнев.

Последний скот прошёл мимо казаков. Разгорячённые всадники спешили, закрыли собой брешь между русскими отрядами. Тунгусы, отступив, носились на оленях потревоженным ульем, кружили на месте.

Михей обернулся к стонавшему Семейке Дежневу с лицом, залитым кровью. Казак выдернул из лба стрелу с костяным наконечником, приложил к ране пригоршню снега, закричал и закорчился от боли. Вторка Гаврилов, опасливо оглядываясь, вспарывал ножом его штанину. Из неё торчала другая стрела.

— Ну и везуч земляк! — выругался Михей, заряжая пищаль. Немеющие от холода пальцы едва ощущали тепло ствола.

Тунгусы снова развернулись лавой, стреляя на скаку, с криками ринулись на промышленных. Прогрохотал новый залп. Едва рассеялись клубы дыма, якуты вскочили на лошадок и яростно погнали врагов.

Михей Стадухин наконец-то осмотрелся. Многие из его казаков были ранены, убитых не было. Тунгусские стрелы достали Герасима с Тархом: один со стопами баюкал руку, другой зажимал плечо окровавленной ладонью. Их кони с торчавшими из боков стрелами кружили на месте, вставали на дыбы и громко ржали, разбрасывая поклажу. Вместо того чтобы пожалеть раненых братьев, Михей в сердцах обругал их:

— Пенду бросили, коней не отогнали, не положили на землю... Титьку вам сосать, а не промышлять.

Раны у братьев и у казаков были неопасными. Больше всех досталось Семейке Дежневу.

— Раззява! — обругал его Михей.

— Судьба такая, — морщась от боли, неизбежно просипел казак.

— Вертеться надо, а не пялиться на стрелков, — сгоряча поучал атаман, сверкая живыми глазами в обмётанных инеем ресницах. — Ваше счастье, что у тунгусов костяные наконечники.

Отведя на них душу, он побежал к отряду промышленных людей. В окружении толпы якутов те разглядывали как диковинного зверя длинноволосого тунгуса в парке с бубенцами, того самого, который распоряжался вражьем войском. Локти пленного были связаны, со спутанных, забитых снегом волос по лицу текли ручейки и застывали сосульками, грудь пленника часто вздымалась. Якуты кричали на него, плевались, промышленные не подпускали их.

— Кто взял? — кивнув на ясыря, спросил Пантелея Стадухин.

— Я высмотрел, послал двоих, как только под ним убили оленя. Они пробились вместе с якутами. А кто руки вязал — не знаю, — Пенда протёр разгорячённое лицо сухим снегом, блеснул помолодевшими глазами: — Однако, кабы не якуты, нам бы не отбиться!

Гнавшие тунгусов всадники вскоре вернулись на запаленных лошадках, привезли трёх раненых врагов, мешками бросили их с коней, с печалью сообщили сородичам и казакам, что в бою побито полтора десятка коров и бычков.

Пришлось разбить новый стан неподалёку от старого. Мишка Коновал вынимал наконечники, чистил раны, присыпал их выстившей золой с погасших костров. Михей Стадухин с Пантелеем Пендой бросили сёдла у занявшегося огня, с важностью приняли якутского родового князца Уву. Тот, оборачиваясь к проводникам, сказал, что на них напали тунгусы с реки Момы и ещё какие-то ламуты из-за гор, незнакомого племени. А якуты никому вреда не чинили, просто выпасали скот.

Люди Увы оказались тем самым якутским родом, за которым воеводы послали казаков на Оймьякон. Михей не стал стыдить и ругать беспрестанно благодарившего его тойона, не пытал, зачем бежали, напомнил только про ясак и велел выдать его вдвое, с чем Ува согласился, снял с себя соболью душегрею и протянул Стадухину в поклон.

— «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых», — изрёк Пашка Левонтьев с таким видом, будто был всем судья, похлопал рукавицей по суме с Книгой и присел на корточки у костра.

С ним никто не спорил, но слышавшие его неприязненно умолкли и засопели. У Пашки и в остроге не было близких друзей. Прежний белый поп при встречах с ним багровел и метал глазами искры, с первых служб его невзлюбили прибывшие с Головиным монахи, которых Пашка прилюдно корил за какое-то несогласие.

— Запишу в ясачную книгу, в поклон царю! — хмурясь, оправдался атаман.

Старший из вожей, немного говоривший по-русски, строго поглядывал на тойона и уже беззлобно ругал его за былые обиды. Ува с благодарностью кланялся вожам, просил казаков зимовать поблизости, а весной обещал уйти на Лену. Он ничуть не сомневался, что тунгусы вернутся, чтобы отбить своих пленников.

— Мы под них выкуп возьмём! — Михей снова оглянулся на важно восседавшего шамана. — Молодцы! — одобрил промышленных. — Я боялся, не удержитесь. Мои-то вас бросили, а гнать назад было поздно. — Отыскал глазами Тарха с Герасимом. Якуты уже поймали их раненых лошадей, успокоили, распрягли, умело вытащили наконечники из-под шкур.

Устыдившись невольного гнева, Михей вернулся к братьям, миролюбиво приказал Герасиму, у которого смёрзлись слёзы в пухе юношеской бороды:

— Подь сюда, покажи, как окровянили.

Герасим высвободил руку из рукава, с обидой показал брату рану.

— Царапина! — перекрестил её Михей и густо присыпал золой. — Лишь бы отравы на стрелах не было. К ночи почуешь.

Тем временем якуты лечили раненых по-своему: зарезали подстреленного бычка, вынули из него внутренности, а в тёплое парящее брюхо положили разделого мужика, который от потери крови уже не открывал глаз, лишь постанывал с синюшным лицом.

Другие везли к стану разделанное мясо убитого скота и оленей, варили в котлах, пекли на углях грудинки, печень, мозговые кости. Сюда же возили хворост и обряжали убитых для ритуального костра. Затевался пир: праздничный, по случаю победы, и одновременно погребальный.

— Оймякон где? — выпрашивал беглого тойона Михей.

Тот указывал в низовья долины, говорил, что места там бесплодные: соболей и лисиц нет, холода лютые, зато снега по верховьям речек нет и хорошо выпастать скот.

— На Лене лучше было. Зря ушли, — сокрушался. — Весной вернёмся, будем платить ясак и жить по царскому закону. Думали, здесь никого нет, а тут и тунгусы, и урусы. Нет уже мест, где можно жить спокойно.

— Какие урусы? — насторожился Михей, слегка напугав тойона.

Тот стал путанно рассказывать, что видел на Оймяконе остатки русского стана. Судя по следам, промышленные люди пошли на реку Мому.

— Что за река? Куда течёт? — стал нетерпеливо выпытывать атаман.

Казаки и промышленные, бросив дела, придвинулись к ним.

— Как Оймякон! — Ува махнул рукой на север, стал оправдываться, что сам там не был, но слышал от тунгусов.

— Кто бы мог быть? — Стадухин обернулся к Пантелею. — Поярков говорил, в эту сторону никого не пускали.

Старый промышленный мотнул головой, показывая, что ничего не знает. Михей уставился на тойона, тот, вздыхая и почесываясь, опасливо пожаловался:

— Там якуты воюют между собой. — Повёл носом на закат. — Холопят друг друга, грабят, здесь тунгусы и ламуты, урусы везде ясак требуют. Возле острогов хотя бы не воюют, не грабят.

Пантелей Пенда усмехнулся, пролопотал скороговоркой:

— То наши друг друга не грабят: чуть отъедятся — поедом жрут один другого!

— На то и царь, — нравоучительно изрёк Стадухин, — чтобы дать всем закон, мир и порядок!

Старый промышленный, глядя на пламя костра, презрительно хмыкнул в седую бороду. Втор Гаврилов, молча и внимательно слушавший говоривших, обернулся к Андрею Горелому, спутнику по москвитинскому походу:

— Якуты говорили про разных тунгусов: мемельских и приморских — ламских. Этот не из тех ли, что были на Улье? — указал глазами на длинноволосого.

— Похож! — согласился красноярец. — Одет иначе.

Стадухин, услышав их, перевёл взгляд с одного на другого, стал выпрашивать тойона про тунгусов в кожаных халатах. Их среди пленных не было.

Вторка с Горелым тоже заговорили про всадников в кожаных халатах.

— Похожи на ламутов из-за Камня! Может быть, здешние аргиши¹ ближе тех, которыми мы ходили?

Вечером тяжелораненого якута вытащили из выставшего брюха бычка. Его лицо порозовело, ресницы запавших глаз стали подрагивать. А к русскому стану прибежала молодая якутка с ужасом в лице, глаза её казались закрытыми, глубоко-

¹Пути, проторённые оленями и людьми.

ко запавшими, как у покойницы, рот разинут. Она кинулась к Пантелею Пенде, мёртвой хваткой вцепившись в его парку, спряталась за спиной. К русскому стану смущённо подошли два якутских мужика, потоптавшись на месте, попросили вернуть женщину: ей надлежало сгореть на костре вместе с убитым мужем.

— Кто пожалеет бабёнку и выкупит? — спросил спутников Пантелей, не пытаясь отодрать якутку от парки. — Мне дать нечего.

— А что они хотят? — смешливо побряхывая, отозвался Федька Катаев из круга притихших казаков и промышленных. Он вёл трёх лошадей, и все были целы, имел при себе ходовой товар. Пантелей переговорил с якутскими мужиками, потом с жожами.

— Топор, четыре пригоршни бисера, ведро муки на поминальные лепёшки. За выкуп отдадут женщину в вечное холопство.

Федька переглянулся с Герасимом.

— Дорого? На Лене молодую ясырку можно купить дешевле.

— Заплати! — стыдливо попросил Тарх Герасима, поскольку якуты мотали головами, не желая торговаться, а Федька — платить по их требованию.

— На кой она тебе? — проворчал младший, но, взглянув на лицо якутки, пожалел её, со вздохами пошёл за бисером и мукой.

Едва он отсыпал оговоренное, женщина отцепилась от Пенды, бросилась к нему. Герасим застонал от боли свежей раны и толкнул её Тарху. Она поняла и крепко ухватила за рукав среднего Стадухина.

В ночи якуты сложили ритуальный костёр. Две пожилые женщины покорно взошли на него. Сухих дров было мало, огонь долго чадил, старухи кашляли, но не кричали. Скорей всего, они угорели, надышавшись дымом, потому что не издали ни звука, когда занялся большой огонь.

Утром, разворошив головёшки и угли, якуты выбрали чёрные тела, срезали с костей несторовшее мясо, бросили в кострище, а кости сложили в мешок.

Ещё раз плотно подкрепившись, люди тойона Увы погнали стада в обратную сторону, а десять якутских всадников с заводными лошадьми остались возле стана, чтобы разделить убоину. Этого мяса должно было хватить всем.

Тойон некоторое время оставался с казаками, хотя аманатить его Михей не собирался, потому что бежать ему было некуда. К тому же тунгусы могли вернуться, и без помощи казаков удержаться против них якуты не могли. Ува просил атамана поставить зимовье поблизости от выпасов. По его словам, там он спрятал четыре сорока соболей и с радостью отдаст их в казну.

Семейка Дежнев, и прежде прихрамывавший, теперь передвигался на двух палках. Один из его коней был убит, идти пешком он не мог. У Гришки Простокваши были прострелены руки. Из-за ран пришлось зарезать другого коня Герасима, просить людей отряда и якутов взять на своих лошадок стадухинский товар.

Удача обходила пинежцев: прибыли от торга и промыслов не было, а убытков уже хватало. Казаки и промышленные люди хмуро поглядывали на атамана: немилость Божья к отряду настораживала их, а то, что вышли живыми с беспокойного Алдана и отбились от тунгусов, за удачу не принималось.

Михей Стадухин решил не дожидаться, когда тойон привезёт обещанные меха, но с ним, с двумя казаками и Пантелеем Пендой поехал в места выпасов с брошенными юртами. Ни птиц, ни зверя, ни следов живности не встречалось на побелевшей равнине — вокруг была мёртвая земля с редколесьем из карликовых берёз и кривых лиственниц толщиной в конское копыто. Но ертаулы случайно

вышли на многолюдный тунгусский стан. Людей и оленей здесь было втрое меньше, чем при нападении на якутов, и всё равно много для одного кочевья. Это была часть войска. Стадухин вопрошающе взглянул на старого промышленного с обледеневшей бородой. Пенда пробормотал сквозь смёрзшиеся усы:

— Заметили. Станем убегать, догонят и убьют. Надо идти послами!

Красноярские казаки Втор Гаврилов с Андреем Горелым, покряхтывая от стужи, согласились, что иного пути нет, и следом за Стадухиным и Пендой направили своих коней к враждебному стану. За их спинами рысил на жеребчике тойон Ува. Навстречу им выехали оленные всадники, молча окружили и сопровождали до чумов.

С достоинством победителей казаки Пантелей и Ува спешили. Михей указал старому промышленному, чтобы тот шёл впереди: вид у него был начальственный и по-тунгусски он говорил свободно. Степенно обогревшись возле огня, Пенда стал спрашивать, откуда пришли и зачем напали на якутов. Из беседы с лучшими мужиками выяснилось, что они хотели пограбить их и освободить своих людей из рабства. Дело было заурядным: тунгусы имели рабов из якутов, а те — из тунгусов. На пути сюда встретились с ламутами — тунгусами с другой стороны гор, кочующими до моря, и объединились в один отряд. Но те после боя спешно ушли, оправдываясь, что по большому снегу путь через горы непроходим.

Послы предложили побеждённым дать посильный ясак и помириться с якутами.

— Впредь платите только нам, — сказал Пантелей. — Мы ваших соболей передадим царю, а он прикажет своим людям защищать вас от врагов.

Посоветовавшись, мемельцы выдали два десятка соболей и два половика, сшитых из собольих спинок. Это был не выкуп за трёх ясырей и не откуп за нападение на якутов, но они сказали, что другой рухляди нет, обещали добыть и привезти весной.

Собравшиеся на стане роды были бедны. Только один чум владел железным котлом, остальные пекли мясо и рыбу на углях или варили в глиняных и деревянных горшках, бросая в воду раскалённые камни. И всё же мир был налажен. Их люди верхом на оленях сопровождали всадников до русского стана и забрали своих пленных. От ясыря с длинными волосами по имени Чуна они отказались, как от чужака, сказали, что он — ламский шаман.

— Вот те раз! — удивился Втор Гаврилов. — А одет как алданский.

Герасим и Федька Катаев, увидев послов, закрутились возле них, предлагая товар. Федька азартно приценивался к собольим лоскутам на одежде гостей. Тунгусы изумлённо шупали котлы и топоры, глядели на бисер. Ничто другое их не интересовало, но и за этот товар дать было нечего.

— Дед! Скажи, пусть припомнят, где спрятали соболишек! — просил Пенду Федька. Он пытался говорить с пришлыми по-якутски, ухмылялся, по обыкновению кудахтал, размахивал руками, принуждённо похохатывал. — Приезжайте для торгова весной! — предлагал гостям.

Пантелей хмыкнул в бороду:

— Приедут! Не с соболями для мены, так с роднёй для грабежа. Ты им показал неслыханное богатство.

— Брешут, что бедны, — Федька поперечно подмигнул Гераське. — У якутов покупают железо втридорога против нашего.

Шаман Чуна, которого тунгусы не взяли, на расспросы казаков отвечал охотно, он говорил по-тунгусски, язык его был понятен Пантелею, некоторым казакам и якутам. На ночь шаману связывали руки, надевали на ноги колодку, вечерами он

привольно сидел у костра, непринуждённо говорил, смахивая с глаз нависавшие волосы. Его узкие немигающие глаза смотрели на окружающих по-змеиному холодно и пристально, тонкие губы были улыбочивы, что никак не вязалось со взглядом. По утрам и вечерами он протяжно пел, раскачиваясь телом, иногда просился плясать. От него ватажные узнали, что с верховий здешних рек в полуденную сторону, за горы, много проторенных путей.

— Море где-то близко! — смежив веки, вздохнул Андрей Горелый.

Красноярские казаки, поглядывая на полдень, вспоминали сыск над атаманом Копыловым и десятником Москвитиным. Кто мог знать, когда волоклись за Камень дальним и трудным путём, чем всё обернётся? Иные удручённо молчали, глядя на угли костра.

— Чем дальше на полдень, тем ближе пекло! — жёстко посмеялся Вторка Гаврилов.

— Не бес тому виной, воеводы! — сурово глядя на угли, прошипел Мишка Коновал. Лицо его было коричневым, как кора лиственницы, на нём ярко белел рваный шрам от уголка скошенного рта к уху.

Казак сказал то, что было на уме у всех. Пантелей усмехнулся, качнув седой головой, атаман метнул на Мишку недовольный взгляд, но промолчал.

— К полуночи — море, к полудню — море, — заговорил старый промышленный. — Похоже, Великий Камень тянется среди океана на восход. А сколько, того никто не знает.

— По мне, тянись он хоть до края света, — раздражённо буркнул Втор Гаврилов. — Зарекаюсь подставлять спину за правду. Добуду кое-какое богатство, вернусь в Красноярский, попрошусь в пашенную слободу — и иди она к бесу, казачья служба!

— Не может того быть, чтобы чему-то не было конца! — пропустив мимо ушей сказанное красноярцем, заспорил Михей Стадухин и с пониманием взглянул на Пантелея. — Даст Бог, дойдём!

Красноярские казаки пустились в воспоминания о Ламе, в который раз пересказывая о богатствах полуденной стороны Великого Камня. Промышленные, раззадоренные их сказками, стали расспрашивать Чуну о путях к морю и племенам, живущих там.

По словам ламута, его народ был многочисленным: и сидячим по избам, называвшим себя мэнэ, и кочующим на оленях — орочи. Ни те ни другие не слыхивали, чтобы платить кому-то ясак или выкуп за пленников, а потому за него, за Чуну, родственники ничего не дадут. И зверя в его земле множество, есть соболь.

— Заманивает, — посмеивался Михей, соскребая сосульки с рыжих усов. — Думает, прельстимся: единоплеменники нас перережут, а его освободят.

Пантелей соглашался, что ясырь так и думает, но кивал на Втор Гаврилова и Андрея Горелого, ссылаясь на рассказы Ивана Москвитина.

Судьба десятника, небрежение воевод к его сказкам о Ламе и десять сороков дешёвых соболей из одиннадцати привезённых не прельщали Михея Стадухина, мысль о том, что можно, по попущению Божьему, вернуться должником, — ужасала. Он внимательно слушал рассуждения товарищей, забывая о насущном, потом спохватывался о делах дня, допытывался у Чуны и тойона Увы, где найти лес повыше и потолще.

Якут пытался убедить ватажных, что в лесу жить опасно: враги могут подкрасться незамеченными, дерево упасть на головы, прельщал зимовкой на равни-

не. Отчаявшись, указал падь, укрытую с севера горами. Она была в днище пути от якутских кочевий.

Ватага казаков и промышленных людей с аманатом Чуной двинулась в ту сторону и вышла к реке, покрытой льдом. Чтобы перевезти груз и раненых, пришлось должиться конями у якутов, все, кто был в силах, шли пешком. За Тархом, переваливаясь с боку на бок, семенила якутка в мужских торбазах, с её выстывших губ не сходила счастливая улыбка. Она восторженно озидала низкое небо, запорошенную снегом траву, не жаловалась на усталость и крепко держалась за парку промышленного. На станах женщина старалась быть всем полезной, чинила одежду, со знанием дела и с удовольствием пекла мясо.

Ватага нашла излучину застывшей речки, в которой росли высокие лиственницы. Лес был укрыт горами от северных ветров и узкой полосой тянулся вдоль одного из берегов версты на полторы. Как бы он ни был мал, зимовать здесь было приятней, чем на равнине. Ертаулы подняли на крыло куропаток, видели зайцев, но не нашли даже застарелых следов соболя. Это был Оймякон.

Тоскливо оглядевшись, Михей Стадухин стал оправдываться:

— Воеводы приказали рубить здесь государево зимовье, укрепить частоколом. — При общем молчании добавил, просипев простуженным горлом: — Укрепимся и поищем промысловых мест.

— Бывало хуже! — пробубнил Пантелей Пенда из меховой трубы, в которой укрывал лицо. Смахнув её на плечи, огляделся, отметил, что здесь холодней, чем на равнине.

Казаки и промышленные люди выбрали бугор для зимовья, развесили на деревьях мешки с мукой, заветренным мясом, стали строить балаганы и греть землю. Михей Стадухин с топором в руке обошёл лес и сделал зарубки на деревьях, которые приказал не трогать.

— Хочешь плыть по реке! — одобрительно кивнул Пантелей.

— Как знать! — уклончиво ответил атаман. — Много коней потеряли.

На новом стане закурились дымы костров, бойко застучали топоры. Чуна закричал, как раненый зверь, завыл, схватившись за голову.

— Тунгусу легче убить человека, чем срубить дерево, — пояснил Пантелей, участливо подошёл к Чуне, долго говорил с ним, в чём-то убеждая. Вернувшись, пояснил спутникам:

— Чуна просит не рубить деревья, пока не выпроводит из них души. — Вопросительно взглянул на старшего Стадухина.

— Кого их, диких, спрашивать? — возмущённо запричитал Простокваша, кивая на свои раненые руки. — Не замерзать же из-за одного дурака.

— Вот-вот! — закудаhtал Федька Катаев. — У них одно на уме, как нас извести. — Обернулся к Пашке Левонтьеву: — Что там в Законе Божьем сказано?

Пашка призадумался, пошмыгивая носом, с важностью изрек:

— «Не участвуй в делах зла!» И ещё: «Пришельца не обижай».

Какое-то время казаки и промышленные лупали обмётанными куржаком ресницами, вдумываясь в сказанное, начали было спорить, но атаман спросил:

— Как будет души выпускать?

— Плясать, наверное, петь! Как ещё?

— Пусть попляшет. Подождём! — разрешил.

Перечить ему никто не стал. Люди вернулись к кострам, присели у огонька, наблюдая за ясырем. Обходя от дерева к дереву, вытаптывая вокруг них снег,

Чуна о чём-то лопотал, раскачивался всем телом, мотал долгогривой головой, и его густо выбеленные изморозью волосы трепались по плечам, как кроны на ветру. Казаки и промышленные стали мёрзнуть без дела, одни жались к кострам, другие притопывали, втягиваясь в танец ламута. Якуты жалости к деревьям не имели, они всякий лес готовы были выжечь дотла, чтобы расширить пастбища, но и вожи, вовлечённые шаманом в пляску, мотали головами, дрыгали ногами, как кони, и гортанно ржали.

Танец Чуны завлекал. Люди у костров сначала со смехом, потом с каким-то остервенением в лицах стали дергаться, подражая ламуту.

— Чарует! — просипел Пантелей выставшими губами, вынул из-под парки кедровый нательный крест, навесил поверх одежды.

Стадухин стряхнул с глаз чарование, перекрестился, стал сечь одно из деревьев, от которого отдалился Чуна. Его топор звенел и отскакивал от промёрзшего комля. Застучали другие топоры, и вот со скрежетом и хрустом, завалилась набок вековая лиственница.

Чуна упал в снег, долго лежал как мёртвый. Пантелей Пенда, воткнув топор в пень, волоком подтянул его к костру, уложил на тёплый прогретый лапник.

— Никому из вас не будет счастья! — шуря большие глаза, впервые пригрозил шаман. — Лес мстит жестоко, страшней, чем люди.

Зима разошлась во всю силу. От стужи трещали деревья и грохотал лёд в реке. День был короток. Избёнка из неошкуренного леса росла на глазах. Чуна бездельничал, лежал возле костра, не желая даже подкидывать щепу, только придвигался к гаснущему огню или отползал от него, когда поднималось пламя.

Долгими ночами над станом мерцали холодные звёзды, ярко светил месяц-золотые рожки, высвечивая кроны деревьев в кухне. Из-под лапника и потников дышала теплом прогретая кострами земля. При свете огня чёрные опухшие лица спутников были похожи на звериные морды. При общем усталом молчании Пашка Левонтьев с клоком светлой оленьей шерсти в бороде монотонно по слогам читал церковно-славянское письмо и скороговоркой повторял прочитанное просторечием.

Сквозь заиндевевшие смерзавшиеся ресницы Михей смотрел на звёзды, осторожно вдыхал носом колкий студёный воздух, вполуха слушал Пашку, мысленно растекался по окрестности и, не чувствуя опасности, сонно думал о неведомой земле, воле, славе, счастье. Здесь, на Оймяконе, всё было не то и не так. Мысли его путались с Пашкиным чтением, среди звёзд выткался неясный лик Арины, в ушах зазвучали неразборчивые слова её молитвы.

Люди были сердиты, он это хорошо чувствовал и понимал их: подошло время промыслов, но ватага ещё только рубила зимовье. Поблизости соболей и лис явно не было. Многим уже казалось, что лишь чудо поможет добыть кое-какую рухлядь, чтобы хоть как покрыть убытки. По утрам и по вечерам люди страстно молились святым апостолам Петру и Павлу, покровителям промыслов. В том был намёк и укор атаману.

Только от старого Пенды не было ни похвал, ни осуждения. «То ли равнодушен ко всему, — гадал атаман, — то ли так надёжно заперт?» Пантелей спокойно переносил тяготы будней, и чем откровенней связчики показывали недоверие атаману, тем чаще говорил о душевном, звал идти на Ламу.

— Со слов тойона Увы, Оймякон впадает в Мому, куда она течёт, никто не знает, — отговаривался Михей и чувствовал приятное волнение, которое принимал за

вещий знак. — Если благополучно перезимуем и не даст Бог добычи в этом краю, построим струги, поплывём в неведомое, как Илейка Перфильев, Ивашка Ребров.

Все ждали от Пенды рассказов про удачные промыслы, скитания по неизвестным землям, но он упорно помалкивал, а при настойчивых расспросах как-то нехорошо усмехался.

— Вот бы кому язык огоньком развязать! — побряхтывая и похохатывая, обмолвился Федька Катаев.

Пантелей выплюнул из-за щеки ягодный лист, поднял парку и подол заячьей рубахи, показал живот. Казаки и промышленные, удивлённо переглянувшись, вопрошающе уставились на него.

— Спина кнутом исполосована, зато над огоньком не висел! — пояснил Пенда.

Бывальцы были наслышаны о первопроходцах, кончивших земные жизни в пыточных избах под кнутами приказных и воевод. За слухами и догадками о несказанном ими была чарующая тайна, а Пантелей Пенда был одним из её жрецов.

— Язык наш — враг наш! — поддакнул Пашка, поглаживая кожаный переплёт Библии. — Гроб смердячий!

Пылали костры, сизый дым поднимался к небу ровными воронками, от прогретой земли шёл жар и оседал куржаком на одеяла. Утомлённые работами, люди быстро засыпали. Якутка лежала рядом с Тархом в меховом мешке — кукуле, сквозь выбеленные инеем ресницы глядела в низкое небо и улыбалась своей новой жизни. Над её лицом поднималось и осыпалось льдинками облачко пара.

Пашка, закрыв Книгу, которую обычно читал перед сном, втянулся в глубину оленьего кукуля. Михай Стадухин в полусне привычно растёкся по сугробам, обращаясь в большое бесплотное ухо. Внутренний взор его скользнул по уродливым пням, корявым сучьям, щепе, по замершим в студёном безветрии деревьям и остановился на соболе с бьющейся куропаткой в зубах. Зверёк воровато оглянулся и поволок птицу под пень.

Михей приятно удивился, что лес не так уж пуст, в следующий миг услышал осторожные шаги. Промороженный снег был сыпуч и беззвучен, звуки походили на человечьи, но вместо образа идущего ему чудилась какая-то тень. «Кто бы мог быть?» — встревоженно подумал он, напрягся и в лунном серебре полярной ночи смутно увидел то ли зверя, то ли человека. Открыл глаза, скинул одеяло.

— Не враг это, спи! — пробормотал лежавший рядом Пантелей.

— Злого не чую, — прошептал Михай. — Но кто?

— Леший!

— Они спят с Ерофеина дня!

— Значит, сендушный забрёл из тундры! — Пантелей высунул нос из волчьего кукуля, сшитого по-тунгусски, прошептал твёрже: — Не буди людей, без того злы!

Михей лёг на спину, взглянул на низкие звёзды.

— А что ему надо? — спросил шёпотом.

— Они же любопытные, как медведи или козы! — старый промышленный зевнул и перевернулся на другой бок.

Придвинувшись к нему, Михай Стадухин прошептал:

— Ты тоже видишь кожей?

— Вижу! — помолчав, неохотно ответил Пантелей. — Могу в черёд с тобой караулить подходы... Умаялся ты!

Опять стали смерзаться ресницы атамана. Залучились, закачались звёзды, среди них ясно выступило лицо Арины, будто как когда-то на Илеме, она смотрела на

него через костёр. В полусне, укрываясь с головой, он опять услышал её голос с неразборчивыми словами. С тем и уснул. Проснулся, почувствовав себя отдохнувшим, будто высвободился из объятий жены. Бросил взгляд на небо. Была ночь, но звёзды перевернулись. В Енисейском остроге в это время рассветало. Тлел костёр. Свернувшись улиткой, едва не тычась носом в угли, над ними клонился Семейка Дежнев в обнимку с пищалью. Железный ствол ружья, покрытый узором изморози, розовато отсвечивал.

— Спишь в карауле? — тихо укорил Михай.

Семейка вздрогнул, обернулся.

— Не сплю, — проямлил, сглатывая слюну. — Греюсь! Околел. Всю ночь ходил, где ты указал.

Зашевелились разбуженные люди, громко зевали, с недовольным видом поглядывая на небо и атамана.

— Догреетесь в преисподней, — проворчал он, вставая. — Вот как перебыют сонных, — пригрозил.

— Так нет никого! Кому бить? — продрав глаза, заспорил Семейка, обыденно пререкаясь с земляком.

— Аманат тихонько встанет и убьёт твоим же ножом.

— Я ему ноги связал хитрым узлом!

— Тьфу на вас, неслухи! — беззлобно выругался Михай, окончательно разбудив стан. — Сходи погляди, — указал кивком в сторону порубленных деревьев.

Сгрёб в кучу тлевшие угли, бросил на них бересту. Она задымила, стала скручиваться, потрескивать, но не загоралась. Семейка Дежнев, оставив у костра пищаль и опираясь на палки, заковылял в указанную сторону. Поднялось пламя. С одеялами на плечах служилые и охотие стали жаться к огню. Якутка отошла на десяток шагов, набила котёл сыпучим снегом.

— Сендушный приходил! — возвращаясь, дурашливо крикнул Семейка. — Нога босая, как у зверя, и кора на осинах погрызена. — Слава Богу, — перекрестился, не снимая собачьей рукавицы, — не видели, не слышали: встречи с ним не к добру.

— Девка у нас, — кивнув в сторону якутки, поддакнул дружку Простокваша. Он стоял в карауле перед Семейкой, потому оправдывался и за себя тоже. — Сендушный до них охоч, крадёт собак и баб, а так безвредный...

Все с любопытством уставились на Пантелея Пенду, но он по обыкновению молчал, перемалывая крепкими зубами лиственничную смолу.

Строилось государево зимовье торопливо, небрежно, вкривь и вкось, из сырого леса и гнилых валежин: лишь бы пережить зиму. Щели в ладонь забивали мёрзлым мхом. Накрыли сруб жердями и корой, закидали избу снегом. Частокोल ставить не стали: атаман не требовал, сами укрепляться не желали. Но сразу принялись за строительство бани.

Отмывшись, люди два дня отдыхали с просветлёнными лицами. Раненые лечились. Коновал присыпал им раны травяной трухой из мешочков. Здоровые казаки и промышленные стали проситься на разведку промыслов. Михай отпустил сначала промышленных, потом половину казаков. Аманата Чуну держал в зимовье вольно, колодки надевал только на ночь, утром освобождал. Якутка варила и пекла мясо, радовалась, когда её хвалили, и так ласково глядела на всех глубоко запавшими под лоб глазами, что подстрекала мужчин к похоти. Только при виде ламута на лице её мелькала болезненная тень воспоминаний о прошлой жизни. Но и ему она не показывала неприязни, не обделяла едой.

Служилые и охочие, отпущенные Стадухиным на промыслы и проведывание новых земель, поехали по округе порознь и вскоре объединились в две чунцы под началом казака Андрея Горелого и промышленного Пантелея Пенды. На лошадях с недельным припасом ржи и мяса они отправились в верховья Оймьякона.

Падь, где было поставлено зимовье, на аршин завалило снегом, в избе стало теплей. Бывшие при ней кони зарывались в сугробы едва не по самые лопатки, копытили траву. Михей указал на них брату Герасиму:

— Понял, чем якутские карлы лучше русских лошадей в два с половиной аршина в холке?

Тот обидчиво шмыгнул обмороженным носом, поперечно проворчал:

— Не стоят они тех денег, что потеряли.

Братьям не повезло: из шести лошадей три пали. Но Герасим с Федькой ездили на стан к якутам, с выгодой продали часть товара. Рана младшего зарубцевалась, он стал проситься на промыслы с дружкой Федькой и с казаками. Тарх, оставив выкупленную якутку на старшего брата, держался поблизости от Пенды, учился у него.

— Можешь идти с ними, только как-то не по-христиански промыслять в разных чунцах с братом, — укорил младшего Михей.

Семейка Дежнев, возившийся у очага, смешливо взглянул на молодого земляка, мимоходом встрял в разговор:

— Федька менять и торговать горазд, глядишь, вдвоём втридорога товар сбудут.

Он все ещё ходил на раскорячку, сильно припадая на обе ноги, но уже без палок, работал при зимовье. Рана на его лбу зарубцевалась. Над Семейкой смеялись, что ламуты вскрыли ему третий глаз. Он тоже смеялся, устав отмаливать своё забубённое невезение, смиряясь с долей. На промыслы не просился, показывая, что калеке только и остаётся что топить избу.

Вскоре с заводными конями в поводу вернулись двое промышленных и приволокли по льду застывшей речки тёсаную лесину с длинными обрубками сучьев. Отогреваясь возле очага, жаловались, что намучались с ней в пути. Эту колоду велел тянуть к зимовью старый Пенда, по его словам, из неё должна получиться хорошая основа для шитика. Михей понял, что, прельщая спутников походом на Ламу, Пантелей Демидович непрочь сплавиться по неведомой реке.

Со слов вернувшихся, по ту сторону гор было теплей, но снега больше. Там водился соболь. Люди Пенды и Горелого рубили станы, спешно секли кулемники по ухажьям.

Разошлась по промысловым местам и вторая чунца. В зимовье со старшим Стадухиным остались хромой Дежнев, безрукий Простокваша, заумный Пашка Левонтьев, якутка и аманат Чуна. Пашка стоял в караулах, днями рубил дрова, всё свободное время читал. Все слушали его и молчали, убаюкиваемые монотонным голосом. Напрягая морщины между бровей, чутко прислушивался к теще Чуна. И только якутка с отрешённым видом лежала на нарах и чесала брюхо.

Михей попытался добыть одного-единственного соболя, крутившегося возле лабаза, делал всё как все, может быть, даже лучше. Но соболь либо не шёл к его клепцам, либо вытаскивал приманку. Стадухин тайне злился на него, хитроумного, и на себя самого. Против одного юркого зверька выставил десяток ловушек, и всё зря: одни захлопывались пустыми, с других пропадала приманка или соболь к ним не подходил. Атаман сдался, пожаловавшись земляку на неудачи в промысле. Семейка Дежнев, ковыляя, обошёл пугик, поставил и насторожил всё по-своему,

через неделю принёс придавленного соболька и ободрал при тоскливом молчании Стадухина.

В марте потеплело. На обдутых ветрами равнинах и холмах быстро таял редкий снег, выпасы желтели прошлогодней травой. После полудня по долине реки сугробы становились вязкими, а по ночам покрывались крепким настом. Подъехать к зимовью на конях было невозможно, но на оленях или собаках под утро подойти могли. Караульные спали, когда им казалось, что снег непроходим.

В это самое время на зимовье набрела ватажка промышленных людей из восьми человек. Оставляя после себя глубокий лыжный след в отопревшем рыхлом снегу, они подошли к жилью на десяток шагов и с изумлением уставились на дым. Выскочившие из избы казаки были поражены встречей не меньше, чем пришельцы. Те и другие, постояв друг против друга с разинутыми ртами, разом заголосили, выспрашивая, кто они такие и откуда взялись.

Раздвинув Семейку с Пашкой, вперёд вышел Михей Стадухин, велел прибывшим сбросить лыжи и войти в зимовье.

— Кто передовщик? — спросил.

— Я! — отозвался скуластый, как ёрш, муж со шрамами обморожений на лице. — Енисейский промышленный Ивашка Ожегов.

Как и спутники, одет он был по-тунгусски. Скинув башлык, обнажил голову с длинными спутавшимися с бородой волосами. Ответив атаману, захлёбисто закашлял. Набившись в зимовье, гости развязали кожаные узлы на одежде, разделись. Чёрными неуклюжими потрескавшимися пальцами Ожегов достал мешочек, вытряхнул из него отпускную грамоту енисейского воеводы Верёвкина, позволявшего промышлять соболя по Олёкме.

— Как здесь-то оказались, да ещё пришли с восхода? — строго спросил Стадухин, предъявив наказную память от воевод Головина и Глебова.

Гости притихли, заговорили почтительней.

— Неудачно промышляли зиму на Олёкме. Весной переволоклись через гору, построили струги, поплыли по неведомой речке. В низовьях узнали, что зовётся Амгой, а промысловые места заняты енисейцами и мангазейцами. Переправились через Алдан, шли встречу солнца, промышляли неподалёку отсюда — две недели ходу. Речка там, под полночный ветер. Оголодали и решили выбираться в Ленский острог.

Хотя пришлых было вдвое больше, чем зимовейщиков, а Семейка Дежнев и Гришка Простокваша ещё не оправались от ран, гости с опаской и предосторожностями показали добытые меха.

— Негусто! — разглядывая связанные бечевой сорока, посочувствовал Стадухин. — А соболя добрые, головные. Такие в Ленском по рублю.

— По рублю нипочём не дадут, — улыбаясь, заспорил Семейка Дежнев. — Обязательно сбросят по полуполтине. А у вас есть рухлядь без хвостов и пупков.

Ожегов торопливо собрал меха в мешки.

— До Ленского ещё добраться надо.

— С таким богатством, — Семейка окинул их добычу смешливым взглядом, — наедитесь ржаной каши с коровьим маслом и пойдёте в покруту.

По приказу Стадухина он выложил перед гостями каравай оттаянного хлеба. Выпекали его по уговору только на субботы и воскресенья. Рыбы в промёрзшей реке не было, по нужде привычно сквернились в пост зайцами и куропатками. Муку, как водится на промыслах, берегли.

Передовщик кочующей ватажки отщипнул кусочек от краюхи, благостно пожевал, за ним потянулись к хлебу другие. Поев, покидав в рот последние крошки, Ожегов степенно ответил Семейке:

— Это уж как Бог даст! Порох, свинец истратились, неводные сети перервались. Перед уходом из зимовья тушки соболей варили — экая гадость... Волчати-на после соболятины, прости господи, ну очень вкусна.

— Нам тоже удачи нет, — сочувствуя пришлым, пожаловался Стадухин. — Наказ воевод выполнили, но рухляди не добыли и теперь хотим искать новых земель, распускаем лес, со дня на день заложим шитик и со льдом поплывём на реку Мому. Слыхали?

Переглянувшись, гости не ответили, только удивлённо посмотрели на Михея.

— А мы слыхали! Нас всех с вами будет добрая ватага. Дорога дальняя, край неведомый, лишние люди не помешают.

— Что хотите с нас? — настороженно блеснул глазами и снова закашлял скуластый передовщик. — Покруту?

— Со дня на день вернутся с промыслов казаки и промышленные. Соберёмся, решим! А пока помогите строить судно, сторожить зимовье и аманата, — кивнул на равнодушно слушавшего гостей ламута.

Горелый с Пендой и промышленными людьми вышли к зимовью на той же неделе. Все были живы. Кроме мехов, они привезли мешок мороженных соболей, которых собрали на обратном пути, забывая клепцы. По грубой прикидке, добытая рухлядь вместе с неошкуранным мешком не покрывала долгов большинства казаков и промышленных. Пантелей обрадовался, что народу прибавилось, стал уверенней зазывать на Ламу, в места москвитинского зимовья, но идти туда напрямик через горы, путями, известными аманату Чуне.

Михей Стадухин ещё надеялся, что ламуты привезут выкуп за пленного. Если нет, то соглашался навестить их, пограбить в отместку за прошлогоднее нападение на якутов. Но не больше: все понимали, что другой зимы в этих местах не пережить. Не было на Оймяконе человека, кому бы так же, как ему, не терпелось вернуться в Ленский острог. Но, наверное, никто другой так не страшился вернуться должником. Кони отряда паслись в якутских табунах, за них не беспокоились. Не будет в них нужды, якутские мужики отгонят на Лену вместе со своим скотом и долгов убудет.

Втор Гаврилов, спутник Ивана Москвитина, угрюмо прислушивался к разговору, в котором и Михей, и Пенда то и дело ссылались на него и Андрея Горелого, сам же помалкивал.

— Да скажи что-нибудь! — вспыхнул атаман.

Втор вздохнул, расправил бороду:

— Меня уже наградили за Ламу: по сей день спина чешется. Что же я буду другой раз напрашиваться?

Сторонникам похода за Великий Камень возразить казаку было нечем. Умолк и старый промышленный, свесив белую бороду. Семейка с Гришкой Простоквашей шкурили привезённых соболей, им охотно помогала якутка.

По обычаю старых промышленных тушки надо было сжигать при общем молчании, но народу в зимовье так прибыло, что сделать это с честью Семейке с Федькой не удавалось, и они зарывали ошкуранных соболей в снег.

Михей Стадухин неподалёку от того места вытащил из плашки задавленного зайца и беззаботно шёл к зимовью с добычей в одной руке с топором в другой.

Вдруг в пяти шагах от него поднялся медведь, торопливо дожевывая ошкуренного соболя из дежневской хованки, уставился на атамана. Мгновение человек и зверь пристально глядели друг на друга, Михею показалось, что он узнал того, который подходил к нему с Ариной на Илеме и Куте, которого спас от убийства на Лене. Но медведь так отошал, что под свалявшейся шерстью угадывались рёбра: видно, поднялся из берлоги давно и бедствовал без кормов.

Окинув его сочувственным взглядом, Стадухин бросил мёрзлого зайца. Зверь на лету схватил его, с хрустом сгрыз, снова уставился на человека голодными глазами, и казак почувствовал, что для исхудавшего медведя он — продолжение съеденного. Не сводя с него глаз, зверь стал приседать перед броском.

— Чего удумал? — Михей отвёл в сторону топор, готовясь защититься. И в этот миг за спиной раздался такой пронзительный вопль, от которого он невольно скакнул, обернувшись спиной к медведю. Чудно раздув шею и щёки, кричал Пантелей Пенда. Краем глаза Михей увидел, как зверь шарахнулся в сторону. Обернулся — он убежал.

— Зачем подставляешься? — на глубоком вдохе прерывисто спросил Пантелей.

— Да вот, бес попутал! — смущённо пожал плечами Михей.

— Бывает! — согласился старый промышленный. — Хорошо, я был рядом. В нём одних костей и жил пудов десять. Задавил бы.

— Что ты ему сказал? У меня до сих пор в ушах звенит.

— Чтобы проваливал!

— Что за язык такой чудной?

— Чандальский², — неохотно ответил Пантелей. — Скажи Семейке, чтобы не бросал тушек возле зимовья.

Слегка сутулясь, старый промышленный пошёл к зимовью. Помахивая топором, Михей догнал его, спросил полушёпотом:

— Ты и с чандалами знался?

— С кем только не знался! — досадливо огрызнулся Пантелей. — Не верь никому! Особенно людям и медведям!

В апреле на открытых местах лесного берега речки появились проталины. В полдень припекало солнце. К зимовью приехали на оленях родственники Чуны. Пять мужиков в кожаных халатах, с чёрными, лоснящимися от солнца лицами спешили на противоположном открытом берегу и по мокрому льду переправились к жилью. Полтора десятка сопровождавших их сородичей остановились там же, сложили на землю луки с колчанами стрел. Послы безбоязненно подошли к караульным, их обыскали, подпустили к зимовью, показали живого аманата с колодкой на ноге.

— Здоровые черти! — буркнул Горелый, оглядывая гостей. — Один к одному тамошние сонинги.

Ламуты принесли три пластины, сшитые из собольих спинок. Выкуп не мог быть так мал, можно было понять, что это подарок в поклон. Стадухин ждал, решив, что гости будут торговаться за шамана, за побитый якутский скот, за раны русичей и убитых якутов. Пантелей Пенда сидел в тёмном углу, переводил строгие глаза с одного посла на другого. Пашка Левонтьев со звучным хлопком закрыл Библию, ламуты вздрогнули, обернувшись к нему, оглядели углы избы и попросили разрешения говорить с Чуной. Атаман обернулся к Пантелею за советом.

² По поверьям промышленных людей XVII века, чандалы — древнейший сибирский народ, впадающий зимой в спячку.

— Не нравится мне что-то! — пробормотал тот. — Добавь-ка людей на охрану!
— Там десятеро! — пожал плечами Михей, но выслал из избы ещё пятерых.

И тут с другого берега нескрывшейся речки послышались якутские крики «Ур!..Ур!»

Безоружные ламуты вскочили с мест, отбиваясь от казаков, кинулись к двери, перепрыгнули через сидевших снаружи, побежали к оленям. Караульные дали по ним три нестройных выстрела. Как оказалось, фитили были запалены только у них. Когда рассеялся пороховой дым, ламуты уже мчались на оленях на расстоянии полёта стрелы.

Чуна в деревянной колодке бежать не пытался, но по его лицу было件нятно, что родичи сказали ему что-то важное.

Прискакавшие по проталинам якуты спешили, скользя ногами по сырому льду, переправились с конями через реку в то время, когда Михей Стадухин орал на своих и раздавал тумаки. Это были вожи, отпущенные им зимовать с единокровниками. Они сказали, что ночью ламуты напали на станы Увы, перебили много коней. Возмущённые зимовейщики, забыв споры и обиды, хотели преследовать врагов по горячим следам.

— Погодите! — крикнул Пантелей, удерживая рвущихся в погоню. — Если их всего сотня, как говорят якуты, то они пришли освободить Чуну, а коней били с умыслом. Побежите для мщения, они вернутся и отоьют шамана. Думать надо!

Стадухин властно окликнул людей, тряхнул за шиворот непослушных крикунов, велел накормить якутов.

— Горелый! Бери под начало промышленных людей и двух служилых. Возьмёшь свинца, пороху, остатки толокна, пойдёте к якутам, защитите их, соединитесь с ними и преследуйте ламутов как умеете. Ловите лучших мужиков, требуйте выкуп сколько дадут, — обвёл строгим взглядом слушавших его людей: — Главным будет Андрейка. Во всём слушаться его и Пантелея Демидыча. Я с казаками жду вас здесь. Будем строить коч, караулить Чуну и якутский скот. Не вернётесь к Николе, пошлите вестовых, а то мы уплывём, куда Бог выведет.

Отряд из двух десятков промышленных с двумя казаками, Андреем Горелым и Втором Гавриловым, ушёл вверх по Оймякону. Тарх увязался с ними, Герасима Михей не отпустил, оставив при себе. Впрочем, младший и не рвался за Камень. На быстрое возвращение отряда никто не надеялся. Конным догнать оленных всадников по насту, лежавшему по ложбинам, было делом невозможным: олени с широкими раздвоенными копытами не проваливались, как кони. Горелый и Пенда соединились с двадцатью якутскими всадниками и повели всех на реку Охту, где, по слухам от Чуны, ещё не было русских людей.

Весна уже явно теснила зиму. Промерзавшая до дна речка, томясь подо льдом, пробивалась из щелей и трещин, в полдень журчала ручьями. У её берегов появились широкие пропарины, но рыба в них не ловилась, не было даже её запаха. Якуты, опасаясь новых нападений, пригнали свои стада ближе к зимовью. И они, и казаки питались мясом убитых коней.

Стадухин с казаками и промышленными людьми поспешно строил коч из подручного леса, ждал вестей от Горелого, но их не было. Якуты тоже ждали возвращения лучших мужчин, без них боялись удаляться от зимовья, хотя по первой зелени трав им пора было кочевать в обратную сторону к Ленскому острогу.

В мае, на Еремея Запрягальника, речка наконец-то очистилась от льда, бесилась и пенилась весенним паводком. В этот день вернулся отряд Андрея Горелого.

Все были живы, ранены двое — он сам и ожеговский промышленный. К их седлам были приторочены мешки с сухой рыбой и рыбной мукой.

— А мы, вас ожидаючи, совсем оголодали, — признался атаман.

Андрей Горелый со Втором Гавриловым сошли с низкорослых лошадок, затоптались на месте, разминая ноги.

— Как якуты? — спросил атаман.

— Все живы! — неохотно ответил Горелый, мотнул головой и устало поморщился. — Только нас ранили.

Зимовейщики топили баню, варили заболонь и корни, обильно приправляя их привезённой рыбной мукой. Прибывшие не спешили рассказывать, где были, что видели: разговор предстоял долгий. Пока грелась вода и калилась каменка, они с любопытством разглядывали судно, обшитое тесаными досками.

— Добрая ладейка! — неуверенно похвалил Пантелей Пенда. В сказанном был намёк, что плоскодонный коч маловат для ватаги.

Стадухин стал было оправдываться, что из здешнего леса невозможно сделать больше того.

— Надо бы нос и корму накрыть: всё-таки от волн защита, в дождь можно обогреться и просушиться, — придирчиво обстучал борта старый промышленный.

Люди, бывшие с ним по ту сторону гор, сдержанно хвалили работу плотников.

Наспех срубленная зимой изба светилась щелями и не могла вместить всех. Ясным вечером, переходящим в светлую ночь, ватага сошлась у костра. Втор с Андреем Горелым сняли с бани первый пар, бок о бок сели на колоду. Казаки-зимовейщики ждали от них подробного рассказа. Привезённый с Охоты мех — три десятка плохоньких, коричневых соболей, пара пластин сшитых из спинок, — был осмотрен и ошупан. Выкуп за Чуна не взяли.

— Бога прогневили, что ли? — вздыхали, печалась невезению.

Немногословный Втор Гаврилов больше помалкивал, говорил Андрей Горелый, его связчики глядели на пламеневшие угли и поддакивали.

— Ламуцких мужиков на Охоте кочует множество. Не обманул Чуна, — указал на ухмылявшегося аманата.

Тот без цепи и колодки вольно сидел у костра как равный.

— Ездят на оленях тропами давними, пробойными, кони по ним идут легко. Соболя и всякого зверя там много, реки рыбные, — увлекаясь, заговорил громче. — Лис хоть палкой бей. По следу глядеть — волки с ними живут мирно, рядом ходят. Все сыты.

— На Улье тоже рыбы много, но не так! — степенно поддакнул Втор.

— Правду говорил Чуна, — Горелый опять кивнул на заложника. — Есть ламуты сидячие, живут в домах, сёлами, что наши посадки. Припас у них рыбный: юкола, икра, рыбная мука в амбарах, с осени в зиму рыбу в ямы закладывают. Железо у них — редкость: копейца и ножи костяные, топоры тоже костяные, бывает, каменные. Бой лучной, это вы видели. Лихо носятся на оленях, аманатить себя не дают.

— А сидячих что не брали?

— Как где ни покажемся — мужики, старики, дети бегут в лес и упреждают соседей. Врасплох их не взять. А если варят рыбу из ям — к селению не подойти от вони: лучше броней защита. Что удалось собрать по пустым избам, то привезли. Другой рухляди не было.

— Не дошли устья Ульи, где зимовали с Ивашкой Москвитиным? — нетерпеливо спросил атаман.

— Не дошли! — согласился Горелый, тряхнув пышной, промытой щёлоком бородой. — По всем приметам, недалеко были. Но близко к морю собралось ламутское войско сотен в семь, стреляли по нам со всех сторон и принудили повернуть в обратную сторону.

— А бородатых мужиков видели, про которых Ивашка говорил? — с любопытством поглядывая на Пантелея Пенду, спросил Михей Стадухин.

Казаки и охочие люди, вернувшиеся из похода, сконфуженно обернулись к старому промышленному. Пантелей закричал, прокашлялся, будто проснулся, и равнодушно ответил:

— Видели боканов³. Иные на тунгусов походят, другие на братских людей, только бороды гуще... Ты вот что, — встрепенулся, обращаясь к атаману: — Нас родичи Чуны преследовали до самых верховий Оймякона. Могут ночью напасть на якутов и на зимовье. Надо выставить крепкие караулы и помочь отогнать скот к Алдану. Без нас ламуты не дадут им кочевать.

Видимо, Пантелей сказал главное, что было на уме у всех вернувшихся. Они громко загалдели, перебивая друг друга. Одни оправдывались, другие кого-то ругали, а Михею чудилось, будто в чём-то укоряют его.

— Наверное, Чуна прошлый раз предупредил сородичей, чтобы не давались в аманаты? — спросил, с подозрением уставившись на пленника. Глаза ламута сомкнулись в тонкие щёлки, губы расплылись в самодовольной усмешке, он понял, о чём речь.

— Мы за Камнем так же думали, — признался Горелый.

— Зачем? — удивился Стадухин, пристально глядя на аманата.

— Одного выкупят, потом будут многих выкупать! — медленно, членораздельно ответил Чуна на сносом языке, чем удивил всех так, что у костра долго стояла тишина.

— Вот те раз! — хмыкнул в бороду атаман и прикусил рыжий ус. — Заговорил?

Короткой и светлой майской ночью казаки выставили караулы со всех сторон. Тарх Стадухин с десятью промышленными отправился на стан к якутам. Пантелей не ошибся. Ранним утром, когда головы бодрствующих становятся непомерно тяжёлыми, Михей почувствовал хорканье оленей и ярость, волной накатывавшуюся на зимовье, сбросил одеяло, поднял спавших.

— Семейке с Простоквашей оставаться! Ты — старший! — бросил Дежневу. — Головой отвечаешь за аманата. Ворвутся ламуты, живым не отдавай! — Подхватил заряженную пищаль, первым выскочил из зимовья.

Глухо и грозно шумела весенняя река. Уныло пищали комары.

В это время потяга воздуха нанесла на Втор Гаврилова, чутко дремавшего в дозоре, запах оленей. Он раскрыл слипавшиеся глаза и увидел на пустынном месте странное мельтешение. Втор тряхнул головой и разглядел рогатые головы людей. Под его рукой тлел трут. Казак запалил фитиль пищали и на всякий случай пальнул по яви или по утреннему морозу.

Ещё не рассеялся пороховой дым выстрела, к караульным подбежали отдохавшие в зимовье, тоже стали стрелять. Вскоре донеслись отзвуки выстрелов с якутского стана. Ламуты не ждали караулов так далеко от зимовья и ещё не успели спешиться. Обстрелянные, они развернули оленей и поскакали вспять.

Явных признаков боя не было. Михей обежал ближайшие секреты. Втор Гаврилов, стоя в полный рост, забивал в ствол новый заряд.

³Боканы — рабы.

— Палил картечью! — обернулся к атаману: — Должен переранить оленей и людей! — Положил ствол на сошник, подсыпал на запал пороха из рожка, стал всматриваться: — Явно слышал человечьи вопли.

Стадухин проломился сквозь кустарник, вернулся:

— Двух оленей убил. А людей нет! Похоже, похватали и увезли.

Со стороны якутских выпасов раздался новый залп, потом всё надолго стихло. Из розового тумана над увалами выглянул край солнца, жёлтый луч стрельнул по равнине. Стадухин оставил в дозоре троих, остальных отпустил досыпать.

К полудню от якутов пришли посыльные, сказали, что утром отбили два приступа. Все их люди были живы, скот цел. Тойон Ува, дождавшись своих молодцов с Охоты, готовился к перекочёвке.

Михей Стадухин хотел отправить с ними Дежнева и Простоквашу, дескать, им в обычай выходить с казной. Но те упёрлись, не желая возвращаться, их паевых мехов не хватало, чтобы расплатиться с долгами. Смешливый половинщик, услышав атаманский наказ, вдруг напряжённо замолчал, глаза его сузились в острые щёлки, лицо окаменело трещинами ранних морщин, в следующий миг он метнул на атамана такой непокорный взгляд, что Стадухин с недоумением рассмеялся и выругался: «Решайте сами, кому возвращаться, или кидайте жребий!»

Со словами «Не будет с вами счастья!» самовольно вызвался идти на Лену остроносый и застенчивый, но прожиточный казак Дениска Васильев.

Семейка тут же успокоился, подобрел, заулыбался, стал дурашливо жаловаться:

— Покойникам и тем радостней лежать в здешней мерзлоте, чем жить на белом свете больному да хворому.

Стадухин, посмеиваясь над резкими переменами в его лице, стал писать челобитную воеводам и благословил Васильева на возвращение с оставшимися ватажными конями.

4. Соперники

Разбушевавшийся Оймякон с таким рокотом перекачивал по дну камни, что люди на берегу кричали, чтобы услышать друг друга. По наказу атамана ертаулы сходили в низовья и вернулись озадаченные: расширяясь, река оставалась такой же бурной. На сходе ватага спорила: сплавлять коч по большой воде до проходных глубин — страшновато, ждать, когда река войдёт в берега, — невмочь. Атаман намеренно ни к чему не принуждал, ожидая соборного решения.

— Мало голодали? — со скрытой насмешкой съязвил Пантелей. — Поголодаем ещё. Вода упадёт, будем поднимать её запрудами и парусом, безопасно потянемся по камням...

— Нет уж! — возмущённо рыкнул Коновал. Рубец на коричневой щеке побагровел, драная губа задёргалась. — Хаживал по мелям, знаю! Сплетём верёвки покрепче и, как Бог даст, сплавимся по большой воде!

Ватажные загалдели, большинством поддержали казака.

— Как скажете! — согласился атаман. — Что мир решил, то Богу угодно!

Пришлая ватажка Ивана Ожегова захотела присоединиться к его людям и попытать счастье на неведомых землях. При предстоящих трудах их руки были лишними. Из берёзовых корней, конских хвостов и кож казаки и промышленные наплели верёвок, с молитвами столкнули в бурлящий поток тяжёлое плоскодонное судно, бесившаяся река замотала его, как щепку.

Все понимали, что хлебнут лиха при сплаве, но надеялись, что это продлится недолго. Спускать и протягивать коч через буруны приходилось едва ли не на карачках. Верёвки то и дело рвались, ломило кости от студёной воды, в которую часто окунались и влезали по пояс. Атаман, сам мокрый, отводил душу на нерадивых, те ругали судьбу. И только Чуна невозмутимо лежал в мотавшемся судёнышке, беззаботно глядел в синее небо с ясным солнцем, чесал длинные волосы косяным гребнем. Иногда в опасных местах среди бурунов и камней он вскакивал, начинал плясать и петь, призывая в помощь прямивших ему духов.

— Где правда? — глядя на него и выстукивая дробь зубами, заскулил Федька Катаев, которому за нерадение часто доставалось от Стадухина. — Мы надрываемся, а ясырь бездельничает!

Спутники сопели, кряхтели, но не отзывались — принуждать аманатов к работам было не принято.

В очередной раз спустив судно до тихой заводи, люди попадали от усталости, надрывно сипели, хрипели, а Федька вдруг громко захохотал. Кудачущие смешки были у него в обычай, а такой редок.

— Он чего? — удивлённо приподнялся на локте скуластый передовщик пришедшей ватажки.

Его связчик Ивашка Корипанов дышал захлёбисто, грудь под мокрой кожаной рубахой ходила ходуном. Чуть успокоившись, перевернулся на бок, ткнул Федьку.

— Эй? Ты чего?

От тычка Федька захохотал громче и засучил ногами в раскисших бахилах. Глядя на него, стали похохатывать другие казаки и промышленные.

— Умишком оскудел или что?! — старший Стадучин окинул его хмурым, неприязненным взглядом, отжал мокрую бороду.

Не унимаясь, Федька стал тыкать пальцем в лежавших рядом с ним Ожегова и Корипанова.

— Мы-то на государевом жалованье... Они за что купаются?

Промышленные смущённо переглянулись, кто-то должен был ответить взбесившемуся казаку.

— Воля сытой не бывает! — буркнул Пантелей Пенда и скрюченными пальцами распушил свившуюся в верёвку бороду. — В хлеву, оно конечно, легче.

Пашка Левонтьев отряхнулся, как помятый петух, вытянул шею, поучающе изрёк:

— В поте лица своего надлежит добывать хлеб свой! — Мокрые лохмы над его ушами торчали рожками, на лысине блестели капли речной воды и пота.

Федька вымученно улыбнулся, сжал губы. Ожидая продолжения спора, измотанные люди переводили глаза с него на Пашку, с Пашки на Пенду и заметили вдруг, что могут разговаривать без крика. Река менялась.

Старому промышленному доставалось не меньше, чем молодым спутникам, и уставал он так же, но не роптал. Казаки и промышленные примечали, что при однообразных тяготах пути он отпускал своё тело на труд, уносясь куда-то душой. При этом глаза его, как у слепца, неподвижно и мутно темнели в провалах под бровями и оживали, когда промышленного окликали.

— Вот и я говорю! — обрадовался поддержке атаман, мотая слипшейся бородой. — Здесь уже легче, чем в верхах. Может быть, осталось-то потерпеть пять-десять верст. Не бывает рек без конца бурных.

Он настороженно разглядывал притихшего Федьку с удивлённо застывшим лицом, Гераську, уткнувшегося в мох. Плечи брата подрагивали, младший то ли

трясся в ознобе, то ли плакал. Мишка Коновал, всегда беспричинно усмехавшийся большим шрамленным ртом, с обычным своим видом смотрел на пройденные буруны.

— Если неумоготу, — подобрел атаман, — можно отдохнуть. — Пошлём ертаулов посмотреть, далеко ли тихая вода.

— Ясыря! — тыча пальцем в аманата, очнулся и опять закудахтал Федька. — На кой он нам, если под него ни выкуп не дают, ни ясак?

— Ты Чуну не ругай! — осадил казака старший Стадухин. — Его водяной дедушка любит. Может быть, ради него коч цел. Чудом провели через камни... Пусть сидит и камлает.

Река стала шире, сжимавшие её горы — ниже, а вскоре камни сменились зеленым сопочником. Из малинового туманного востока выползло низкое солнце и закатно замаячило за кормой. Наконец-то коч привольно поплыл по быстрому течению реки, гоняясь за своей тенью. Он уже не застревал на перекатах, не цеплялся за песок и окатыш, если на борт взбиралась вся ватага. А потому половина стадухинских людей бежали берегом, другие, с шестами и вёслами, не меньше их уставляли править судном. Казаки и промышленные поочередно менялись, и только Михай Стадухин с Чуной, постоянно оставались на судне.

Лес по берегам становился гуще верхового, по всем приметам в нём должен был водиться соболь, на отмелях видны были лосиные и олени следы. В заводях кормились утки и гуси, большие стаи плавились по стрелю вместе с кочем. После голодной зимы ватажные отъедались птицей. Атаман обеспокоенно осматривал берега: от самого зимовья ватага не встретила ни одного человека, а тойон Ува говорил, что на Моме много народу. Между тем всё ещё Оймьякон или уже Мома оставались пустынными, необжитыми, и чем легче становился путь по неведомой реке, тем чаще заводился разговор о том, куда она ведёт.

— Вода мутная, течение быстрое, похоже на Индигирку! — оглядывался по сторонам Пантелей Пенда. — Но я ходил тундрой, промышлял на краю леса.

Старший Стадухин окликал Дежнева:

— Ты в Верхнем Индигирском у Митьки Зыряна служил. Похожа река на Собачью?

Дежнев, шурясь, вертел головой, прикладывая ладонь ко лбу, дурашливо округлял глаза в цвет неба и отвечал, желая порадовать земляка-атамана:

— Индигирка шире, берег похож, но лес реже.

Он со своими бедами до сих пор хромал, хотя раны затянулись. По соображениям атамана, земляк был здоров, но прикидывался больным, а Дежнев с укором вздыхал и набожно возводил глаза к небу на его ругань:

— Тебя Бог милует, а ты меня коришь, не зная, каково страдать Христа ради. Грех! Грех! Ну, да ладно. Бог простит! Ангела тебе доброго!

На его лице, посечённом весёлыми морщинками, Михею чудилась насмешка и даже похвальба своим терпением.

— Вокруг чужой жёнки козлом скачешь, как работать — так калека!

Казаки тоже подзуживали Семейку. Самый отъявленный лодырь и плут, Федька Катаев, божился, что видел его бегущим, когда тот, голодный, догонял раненую куропатку. А как, дескать, заметил его, Федьку, так опять захромал.

Благодаря лёгкому характеру насмешки и ругань отскакивали от Семейки, как сухой горох от стены, и не портили его пожизненной радости. Бездельем он не томился: даже сидя в коче, перебирал вымороженные шкурки, связанные в сорока,

те, что с жиром на мездре, скоблил коротким широким ножом. Его неспешность в делах и неунывающий нрав злили атамана, носившегося по кочу в предчувствии какой-то беды.

Ещё зимой от него обособились братья. Они ждали от старшего поболе, но он знал, какими распрями это может обернуться. Время от времени пытался заводить душевные разговоры — не получалось. Братья пугливо поглядывали на него и доверительно жаловались Дежневу, с которым были в большой приязни:

— И спать-то по-людски не может: ляжет последним, вскочит первым... Даст Бог вернуться в Ленский — больше с ним не пойдём.

— Так ведь власть, соблазны, — с пониманием утешал их Семейка. — Не по благочестивой старине — помыкать слабыми, но здесь над ним никого, кроме Господа! Вот и лютует Его попущением. Разве я нарочно под стрелы лез? Судьба — принять муки. А он всю зиму попрекал. Терплю вот Христа ради. Это вы — люди вольные, промышленные, а я — служилый.

Река стала ещё глубже, уже вся ватага набивалась в коч, судно проседало по самые борта, но люди не били, не мочили ног.

— Течение быстрое! — оглядываясь по сторонам, настойчивей упреждал Пантелей Пенда. — Сильно походит на Индигирку.

Дежнев и Простокваша, ходившие с Постником Губарем, в один голос оправдывались:

— Здесь все реки одинаковы: камни, мхи, болота, деревья чуть толще казачьего уда.

Старший Стадухин ненадолго успокаивался, но уже вскоре, сверкнув глазами, хватал шест, нёсся с ним на нос коча, тыкал в дно по одну, по другую сторону бортов, что-то заподозрив, оглядывался.

— Семейка! — опять звал Дежнева.

Тот, шлепком сбив шапку до бровей, покладисто вертел головой, чесал затылок.

— Не-ет! — отвечал позёывая. — Собачья ширше!

Слова земляка успокаивали атамана. Он бросал шест на место, вставал к рулю, оттеснив Пантелея Пенду.

— Подгребай, бездельники! — окликал казаков, сидевших на вёслах. — Разворачивает поперёк течения.

И плыли они так ещё два дня. После купаний в верховьях радовались отдыху, пригревавшему солнцу, беззлобно посмеивались над атаманом, которому не сиделось на месте. Вдруг с тупого носа коча раздался его душераздирающий крик.

Как ни притерпелись казаки и промышленные к беспокойному нраву Михея Стадухина, к его непомерной ярости во всяком деле, но в этом вопле им почудилось отчаяние раненого. Выпучив глаза и разева рот в двуцветной бороде, он смотрел вдаль и указывал на берег. Там среди редколесья виднелось русское зимовье с частоколом и крытыми воротами, над которыми возвышался Животворящий крест.

— Да это же Зашиверское! — весело вскрикнул Семейка Дежнев, хлестнув себя ладонью по шапке. — То самое, что Губарь ставил. Я тут был с Митькой Зыряном! По Индигирке плывем, братцы! Вот ведь как водяной дедушка глаза отвёл!

Атаман метнул на него бешеный взгляд, застонал, сощутив глаза, провёл ладонями по лицу, сгоняя прилившую кровь, обернулся со скорбными неподвижными глазами.

— Ну что с того, что сразу не узнал реки? — виновато развёл руками Семейка. — Назад бы всё равно не повернули, сюда же и пришли бы.

Как-то разом осунувшись, Стадухин скомандовал сиплым голосом:

— Гребите к берегу!

Его спутники кто с радостью, кто с тоской глядели на крест с явно жилым приближавшимся зимовьем. Судно было замечено. На берег вышли три бородача, одетые по-промышленному: один с саблей на боку, двое с топорами на поясе. Коч встретил ленский казак Кирилл Нифантьев. Он был из отряда Постника Губаря, с которым, на беду свою или к счастью, не ушёл в своё время Михей. Узнав его и Семёна Дежнева, Кирилл крикнул:

— Нам на смену посланы?

— Плывём своим путём! — уныло ответил Стадухин, подёргивая рыжими усами. И добавил, хмуря брови: — По сказкам якутского князца думали, что по реке Моме, оказалось — по Индигирке.

— Заходите в зимовье, сколько набьётесь, — рассмеялся Кирилл, оглядывая три десятка гостей. — Чего гнус-то кормить?

Потеряв обычную резвость, Михей сошёл на берег, за ним попрыгали на сушу казаки и промышленные.

— Аманата ковать или как? — спросил Вторка Гаврилов.

Михей отмахнулся, морщась:

— Пусть гуляет! Куда ему бежать?

Зимовье было обычным казачьим пятистенком. На одной половине, в казенке, жили аманаты, на другой — служилые и охочие люди. В сенях стояли три пищали, в полутёмной комнате с маленьким оконцем сильно пахло дымом и печёной рыбой. В казенке на лапнике равнодушно сидели три тунгуса, прикованные цепями к стене. Зимовейщики раздули огонь, сбегали с котлами за водой.

— Квасу давно нет! — со вздохами оправдался Кирилл. — Хлеба тоже. Кормимся рыбой и птицей. Ущицы поедите? — спросил неуверенно.

— Сыты! — смиренно отказался атаман. — Хлеба у нас тоже нет. Последнюю саламату перед Пасхой выхлебали.

На расспросы Кирилла он отвечал небрежно и кратко:

— По наказной памяти нынешних воевод зимовали на Оймяконе. Стужа там лютая, место голодное. Андрейка Горелый, — кивнул на казака, — с промышленными людьми и якутами ходил за Камень, на Ламу, к тамошним ламутам, они им зад надрали. Слава Богу, вернулись живы. По наказу наших воевод плывём искать новых земель и народов, а тут вы...

— Ну, а мы как ушли с Постником с Яны, так здесь служим.

— Губарь рассказывал, — рассеянно обронил Михей.

— На Яне зимовали в перфильевском Верхоянском зимовье, — Кирилл перевёл глаза с атамана на казаков и промышленных, которые внимательно слушали. — Якуты там жаловались на юкагиров, что грабят, холопят. Весной, в конце мая, на конях и волоком перешли мы с ними из Ондучея в Товстак, потом на Индигирку, повыше здешних мест. Построили струги, с боями сплыли до юкагирских земель, поставили зимовье. В зиму было несколько осад — отбились, взяли аманатов. Осенью на стругах ходили вверх по Индигирке, врасплох на рыбалке захватили юкагирский род князца Иванды, — мотнул бородой в сторону горницы и сидевших там тунгусов, — взяли под них ясак сто десять соболей.

— Где же те люди? — со скрытой обидой спросил Михей. — Ни одной души не видели, чтобы спросить про реку.

Кирилл уныло рассмеялся и продолжил прерванный рассказ:

— Потом Постник с ясаком пошёл в Ленский, и осталось нас здесь шестнадцать человек. А как на перемену прибыли Митька Зырян с Семейкой, — указал на Дежнева, — стало ещё меньше. Здешние ясачные юкагиры куда-то ушли. Зырян поплыл за ними вниз по Индигирке и, по слухам, за полднища до моря поставил зимовье на земле олюбленских юкагиров.

— То-то мы никого не видели, — досадливо крикнул Михай.

— Выходит, так! — кивнул Кирилл. — Хотите быть первыми — плывите дальше. Юкагиры рассказывают, к восходу есть река шире здешней. Народов на ней много, и кочующих, и сидячих. А падает она, как Лена, в Студёное море... Пойдёте? — Хотел, подняв брови, обнажая жёлтые шербатые зубы под усами.

— Теперь туда ближе, чем обратно... Да несолоно хлебавши, — разглядывая заложников, пробормотал Стадухин. И спросил: — Не страшно троём при трёх аманатах?

— Страшно! — посуровев лицом, признался Кирилл. — Нас пятеро: другие рыбу ловят. Юкагиры откочевали, когда вернутся — неведомо. Захотят отобрать сородичей силой — нам не устоять. Перебьют. Оставил бы с полдесятка промышленных. Здесь промыслы добрые, соболь хорош, зимовье готовенькое. А дальше к полночи — голодная тундра.

Михай обернулся к Пантелею Пенде, вопросительно взглянув на него затравленными глазами. Тот разлепил сжатые губы, равнодушно согласился:

— Кто хочет, пусть здесь промышляет. Я с тобой пойду!

Стадухин обвёл усталым взглядом людей, сидевших вдоль стен.

— Есть желающие помочь годовщикам?

— Мы бы остались, — за всю пришлую ватажку ответил Ожегов. Косматая борода на скуластом лице топорщилась путаными прядями. Он чесал и приглаживал её, пропуская сквозь скрюченные пальцы, пристально вглядываясь в глаза атамана. Никто из его людей не спорил, хотя Иван говорил без совета с ними.

— Ну и с Богом! На коче тесно.

— Остались бы, да не с чем, — не мигая, поджал губы передовщик и, не дождавшись предложений, попросил: — Дай пороху, свинца и соли. Поделись!

— Даром, что ли? — сощурившись, захихикал Федька Катаев.

— Задаром только в острогах бьют! — хмыкнул в бороду весёлый от встречи со знакомыми людьми Кирилл Нифантьев и беспечно пригладил кабаний загривок волос, нависший между плеч.

Сдержанный смешок прокатился по зимовью.

— Ладейку строили для реки! — тихо, но внятно проговорил Пантелей Панда из угла. — Если идти морем — нам половины людей хватит, не то потонем.

— Служилых оставить не могу, а промышленным — воля! — объявил атаман и заметил, как просияли лица братьев.

— Неужто и вы останетесь? — тихо спросил Тарха.

— Нам никак нельзя вернуться без добычи! — смущённо ответил тот. — Государь жалованья не платит.

— На новых-то землях, где допрежь ни казаков, ни промышленных не было, продадите товар вдвое против здешнего, — стал неуверенно прельщать Михай и вспомнил, что то же самое говорил в Ленском остроге.

— Что за товар? — привстал с лавки Кирилл. — Прошлый год были люди купца Гусельникова.

Михай удивлённо выругался:

— Везде успевают, проныры пинежские! — Глаза его остановились на беззаботно улыбавшемся Дежневe. — Одного казака могу оставить!

Добродушное лицо Семейки резко напряглось, глаза сузились.

— Нет! — просипел он, до белизны пальцев вцепившись в лавку, и метнул на атамана такой леденящий взгляд, что тот недоумённо хохотнул. — Зря, что ли, коч строил?

Михей перевёл взгляд на Гришку Простоквашу. Тот громко засопел, неприязненно задрал нос к потолку.

Герасим, заводивший глазами, как только зашла речь о товаре, стал громко перечислять, что им взято для торга. Федька Катаев, кудахта, вторил о своём. К ним придвинулись зимовейщики, а промышленные приставшей на Оймяконе ватажки стали рядиться.

— Вы бы дали нам по две гривенке пороха да по три свинца, да соли по полпуда...

— Чего захотели, — загалдели казаки. — Соли самим мало.

— Вы по морю пойдёте, напарите...

Торговались долго. С рыбалки вернулись двое зимовейщиков. Бросили в сених невыпотрошенную рыбу и ввязались в спор, будто соль, порох, свинец нужны были им самим.

Чуна, вольно сидевший среди казаков и презрительно поглядывавший на прикованных аманатов, сказал вдруг:

— На Погыче-реке народу много, народ сильный, перебьёт нас без ружей!

На миг в зимовье наступила такая тишина, что стал слышен комариный писк.

— Охтенки! Опять заговорил! — недоумённо пробормотал Вторка Гаврилов.

— Молчал-молчал, слушал-слушал и затолмачил! — коновал поднял густые брови, растянул половину рта в удивлённой улыбке. — Хоть возвращайся на Охоту.

После полудня все сошлись на том, что Михей Стадухин возьмёт на себя чetyре сорока ожеговских соболей за выданный ватажке припас. Герасим за время похода продал половину товара, частью дал в долг под кабальные записи ожеговским и своим людям, он хотел остаться на Индигирке, чтобы получить долги после промыслов.

Михей согласился, что это разумно: искать должников по Сибири, перепродавать кабальные записи — дело суетное, соглашался и с тем, что Тарху безопасней остаться здесь, но ныла под сердцем обида, что братья молчком винят его за прежние неудачи. «Силком счастливым не сделаешь!» — подумал и благословил их.

Ночевали казаки и промышленные возле зимовья: кто на коче, кто у костров. Стадухин, услышав про новую реку, оживился, повеселел. Светлой северной ночью, как всегда, он успокоился последним, а одеяло сбросил первым. Розовело редколесье, небо было голубым и ясным, сон атамана недолгим, но глубоким. Михей сполоснул лицо, положил семь поясных поклонов на лиственничный лес, разгоравшийся под солнцем в цвет начищенной меди, и стал будить товарищей.

Промышленные спали, пряча от гнуса выпачканные дёгтем лица. Иные закрывали их сетками из конского волоса. Все слышали атамана и наслаждались тем, что больше ему неподвластны. Проводить судно поднялись только трое, среди них два отчаянно зевавших брата.

Тринадцать казаков, аманат и Пантелей Пенда оттолкнулись шестами от берега, коч подхватило течение реки. Братья вернулись в зимовье, а промышленный, глядя вслед удалявшемуся судну, спустил портки и стал мочиться. Стадухин скло-

нился к воде, высматривая посадку, распрямился и крикнул ему, заправлявшему кушак:

— Дерьма-то вполовину убыло!

Скальный порог они прошли не замочив ног. За ним потянулись узкие полосы леса, вклинившиеся в тундру. Налегая на вёсла, гребцы спешили на полночь, Стадухин, как всегда, поторапливал, бегая с кормы на нос:

— Веселей, братцы! Лето коротко, а нам надо поспеть на Алазею-реку, где до нас никто не бывал!

И шли они так до Олюбленского зимовья, поставленного на тундровом берегу неподалёку от моря. Светило солнце, по берегам зеленел пышный мох, старицы и озёра были черны от птиц, покачивался на ветру прибрежный ивняк. Близость моря ощущалась по менявшимся запахам и цвету неба, которое поднималось всё выше и становилось ярче. Прохладный, не речной ветер разгонял гнус.

Против зимовья, к которому спешил отряд, стоял коч не больше четырёх саженьей длиной, борта из тонких полубрёвен притундрового леса на аршин возвышались над водой, нос судна был обвязан потрёпанными связками прутьев: по виду коч недавно выбрался из льдов. Распахнулась дверь избы, на берег вышел ленский казак Федька Чукичев. Свежий ветер трепал его богатую, в пояс, бороду, покрытые собольей шапкой длинные волосы, в глазах служилого лучились самодовольство и дерзость, с какими обычно возвращались из дальних странствий казаки и промышленные люди.

«А уходил простым, неприметным, — окинул его завистливым взглядом Стадухин. — И в ленских службах не из первых».

— Мишка, ты, что ли? — узнал и его годовальщик.

Фёдор прибыл на Индигирку с отрядом Постника Губаря. Как и Кирилл Нифантьев, был из тех людей, с которыми в своё время не пошёл Михей, прельстившись Алданом. Встречи с ними казались бы ему бесовской насмешкой, не пошли Господь Арину. Память о временах, проведённых с ней, грела душу, она же мучила повседневной тоской.

«Ждёт, что вернусь к осени», — думал с душевной болью, удаляясь от жены всё дальше и ради неё тоже. Понимал, что никому из его удачливых товарищей не довелось пережить такого счастья, какое пережил он. Этим утешалась зависть к ним, но не душа.

Бок о бок с Федькой Чукичевым к реке вышли его сослуживцы: Иван Ерасов по прозвищу Велкой и Прокопий Краснояр. Как и Федька, они были одеты в дорогие меха. Третий, со знакомым лицом, выглядел проще. Где-то на Куте или в Илимском Стадухин видел его среди людей Головина, навёрстаных в Тобольске.

— Откуль плывём? — задрав нос, спросил Федька ещё не приставших к берегу казаков.

— С верховий!

— А туда каким хреном?

— Конями с Алдана через Оймякон.

— С Охоты и с Ламы! — добавил Андрей Горелый, с любопытством разглядывая наряженных в меха казаков. — Слыхали?

Федька с Прокопом переглянулись, заблестели глаза на вычерненных солнцем лицах, которые, казалось, ничем нельзя удивить.

— Ивашка Москвитин оттуда вернулся, — пояснил малознакомый Михею служилый и добавил: — Я говорил!

Коч причалили к берегу, с него сошли все прибывшие.

— И куда? — не отставал с расспросами Чукичев. — Мы перемены не ждём.

— Напоили бы, накормили, после расспрашивали! — с напускной важностью ответил Стадухин. — Сами-то куда собрались? — указал на потрёпанный коч. — Или пришли откуда?

— Вчера только с Алазеи от Зыряна, — ответил Федька, пропустив мимо ушей предложение накормить. — Кабы не вы, ушли бы к Лене... Я с Прокопкой, и ещё двое, везём ясачную казну.

В тундре гром и молния в диковинку. Однако Стадухину показалось, что над ним так громыхнуло, что дрогнули колени. Он перекрестился, усилием расправил перекошенное лицо, попросил:

— Задержитесь, расскажите, где были, а я скажу о своём.

Рыба и утятина — печёная, варёная, вяленая, — тухловатый душок юколы, саламата из привезённой сменщиками муки — по понятиям отдалённых зимовий, здешние насельники пировали с прибытием смены и окладов. Потекли неторопливые рассказы людей Стадухина о голодном и холодном Оймяконе, о сытой реке Охоте, где рыбу ловить не надо, сама на берег лезет.

Для себя они узнали, что сменённый на Яне сыном боярским Василием Власьевым казак Елисей Буза сплыл в Янский залив и нынешним летом собирался вернуться морем на Лену. Он добыл тысячу и сотню соболей для одной только казны да двести восемьдесят соболевых спинок, заимел четыре соболевых шубы, девять соболевых кафтанов. Будь Буза пронырлив, вроде Парфёна Ходырева, с таким богатством мог бы в Москве поверстаться в придворный чин.

В прошлом году с Лены на Индигирку посылали пятидесятника Фёдора Чурочку, с которым Михей Стадухин служил в Енисейском гарнизоне. Под его началом шли три коча промышленных и торговых людей. За Святым Носом, что тянется в море между Яной и Индигиркой, буря выбросила его суда на камни. Люди пошли на Индигирку пешком и погибли. Спасся только один промышленный.

Михей смахнул с головы шапку, перекрестился. Он рвался в этот поход, ругал судьбу и ангела, а вышло так, что в одно и то же время Бог миловал Бузу богатой добычей, Митьку Зыряна — новой рекой, его, Стадухина, удерживал, а Чурку со спутниками призывал через погибель.

В прошлом Митька Зырян со служилыми и промышленными людьми сплыл сюда с аманатами с верхнего индигирского зимовья. Но объясаченные им юкагиры бежали ещё дальше, на реку Алазею. Зимой его казаки и промышленные построили из плавника два струга. Едва потеплело и разнесло льды, зыряновский отряд из девяти служилых и шести промышленных отправился искать бежавших ясачников на неведомой реке. Его суда вышли из Индигирского устья в море, с попутным ветром за сутки добрались до устья Алазеи, шесть дней поднимались в верховья до кочевий юкагирского тойона Ноочичана.

С тем князцом пришлось воевать. Ему на помощь приходили чукчи: народ сильный, воинственный, многочисленный. В боях с ними все Митькины люди были переранены, уже теряя надежду отбиться, им удалось застрелить упрямого тойона Ноочичана. Его люди не покорились казакам, но поспешно ушли дальше, бросив раненым одного из своих знатных мужиков.

Отряд Зыряна добрался до мест, где сходились тайга и тундра, поставил там укреплённое зимовье с острожком. Зимой на собачьей упряжке к ним приехал главный алазейский шаман, стал ругать, что живут на его земле и требуют ясак.

Исхитряясь, служилые поймали его и приковали к стене зимовья. Юагиры несколько раз подступали к острожку, пытались освободить шамана, потом смирились и дали ясак — семь сороков соболей добрых.

Той зимой к ним опять приезжали чукчи на оленях. Поймать кого-нибудь в аманаты перераненным людям Зыряна было не по силам, но поговорить удалось. Зимовейщики узнали, что чукчи живут в тундре промеж рек Алазеи и Колымы, что с Алазеи на Колыму на оленях три дня хода. Про русских служилых и промышленных людей они не слышали и не понимали, почему должны давать царю ясак. Да и взять-то с них было нечего — соболей в тундре нет.

— Значит, Колыма! — свесил голову Стадухин. — А сколько до неё идти морем — никто не знает. — Помолчав, встрепенулся: — Это хорошо! И когда собирается туда Зырян? — рассеянно оглядел его людей.

— Мы из зимовья уходили — коч смолил! — казак Ерастов-Велкой, икая, разглядывал котёл с остатками выставшей саламаты. — Должен ждать меня с мукой на устье Алазеи. Людей у нас мало, аманатов много.

— Ну и ладно! — Михай обернулся к своим казакам, внимательно слушавшим алазейских служилых. — Андрейка! Ты ранен, — обратился к Горелому. — Бери-ка Гришку Простоквашу, Семейку Дежнева, всю нашу казну и плыви с Федькой в Ленский. Зачем казённых соболишек везти на неведомую реку в другую сторону?

— Мне-то в Ленском что надо? — Дежнев побагровел и бросил на атамана пронзительный взгляд. — На правеж за кабалу? С голым задом в работники к тестю-якуту?

— Под бок к жене! — засмеялись казаки. — С Простоквашей уходил от Зыряна, с ним от нас вернёшься! Вдруг воевода наградит!

— Ага! Батогами!.. — Семён заводил выставшими глазами и резко вскрикнул: — Нет! Пока не добуду богатства — на Лену не вернусь!

— Какой от тебя прок? Кашу варить, так не из чего, — съязвил Стадухин.

— Не поеду! — резко вскрикнул Семейка. — Лучше здесь останусь. Сгожусь при малолодстве.

— Сгодится! — согласился Ерастов со сдержанной радостью. — На Алазее каждому промышленному рады... Заодно и я с вами туда уплыву, покажу короткий путь протокой.

— И то правда! — согласился Михай и обернулся к Дежневу: — Ты с Митькой служил, как-то ладил с ним, не то, что я.

— Да с ним служить легче, чем с тобой! — успокаиваясь, огрызнулся Семейка.

Пособный ветер отогнал льды от устья Индигирки. Дорожа каждым часом, оба коча стали готовиться к морскому плаванию. Стадухин скрипел пером, отписывая челобитную ленским воеводам. Закончив, перечитал вслух, при свидетелях и очевидцах опечатав казённые меха. Горелый потребовал Чуну, чтобы отвезти воеводам, Михай отказался выдать аманата, заявив, что тот нужен ему как толмач.

Алазейский казак Ерастов загрузил на стадухинский коч мешки с мукой, привязал к корме стружок, на котором собирался возвращаться. Одиннадцать казаков, Пантелей Пенда и Чуна взошли на борт, шестами и вёслами вытолкали судно на глубину. Ветер рябил воду устья реки, коч схватил его кожаным парусом, поплыл в полночную сторону. За ним пошёл зыряновский коч с Федькой Чукичевым, Андреем Горелым, Гришкой Фофановым-Простоквашей, со стадухинской и зыряновской казной, с челобитными от атаманов.

Вскоре суда разошлись. Чукичев направился основным руслом, Стадухин — указанной Ерастовым проходной протокой — к восходу. Гребцы налегали на вёсла, за кормой, натягивая верёвку, болтался и задира л нос пустой стружок. У края высокого синего неба сияло солнце, сливаясь с ослепительно синей водой. Вдоль бортов тянулась болотистая кочковатая тундра с сотнями малых озёр, они были темны от птиц. Где-то беспрестанно кричали журавли. Стаи уток и гусей поднимались с протоки, с вопрошающими кликами носились над мачтой, снова садились на воду впереди судна. Мишка Коновал и Ромка Немчин стреляли по ним из луков, стараясь бить точно по курсу. Затем, свесившись с бортов, подбирали добычу. Стадухин приглушённо ругал их, не желая останавливаться ради упущенных подранков и потерянных стрел.

Казалось, совсем недавно наступило лето, были пройдены студёные буруны верховьев Оймякона. Но вот уже местами по-осеннему желтели равнинные берега и кочки. Протока расширялась, волны становились положе, всё сильнее раскачивали коч, вскоре глазам открылась бескрайняя гладь моря и безоблачное небо над ним. С полуденной стороны раскинулась унылая тундра, с полуночной — колыбалась яркая синева вод, вдали белела полоска льдов, за ними в дымке виднелись горы.

Стадухинскому кочу повезло: дул юго-запад, попутный для плывших на Алазею и противный для возвращавшихся на Лену. При том устойчивом ветре судно шло полные сутки. Солнце присело над тундрой, но светлый день без признаков сумерек продолжался до его нового восхода. Около ясной полуночи Пашка Левонтьев, с обнажённой покрасневшей от солнца лысиной, сидел под мачтой на лавке-бети, молча перелистывал Библию, что-то выискивая глазами. На корме стоял Пантелей Пенда, его белая борода флагом указывала восток. Михей с шестом в руках измерял глубины: шли в изрядном отдалении от берега, но под днищем была опасная мель.

— Вот оно! — торжествуя изрёк Пашка, потрясая перстом. — Не дал Чуну Андрейке Горелому, оставил как равного, а во Второзаконии сказано: «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь все ниже и ниже».

Говорилось это для атамана, но так, чтобы слышали все. Стадухин не оборачивался, занятый важным делом: положив шест поперёк судна, что-то долго высматривал по курсу, потом так же громко ответил:

— Чуна — ясырь, а не пришелец! — Махнул рукой, подзывая к себе казака.

Пашка закрыл книгу, положил на беть, не спеша подошёл к нему.

— Гляди-ка, что там, если ещё не испортил глаз чтением? — и тут же окликнул Ерастова. Все трое уставились вдаль. — Похоже, коч и две лодчонки...

— Митька! — радостно вскрикнул зырянский казак. — Ждёт меня с мукой.

Стадухин указал направление. Пенда окликнул дремавших казаков, они потянули возжи⁴. Скрипнула мачта, слегка накренилось судно и послушно пошло, куда смотрел атаман.

Мореходы не ошиблись: в заливе стоял на якоре коч Дмитрия Зыряна, его люди ловили рыбу. На верёвках, натянутых от мачты во все стороны, качалась распластанная юкола.

— Собирается в поход, запасается кормами! — разглядывая судно, язвительно проворчал Михей. Вдали от алазейского коча сновали две лёгкие лодки, с бортов

⁴Тросы, с помощью которых управляли прямым парусом.

торчали удилица. Смурная тень скользнула по лицу Стадухина: издала он узнал Ивана Беляну и Селивана Харитонову из отряда Постника Губаря. Те тоже узнали его, помахали в ответ на приветствие.

Самого Зыряна не было видно. Семейка Мотора в лодке поднял руку ко лбу, присмотрелся. Они с Михеем хорошо знали друг друга по Енисейскому гарнизону.

— Где Митька? — издала крикнул ему Стадухин, приложив ладони к бороде.

Беляна что-то жевал, его неухожённая борода с блесками чешуи равномерно шевелилась. Он покосился на корму, показал знаком: спит!

— Так разбуди, я муку привёз!

Беляна смутился, торопливо дожёвывала и опасливо зыряка в одно и то же место.

— Не велел! — ответил негромко и бросил за борт рыбий хвост.

— Зажрался? — обернулся к Ерастову Стадухин. — Хлеб ему не нужен? — Обидчиво заерепенился. — Раз не хочет встретить подобра — таскайте мешки со струга. Не буду приставать к борту... Демидыч, становись на якорь!

— Вы что там? — возмущённо закричал Ерастов своим казакам. — Мухоморов нажрались?

Но Зырян не показывался, а Стадухин не соглашался приткнуться к его борту, чтобы перегрузить муку. Поругивая атаманские склоки, казаки помогли алазейцу перекинуть пятипудовые мешки в струг.

— Друг твой, Митька, прячется от меня, — Стадухин обернулся к Дежневу с раздосадованным лицом. — Ты с ним как-то ладил, а у меня в общих службах что ни день, то драка.

— Ладил! — похвалился Семейка. — Он сильно поперечный.

— Помню! — выругался Михей. — Что ни скажешь, сделает наперекор, даже если себе самому во вред.

— Разом вспыхивает, зато и остывает быстро, — добродушно усмехнулся Семейка. — Если с умом — с ним всегда можно договориться: давай совет наоборот, сделает как надо!

Стадухин неприязненно фыркнул:

— Я бы ещё перед ним хвостом не мёл! Вот и плыви, калека, растолкуй, как умеешь, что при нашем-то с ним малолюдстве лучше бы не ходить поодиночке в неведомые земли к сильным народам, а быть заодно. — Наклонился за борт к Ерастову, раскладывавшему мешки в струге: — Возьми Семейку, поможет выгрести!

— Послал бы двоих! — казак вскинул на атамана потное злое лицо.

— Ромка! — Михей окликнул Немчина. — Сходи с Семейкой. — И спохватился: — Нет! Нашу ветку возьми, а то Митька обратно не пустит, пока силой не вызволю! — Снова выругался: — Как же, алазейский хозяин вынуждает идти на поклон!

Стадухинское судно встало на свой якорь. Струг с хлебом и болтавшейся берестяной обошёл коч, обвешанный юколой, затем Дежнев и Немчин показались на нём среди алазейцев.

— Надо бы и нам запастись кормами, — пробормотал Стадухин. — Митька знает, что делает.

Другой лодки на коче не было. Служилые стали удить рыбу с бортов. Вскоре Семейка Дежнев один сел в берестянку, перекидывая весло с борта на борт, стал возвращаться. Причалил к борту, придерживаясь за него, встал в рост на шаткой лодчонке.

— Почти уговорил Митьку! — смешливо взглянул на атамана. На красном, иссечённом ветрами лице его глаза казались белыми и бездонными. — Ни слы-

шать про нас не хотел, ни знать. Говорил, Алазея и Колыма — его реки, потому что первый услышал про них. Я ему пригрозил: снимемся, говорю, с якоря, уйдём вперёд — и твоя река станет нашей!

— Правильно сказал! — похвалил земляка Михей. — А что Немчин? В аманатах или винцом угощается?

— Откуда у них вино? Уговаривает... Все согласны с нами, но боятся спорить с Митькой, а он бахвалится. Велел передать — только с тобой будет говорить, если сам придёшь!

— Так и знал! — Михей мотнул головой, приосанился. — Не может жить мирно, хоть убей зловердного!

— Ерепенитесь, как юнцы, — хмурясь, укорил Пантелей.

Михей постоял, глядя на чужой коч и разъярённо шевеля рыжими усами.

— Можно и съездить, коли зовёт, — согласился, пнул что-то подвернувшееся под ногу.

— А ещё говорил, чтобы мы оставили ему двух служилых аманатов караулить, — добавил Семейка.

— Дулю ему на гладкое пермяцкое рыло! — рыкнул Стадухин. — Вылезай давай! — поторопил земляка.

Семейка, морщась, неловко перекинул ногу с берестянки на коч.

— Не дразни его редкой бородой! — посоветовал. — Не любит! И не грози — упрётся!

— На ветке не поплыву! — вдруг передумал Стадухин. — Под борт к Зыряну встанем! Командуй, Демидыч! — приказал Пантелею Пенде.

Старый промышленный, раздражённо побряхтев, велел поднять якорь и на веслах подвёл коч к другому судну. Снова бросили якорь, стравили трос из конского волоса и приткнулись к борту. Казаки ворчали — таскали мешки с мукой ради бахвальства атаманов. Два судна мягко сошлись и счалились. Знакомые и земляки стали перескакивать друг к другу. Селиван Харитонов с Иваном Беляной весело скалились, глядя на Стадухина.

Мотора подогнал к борту лодку со свежим уловом и вылез на коч. Старые сослуживцы не виделись несколько лет. Дальняя служба не переменяла его, Семейка Мотора выглядел таким же тихим и покладистым, чему способствовали маленький скошенный подбородок и верхняя губа, грибком нависавшая над ним. Негустая борода не скрывала их и придавала казаку добродушный вид.

Стадухин, не приметив в людях Зыряна большого зла и укоров из-за лишних трудов с перетаскиванием муки, слегка подобрел, добросердечней поприветствовал ленских казаков, оценивающим взглядом окинул их коч. В простой замшевой рубахе и нерпичьих штанах, заправленных в чирки, Зырян сидел на корме под рулевым веслом и с важностью кремлёвского служки буравил Стадухина пристальным взглядом. Михей усмехнулся, приосанился, крикнул с напускным весельем:

— Встречай дорогого гостя! — Сбил шапку на ухо, поправил саблю и перескочил на другой борт. — Добрые у тебя ноги, — потрепал пеньковую растяжку мачты. — Будто новые. Где взял? Ты ведь пятый год в дальних службах.

— У меня и якорь железный! — прихвастнул Зырян, напряжённо разглядывая Стадухина водянистыми глазами. Ветер трепал три тощих и длинных пряди бороды, свисавших со щёк и подбородка.

— И где же добыл такое богатство? — не унимался Михей, разглядывая новые снасти.

— На Индигирке у промышленных одолжились.

— Федька в Олюбленском про промышленных не говорил. Чьи были?

— Прошлой весной на Индигирку пришла ватажка Афонии Андреева.

— Гусельниковские покрученники, что ли?

— Они! — круче задирая нос, неохотно отвечал Зырян.

— Вот ведь! — рыкнул Стадухин. — Успевают, как вороны на падаль. Мишка Стахеев ушёл из Илимского немного раньше меня, а его люди уже здесь. Вдруг придём на Колыму, а они там! Что делать будем, а? Как славу делить? — Наконец-то оставил окольные пустопорожние разговоры и заговорил о главном.

Обветренное лицо Зыряна покрылось бурыми пятнами. Он резко ответил, дёргая себя за метёлку бороды:

— Десятину возьмём! А если они ясак на себя брали — пограбим!

— Дело говоришь! — согласился Михей, радуясь, что какой-никакой разговор получается.

— Нынешним летом Афонька пошёл вверх по Алазее в тайгу для промыслов, — продолжал десятник, всё так же подёргивая себя за бороду. — Но кто их, промышленных, знает...

Всем своим обликом и словами он показывал неприязнь к Стадухину, но по его ответам Михей понимал, что согласен на сговор, только хочет настоять на чём-то своём. И давний соперник, прищурясь, заговорил:

— Пойти-то можно и вместе, только кто будет главным? У тебя наказная память от нового воеводы, у меня от Галкина и Ходырева. Ты из первых на Лене, а я здесь. — Распалая себя, переходил на крик: — Это мои юкагиры бежали на Колыму, кому из нас брать с них ясак?

— Тебе, раз аманаты у тебя! — перебил его Стадухин, не дав раскричаться до визга. — От нападений отбиваемся вместе. Но кого я заманачу, с того сам буду брать.

— Не бывает так, чтобы между двумя отрядами не было споров, — с усилием остудив себя, процедил Зырян. — Ладно! Уговор при всех моих и твоих людях: ты сам по себе, я — сам, а при нужде друг другу помогать. Только у меня на Алазее людей мало. Афоня отказался сесть в зимовье на краю леса, дальше пошёл. Вдруг вернутся беглые юкагиры или чукчи придут? Аманатов отобьют, Велкоя с Селиванкой за ятра повесят на нашем тыне, — кивком указал на казаков Ерастова и Харитонову, которые должны были вернуться в алазейское зимовье.

— Сам думай, как вам быть, а то ведь я могу и один уйти на Колыму, — с усмешкой пригрозил Стадухин и мягче добавил: — Хотя вместе надёжней.

— Оставь двоих и пойдём! — предложил Зырян и с напряжённой неподвижностью в глазах так дёрнул себя за бороду, что оттянулась нижняя губа, оскалил зубы.

Помолчав для пущей важности, Стадухин сказал:

— Бери Семейку Дежнева. Если Федька согласится — могу и его оставить. Больше никого не дам! — Отыскав глазами Катаева, спросил: — Пойдёшь, коли хорошо попросят?

— Нет! — замотал головой казак и почесал промежность.

Люди с двух судов приглушенно хохотнули.

— Ромка? Останешься?

Немчин неопределённо пожал плечами, не возражая против предложения.

— Там промыслы добрые, соболю хороший! — стал прельщать Селиван. — В укреплённом зимовье впятером от сотни отобьёмся. И Афоня поможет, если что.

Ромка молчал. Те и другие решили, что он согласился остаться на Алазее. На том два атамана сошлись, хотя понимали, что распря между ними быть, а уговориться обо всём, что может случиться в пути, — невозможно.

Ещё один светлый и долгий северный день два счаленных коча простояли рядом. Семейка Дежнев распрощался со стадухинскими казаками, с Пендой и Чуной, простив обиды, обнял земляка-атамана и уплыл на зырянской лодке в алазейское зимовье. Немчин же в последний миг заартачился и отказался. Зырян не стал спорить против уговора, но метнул на Стадухина такой взгляд, что тот сжал зубы и пробормотал:

— Начинается!

Ветер по-прежнему дул на восход, но небо покрылось низкой рваниной туч, стали простреливать короткие и хлесткие дожди. Люди Дмитрия Зыряна спрятали в мешки сушившуюся юколу, молча сбросили с борта швартовы попутчиков и подняли якорь. О выходе не договаривались. В это время стадухинские казаки выбирали неводные сети.

— Как всегда! — обругал десятника Стадухин. — Митька по-другому не может.

Как только сети и берестянка оказались на его коче, казаки стали выгребать на безопасные глубины. Невозмутимый Пантелей Пенда взялся за руль, не доверяя никому шест, атаман сам щупал дно, гребцы, наваливаясь на вёсла, пели молебен Николе Чудотворцу. Молитва была услышана: сквозь зарозовевшие тучи на воду упал жёлтый луч солнца. Атаман перестал ругаться, лица гребцов потеплели, Чуна вытянул руки и запел протяжную песню. Пока выгребали на безопасное расстояние от мелей, коч Зыряна убежал на полторы версты. Но вот и Пенда велел поднять парус, он вздулся, брызги от волн стали захлёстывать нос судна.

Вдали от невысокого пустынного берега с крапом озёр и проток оба коча шли сутки и другие. По правому борту виднелась желтеющая тундра, по левому — плавучие льдины и далёкие горы с белыми вершинами, долинами, закрытыми туманом.

— Туда не ходил? — обернувшись к Пантелею, атаман указал рукой на горы.

— Нет! — коротко ответил старый промышленный, бросив мимолётный взгляд за льды. — А хотелось! — Помолчав, разговорился: — Иногда разводья бывают такими широкими, что льда не видно. Можно дойти! Но при перемене ветра в любой день может зажать, как плашками, и не выпустить несколько лет сряду. А что там: какая еда, есть ли дрова? Того никто не знает — одни слухи.

— Какие слухи? — любопытствовал Стадухин, но Пантелей, взглядываясь вдаль, не ответил.

Суда сближались, потом стали обгонять друг друга, обходя плавучие льды и мели, которые вынуждали держаться дальше от суши. Озёр на берегу виделось множество, но ничего похожего на устье реки высмотреть не удавалось. Суша круто поворачивала на полдень. Дул всё тот же устойчивый ветер с запада. По разумному решению надо было идти в виду берега на вёслах, но коч Зыряна пошёл на восход в открытое море.

— Судьбу пытается, дурья башка! — выругал соперника Стадухин и с тоской в лице взглянул на Пенду: — Неужели отстанем?

— Куда? — невозмутимо спросил тот и усмехнулся в белые усы: — К водяному дедушке?

— Что делать?

— Приспустить парус. Станет пропадать земля — грести к ней!

С печальным видом и затравленными глазами Стадухин велел казакам слушаться кормщика и сел за заgrabное весло.

— Камлай хоть, что ли? — окликнул дремавшего Чуну. — Проси у дедушки пособного ветра!

Между тем зыряновский коч превратился в точку и пропал из виду. При боковом ветре и пологой волне стадухинские казаки сутки шли на гребях. Узкой полосой темнел вдали едва различимый берег. Вскоре он снова повернул к востоку. С судна стали примечать устья рек, впадавших в море, заливы, но из-за мелей не могли войти в них, чтобы пополнить запас пресной воды и рыбы.

Юкола кончилась, бочки были перевёрнуты вверх дном. Аманат лежал, глядя в небо, Пантелей жевал невыделанную сыромятую кожу, казаки с укором поглядывали на атамана, не давшего запастись рыбой на Алазее. Зыряновского коча не было видно, а он велел идти вдали от суши, убеждая озлившихся от голода людей терпеть, притом громко расспрашивал Чуну про реку, о которой ламут слышал от своих стариков и называл её Погычей. Чуну упорно повторял, что та река шире Индигирки.

— А это что? — указал Стадухин на очередной видимый залив. — Ручей! Ближе чем на полверсты не подойти.

Щёки его ввалились, губы истончали, глаза на измождённом лице горели и беспокойно бегали. Он чувствовал, что на судне зреет бунт. Уныло розовели стыки туч, крутые, резкие волны мелководья монотонно хлестали в борт, обдавали брызгами и раскачивали судно.

Мишка Коновал сорвался первым, сплюнул кровью на ладонь и заорал, кривя распоротый рот:

— Уморить хочешь, соперничая с Митькой?

Обернувшись к смутьяну, Михей хотел обругать его, но за спиной казака встали Артюшка Шестаков, Сергейко Артемьев, Бориско Прокопьев — те, ради кого он брал на себя другую кабалу. Пашка Левонтьев и тот смотрел с осуждением, двумя руками прижимая к животу суму с Библией. Поймав скользкий взгляд атамана, многоумно изрёк:

— Сказано Господом: «Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, а если покался, прости ему».

И он укорял, хоть не показывал явной неприязни. Другие, казалось, уже готовы были схватиться за ножи. Стадухин, с изумлением разглядывая лица спутников, обернулся к другому борту. Рассудительный и немногословный Втор Гаврилов отвернулся, Ромка Немчин стыдливо потупился, показывая, что заодно со всеми. Пантелей Пенда равнодушно шевелил бородой, перемалывая зубами кожу. И только, когда рука атамана потянулась к темляку, он окинул бунтарей взглядом глубоких глаз, выплюнул за борт жвачку и внятно произнёс:

— Подведу сколько смогу к суше. Спускайте ветку, плывите за водой. Только коч на месте не удержат: его выкинет на мель и будет бить волнами, пока не замочет бесследно. Это я знаю! На той суше, — указал на берег, — дай Бог каждому по сухой кочке, чтобы, сидя на ней, помереть от стужи и голода, а не утонуть в болотине. А если перетерпим день-другой — дойдём до реки!

Вдруг всем стало очевидно, что на пустынном берегу, где невесть чего больше — воды или суши, их ждёт верная смерть. Потеплели взгляды, опустились плечи, громко засопев носом, с виноватой улыбкой сел за весло Мишка Коновал. Федька Катаев вытягивал губы, облизывая их сухим языком.

Обессилев от голода и усталости, люди ещё полдня гребли при полощущем парусе. Небо прояснялось, сквозь тучи пробивалось солнце. Из последних сил гребцы обошли торчавшие из воды камни и увидели ободранные волнами гладкие стволы деревьев, которые белой полосой тянулись по черте прибора.

— Должно быть, устье реки! — торжествующе вскрикнул Стадухин. — Не так ли, Пантелей Демидыч?

— Похоже! — не выказывая радости, ответил кормщик.

Глубина позволила приблизиться к берегу и подойти к губе, откуда был вынесен плавник. Жёлтое, мутное, растёкшееся по небу солнце снова закрылось тучами, стал накрапывать дождь. Коч вошёл в губу, илистую, извилистую и мелководную. Она была забита свежим и гниющим плавником. Над судном носились чайки, мерзко орали и пачкали гребцов помётом. Здесь, в безопасности, усталость придавила путников пуще прежнего, но чувство безнадежности переменялось тихой выстраданной радостью: тут можно было укрыться от ветров, а вода под днищем кишела рыбой.

Левый берег со множеством чёрных торфяных болот был всё той же низинной тундрой, тянувшейся от самой Индигирки. Правый — выше и суше, с редкими мелкими скрученными ветрами лиственницами. Гребцы подогнали коч к устью небольшой речки, где береговой обрыв переходил в невысокие тундровые холмы. Свесившись за борт, Коновал зачерпнул пригоршней воду, пробовал на вкус. Речка не походила на многоводную Колыму, но сулила отдых, питьё и еду. Оставалось только найти место с сухим крепким берегом, чтобы пристать и высадиться.

Коч вошёл в протоку, окружённую ивами. Здесь было тихо: зеркальная гладь без морщинки, склонившиеся к воде кусты. Послышался звон ручья. Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. Тучи рассеялись, ярче заблестело солнце, и над протокой изогнулась радуга. На усталых лицах гребцов появилось восторженное ожидание чуда.

— Это знак! — изрёк Пашка Левонтьев, скинул шапку и задрал перст к небу.

Снизившаяся чайка дриснула на его голое темя. Гребцы устало загоготали.

— И это знак! — ничуть не смутился Пашка, вытирая лысину рукавом. — А красота-то прямо как у нас, на Руси.

Вода протоки сверкала под очистившимся солнцем, в ней отражались влажные ивы. Заскрежетав кустарником, трущимся о борта, коч приткнулся к суше. С озёр донеслись тревожные крики уток. Добыть дичь здесь было не трудно, но о ней не думали. Стадухин подхватил пищаль, первым ступил на землю, склонился над ручьём, успел выпить несколько пригоршней, пока не сошли его спутники и припали к воде.

— Сладкая-то какая?! — задыхаясь, оторвался от замутившегося ручья Пашка и стал плескать на голову, уже изрядно облепленную комарами.

Стадухин, отдышавшись, вытер бороду, пересёк ручей, свернул в кустарник, поплыл над ним с пищалью на плече. Плотное облако комаров роилось возле его шапки. Вдруг он пропал, будто провалился, через некоторое время замычал и распрямился с зеленью в бороде.

— Идите сюда! — махнул рукой. — Много дикого лука. Сочный ещё, в сыром месте.

Радуга поблекла и рассеялась. Небо с растёкшимся по нему солнцем поднялось, стало безоблачным. Отмахиваясь от комаров, мореходы ползали на четвереньках по сырой поляне, пока не наелись лука. Поднялись с размазанным по

лицу гнусом, вернулись к кочу. Двое казаков на берестянке завезли невод, другие потянули его и вытащили полную мотню рыбы. Здесь был и жирный голец, и чир, муксун, даже несколько нельм.

— Живём, братцы! — Мишка Коновал поглядывал на атамана с кривой виноватой полуулыбкой и выбрасывал из невода бьющуюся рыбу. Неподальёку от него раздували костёр.

— Так что ты говорил про брата? — с мстительной усмешкой Стадухин спросил Пашку, пороввшего жирных гольцов.

Смахивая плечом комаров с лица и не поднимая глаз, тот заученно проговорил:

— «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя».

Атаман хмыкнул в усы, скаречно проворчал:

— Грамотей! Ужо испекут черти язык твой на сковороде!

Сытые, согревшиеся казаки ласково поглядывали на атамана, но виниться за обиды в пути стыдились. Стадухин с хмурым лицом велел вытянуть коч на сушу и бросить жребий на караулы. Пантелею Пенде выпало стоять первым. Изнурённые многодневной сыростью, люди сушились и наслаждались теплом. Спать укладывались тут же, возле огня. Лежа на тёплой, прогретой земле, Михай закрыл глаза, прислушиваясь к монотонному плеску, растёкся духом по земле и воде. Злобы не было, души спутников томились тоской и раскаяньем. В округе тоже не чувствовалось ничего враждебного.

Проснулся атаман от оклика, приподнялся на локте. Старый промышленный указывал в сторону моря. Михай встал босыми ногами на меховое одеяло. Вода в реке была тёмной, осенней, тихой. В отдалении сипло тьякал песок, над станом с шумом пролетела какая-то птица. Океан был рядом, светила его полоска за устьем губы, там чернела точка и как неуклюжий клещ шевелила лапками вёсел. Похоже, сюда же шёл коч Дмитрия Зыряна.

Михай подбросил дров на угли, сверху накидал зелёных веток ивняка, вскарабкался на груды выброшенных рекой деревьев. От разгоравшегося костра густыми клубами повалил дым. С коча заметили сигнал, выстрелили из пищали. Судно долго боролось с отливом, но шестами и вёслами его подогнали к стану. Голодные, продрогшие люди бросились к костру.

— Какая рыба? — жалостливо всхлипнул Мотора на вопрос об остатках припаса. — Хотели войти в речку, только милостью Божьей да по молитвам снялись с мели.

Тёплый ночлег и обильная еда помирили даже атаманов. Караульные поделили время надвое. Все стали отсыпаться и отъедаться. Стадухин каждый день ходил к морю, высматривая дальнейший путь. Сделав запас кормов, атаманы со старыми казаками отправились в устье губы вместе: дул встречный ветер, сквозь тучи мутно светило солнце, путь на восток был забит льдом. Обточенные волнами лепёшки с нудным скрежетом терлись друг о друга, подступая к самой губе.

— Прогневили Господа! — чертыхнулся Зырян. Он входил в своё обыденное озлобление от того, что время шло, а они стояли на месте. — Хоть поворачивай вспять!

— А вдруг опять переменится ветер? — всё еще выискивая глазами проходные разводья, пробормотал Михай.

— Подь ты со своей Колымой! — выругался Зырян, бросив взгляд за стадухинское плечо на Семёна Мотору. — Пойдём в верховья, там лес, вдруг чего сыщем.

— Иди! — не оборачиваясь, пробубнил Михай с озабоченным лицом. — Бог

судья! А я подожду. В десять стволов и сабель большой народ под государеву руку не подвести, зато могу открыть новую реку. — Подумав, окликнул Мотору: — Семейка! Мы с тобой на Витим ходили, на Алдане воевали, может, останешься?

Старый ленский казак взглянул на Михея с пустой, натянутой улыбкой, потом на льды, почмокал нависшей губой с редкими усами и отмолчался. Стрелец Беляна с окаменевшим лицом повернулся к нему спиной.

До Семёнова дня оставалось две недели, уже чувствовалось приближение недолгой северной осени, которая быстро переходит в зиму: ярче желтела тундра, сбивалась в стаи, встала на крыло перелинявшая водоплавающая птица, кружили журавли, выпал и растаял снег.

Снегопад не был в диковинку даже в июле, но если Стадухин ещё надеялся добраться до Колымы, то добрая половина его отряда думала иначе. Казаки торопились найти места, богатые соболем, груды плавника по берегам были порукой, что в верховьях есть лес. Где лес — там соболь. В тундре водились только песцы, шкуры которых скупались торговыми людьми за бесценок.

Снова чувствуя на себе недобрые вопрошающие взгляды спутников, атаман объявил:

— Будем строить зимовье из плавника, не нам, так другим сгодится, и будут благодарить нас перед Господом, а Он наградит. Вдруг сами вернёмся, если не дойдём до Колымы.

Казаки согласились, что зимовье в этом месте никому не повредит, и им тоже. Сообща выбрали сухую возвышенность и заложили избу. Она была поставлена и обнесена частоколом за неделю. Ветер не менялся, льды не разносило. В середине второй седмицы, когда взялись устраивать лабаз и баню, к зимовью на плоту приплыли Мотора с Беляной.

— Здесь Колыма, братцы! — закричали, не успев перевести дух. — Поширше Индигирки, поуже Лены. А эта — одна из протоков её дельты.

Сидя в избе возле очага, посыльные рассказали, что когда тянули бечевой коч, из тундры выскочили мужики, похожие на чукчей: в костяных и деревянных латах, с тяжёлыми луками. Зырян с Моторой дали залп картечью, пятерых сбили с ног, но не убили. Казаки и промышленные не заметили в напавших страха от грохота и дыма. И уходили они, явно заманивая за собой в болота. Готовые ко всяким хитростям, люди Зыряна преследовать их не стали, но дошли до самой реки с устьем полноводного притока по правому берегу. Зырян отправил в его верховья ертаулов. Они вернулись, выбитые немирными мужиками, сказали, что, наткнувшись на селение, видели юрты, крытые мхом и кожами, вроде якутских, много собак и оленей. Какие народы живут, не узнали, но заметили на краю селения избу с бойницами, вроде нашего зимовья. Зырян со слов ертаулов понял, что своими силами селение под государя не подвести, послал казаков к Стадухину за обещанной помощью, велел сказать, что Колыма-река здесь, дальше плыть не надо.

Весть эта была принята с радостью, потому что по берегам протоки появились забереги, мели стали покрываться льдом. Уже и сам беспокойный атаман, поглядывая в устье губы, тоскливо помалкивал. А то, что до холодов поставили зимовье с частоколом, было удачей.

— Не откажем в помощи, братцы? — повеселев, обратился к спутникам Стадухин. — Вдруг и сами чего добудем!

Казаки решили оставить в зимовье Пантелея Пенду и Вторя Гаврилова, а Чуну взять толмачом. Бежать ламуту было некуда, в аманатах у казаков жить лучше,

чем в рабах у колымских мужиков. На ламута давно не надевали колодок и относились как к равному, а он уже изрядно говорил по-русски.

Отряд из десятка казаков отправился в верховья реки пешком по проложенному бечевнику и в три дня добрался до зырянского стана. За время, которое здесь ждали подмоги, появилось подозрение, что беглых алазейцев приютило то самое селение колымских людей. Казачий десятник держал при себе одного из индигирских аманатов, оставленных сородичами. Он не меньше казаков возмущался, что брошен родственниками, и надеялся отыскать их здесь.

Соединившись, два отряда двинулись вверх по восточному притоку. Устье его было равнинным, покрытым редким низкорослым лиственничным лесом, вдали синели горы. С каждой пройденной верстой обрывистые берега становились всё выше, с них свисали к воде подмытые течением, падающие деревья в три сажени и больше. Если бы Зырян решил тянуть за собой коч или струги, бурлакам пришлось бы туго, но люди шли налегке.

Отряд был замечен на подходе к селению, встречен парой нестройных ружейных выстрелов и градом стрел из бойниц крепости.

— Вот те раз! — выругался Зырян. Скрываясь за деревьями, подбежал к Стадухину, разъярённо вскрикнул: — При ружьях!

Михей пытливым взглядом на него, по лицу понял, что тот тоже обеспокоен тем, что они здесь не первые из русских людей.

— Наверное, какую-то промысловую ватажку пограбили! — пронзительно взвыл десятник. — Мой аманат не ошибся, воочию узнал беглых родственников. — Скрипнув зубами, усилием сдерживая гнев, вскинул на Михея приуженные глаза: — Как брать будем?

— С налёта умоют кровью! — поцокал языком Стадухин. — Придётся защиту рубить.

В два десятка топоров казаки и промышленные навалили реденькую засеку на краю перелеска, укрылись за ней. Из расщепленных лиственничных стволов сделали щит на полозьях. Наблюдая за их работой, из бойниц время от времени неумело постреливали из пищалей и прицельно пускали боевые стрелы. Уже вблизи крепости, когда стало ясно, что осаждённому не удержаться, часть защитников бросилась в заросли берегового кустарника, другие вышли, показывая пальцами на язык. Зырян выскочил из-за щита и в запале стал хлестать двух мужиков батоном.

— Вон аж куда прибежали! — удивлённо проворчал под ухом Стадухина Семён Мотора.

Приступ обошёлся без большой крови, и этим обе стороны были довольны. Беглые юкагиры дали соболей за прошлый год вдвое против прежнего. Зырян потребовал от них вместо брошенного аманата — тойона Шенкодью. С колымских мужиков казаки тоже взяли заложника. Посоветовавшись между собой, колымцы выдали сына своего тойона Порочи и сотню соболей. На том распря была закончена. Клятв на верность государю и вечное холопство ни с тех, ни с других не брали.

Пока Зырян выспрашивал колымцев и беглых юкагиров, откуда у них ружья и как называется река, на которой стоит селение, Михей с двумя казаками пошёл по юртам, брошенным детьми и стариками, поискать вещи и следы пропавшей промысловой ватаги. А пропадало их за Леной много.

Жильё было бедным. Если какие-то семьи имели железные котлы, то женщины и старики прихватили их, как и всё ценное. В двух юртах нашлись половики, сшитые из собольих спинок, казаки забрали их как погромную добычу. В третьей

пришельцев приветливо встретила молодая женщина, в ней нетрудно было узнать рабыню.

Язык у колымцев был свой, Чуна их не понимал. Мишка Коновал поманил женщину, она поняла его и увязалась за казаками, как прикормленная собачонка. Михей Стадухин тайком бросал взгляды на её круглое узкоглазое лицо и с удивлением находил в нём сходство с Ариной. «Бес прельщает!» — думал. Втайне раз и другой перекрестился. Но глаза сами по себе отыскивали женщину.

Возле последней юрты повизгивал медвежонок, привязанный к пню волосяной верёвкой. Рядом с ним валялись иссохшие рыбы хвосты. Петля натёрла на шее зверя кровавую рану и причиняла ему боль. Стадухин подошёл, наклонился, заглянул в маленькие затравленные глазки зверя, протянул руку. Медвежонок заурчал, словно жаловался, но не отпрянул, не укусил. Вспомнились Илим, Кута и Лена, медведь, крутившийся возле него с Ариной в самые счастливые ночи.

— Видать, на днях забьют! — буркнул Коновал. — А на кой? Здесь лосей много, да здоровущие!

— Нельзя есть тварь с когтями. Бог не велит! — с обычной важностью изрёк Пашка Левонтьев и пригладил отросшую бороду.

— Будто сам не ел печёных лап? — неприязненно огрызнулся Коновал.

— Грешен! — не смутившись, ответил казак. — Но после каялся!

— И волосы подрезать в круг грех, и бороду равнять! — язвительно кривя губы, напомнил Коновал.

— Грех! — степенно согласился Пашка. — А Никола Угодник на иконах отчего такой? Тоже грешен?

Стадухин мысленно чертыхнулся неуместному спору. Пашка был хорошим казаком: работающим, нескандальным, нежадным. Презирая власть как величайший христианский грех, не пытался верховодить и перед начальствующими не гнулся, но был поперечен, как Зырян. Михей не помнил, чтобы его за это колотили, так как он ни на чём не настаивал, считая, что если высказал своё — нет на нём общего греха.

Не поднимая головы, Стадухин снял верёвку с окровавленной шеи медвежонка и перевязал её под лапы. Зверёк будто понял человека и послушно пошёл за ним.

А возле захваченной крепости казаки и промышленные затевали спор. Издали слова их были неразборчивы, но по голосам можно было догадаться, что спорили из-за добычи. К Стадухину бросился Федька Катаев с кровавой коростой на щеке.

— Митька как всё поворачивает? — слезливо закричал без обычного кудахта-нья. — Всё добытое на погроме — им, а нам кукиш? За что кровь проливали? — Болезненно сморщился, щупая подсыхавшую коросту.

— О чём спор? — раздувая ноздри, стал напирать на Зыряна Стадухин. Медвежонок, почуввав недоброе, тёрся о его ногу.

— Алазейские юкагиры — наши? — закричал Митька, сверкая глазами.

— Уймись! — громко оборвал его Мишка Коновал. — Возле коча поспорим, не здесь!

Стадухин метнул на Зыряна злобный взгляд, шмыгнув носом и сипло спросил:

— Крепостицу жечь будем?

— Зачем жечь? — опять беспричинно раскричался Зырян, ещё не остыв от спора. — Раскатаем по брёвнам на плоты.

Казаки и промышленные разобрали укрепление, связали брёвна, поплыли по Анюю с ясаком, аманатами, с погромной жёнкой Калибой и медвежонком. Колым-

ские мужики не возмущались, что у них уводили рабыню и зверя: радовались, что не увели собак. А спор между стадухинскими и зырянскими служилыми продолжался из-за анюйского аманата — кому под него брать ясак?

Плот Зыряна обошёл остров в устье Анюя и беспрепятственно поплыл по Колыме, а плот со стадухинскими людьми попал в водоворот. Справа яр, вода глубока, шестами до дна не достать и не угрести, а вёсел не тесали. Стадухинцев пронесло мимо берега, завернуло и повлекло против основного течения реки к прежнему месту. Казаки плескали шестами и ничего не могли поделать, в то время как с Митькиного плота доносились дружный хохот и язвительные советы — хватать водяного за бороду.

Стадухин лёг на живот, стал осматривать глубину. Вода была чиста и прозрачна. По песчаному дну ходили большие рыбы, другого не было видно. Пашка, задрав бороду, по памяти читал молебен Николе Чудотворцу, Мишка Коновал хлестал шестом по воде и матерно ругал водяного. Неизвестно что помогло, но плот, сделав три круга, сам по себе освободился и подошёл к зырянскому кочу. Оставленный на реке без охраны, он стоял среди зарослей ивняка, сбегавших по отмели. На одну из них были вытянуты плоты. Михей вышел на берег и отпустил медвежонка. Зверёк не убегал от людей. Атаман огляделся.

Розовела вечерняя гладь воды, вдали синели горы. На противоположном берегу стоял лиственничный лес. К добру ли, к худу, на самой высокой верхушке сидел тундровый ворон величиной с гуся и пристально наблюдал за прибывшими.

— Там острог надо ставить! — сказал вдруг Стадухин, указывая на лес и ворона.

Казалось бы, ничего обидного не промолвил, но зырянские казаки и промышленные загалдели. Вдали от инородцев Митька опять вспылел, дав волю обуевавшему его негодованию.

— Ты кто такой, чтобы указывать? — пронзительно закричал, надвигаясь на Стадухина левым плечом. — На кой ляд ставил зимовье на протоке?

Увидев здешние места в лучах закатного солнца, стадухинские казаки взглядами и вздохами мягко корили атамана за то, что обосновались не там, где надо.

— Просидели бы у костров, погоды ожидаючи, — оправдался он. — А мы избу срубили. Царь-государь за труды наградит и воеводы пожалуют...

— Пожалуют! Батогами в полтора аршина...

Мало того что свои люди беспричинно бередили душу, ещё и Зырян сыпал соль на рану. Зима на носу, а его ватажка не имела крова над головой, только собиралась рубить зимовье. Вместо того чтобы просить помощи, соперник орал непотребное, самому непонятное.

— Вот и руби где знаешь! — выругался Стадухин, намекая, что будет зимовать у себя.

— Это мы ещё поглядим, — с вызовом наседали Митька, уже не за правду, а по вредности. — Мы с ясаком и аманатами пойдём дальше к лесу. Алазейские мужики говорили, на Колыме много всякого зверя!

— Иди-иди! — отбrehивался Стадухин, понимая, что бессмысленная брань — только предтеча главного спора. — Половину ясака с анюйцев и аманата от них оставь мне!

— Вот тебе! — вскрикнул Зырян, выставив дулю.

Стадухин саданул его кулаком в грудь. Митька отступил на шаг, замотал головой, с дурными глазами схватился за саблю, но выхватить из ножен не успел.

— На кулачках... Божий суд! — закричали служилые и промышленные двух ватажек, хватая его за руки. — До первой крови!

Атаманы побросали на землю оружие, стали кружить друг против друга, нанося удары по плечам и по груди, пока Зырян не плюнул кровью и не опустил руки. Покрутив языком во рту, вытащил зуб.

— Не бил по морде, — оправдываясь, вскрикнул Стадухин. — Сам язык прикусил.

— Зуб у тебя ещё в море шатался! — насупленно пробубнил Мотора.

Драка между казаками была не первой. Митька не испугался, но как-то разом успокоился и шепеляво, с насмешкой сказал, обращаясь к своим промышленным:

— Бес ему правит! — И сплюнул ещё раз, мирясь с поражением.

Ясак с беглых алазейских юкагиров за прошлый и нынешний годы он взял на себя. По новому уговору после кулачного поединка ясак с колымского рода два отряда делили поровну, и ещё взятые на погроме три пищали, два собольих полоника, ясырку и медвежонка. Сын колымского князца Порочи остался у Стадухина: Беяна с Моторой убедили Зыряна, что нового аманата лучше держать в зимовье, а не таскать за собой вместе с алазейским.

О Калибе спора не было, Михей не связывался, хотя втайне желал, чтобы девка осталась в его зимовье. И когда Коновал спросил, согласен ли, что Зыряну достанутся две погромные пищали, а им одна и девка, Стадухин молча кивнул. Про медвежонка не вспомнили, и он вслух посочувствовал зверьку:

— Шёл бы к родне!

Наблюдавший казачьи распри Чуна растянул в улыбке тонкие губы:

— Куда ему идти? Он должен зимовать с матерью, а её убили. Строить медвежий дом его уже никто не научит. Для него же лучше — если убьют и съедят... Был медведем — станет человеком!

Осенние ночи стали темны. Утрами воздух был чист. Над тундрой ещё звучал тревожный журавлиный крик. Со свистом рассекая воздух крыльями, неслись и неслись куда-то стаи птиц. На верхушках окрестных сопот лежал снег, вода в заводях покрывалась корочками льда. У ног Стадухина розовела та самая река, которую он искал, о которой много думал в прежней жизни, а на душе было мутно: при множестве немирных народов отряды глупо разъединялись. Вскоре протока покрылась морщинистым льдом, который местами тянулся от одного берега к другому, мох стал хрусток, а заиленный берег твёрд.

Мечтая о тёплом, отопленном жилье, казаки подходили к знакомым местам, уже видели тын и мирно курившийся дымок, когда Михей резко остановился и приказал: «Стой!» Отряд замер. Медвежонок, который шёл без привязи, то отставая, чтобы подкрепиться ягодой, то нагоняя людей, ткнулся носом в ногу и заурчал. Стадухин сам не понял, что насторожило его, пристально вглядывался в окрестности, пока не приметил чужих выставивших кострищ с запахом свежей золы. Пронзительно свистнул. На плоскую крышу избы вскарабкался Вторка, узнал своих, махнул рукой.

Вблизи знаков боя было много: вытоптанный мох, стрелы, торчавшие из тына. Отряд вошёл в ворота, у распахнутых дверей зимовья казаков встретил Пантелей Пенда.

— Кто? — спросил Стадухин, не успев перекрестить лба.

— Чукчи! — обыденно ответил старый промышленный. — Заходите, грейтесь. Есть печёная рыба и гусятина.

Клацая деревом, звеня металлом, казаки составили в угол пищали, побросали сабли и топоры, обступили очаг, снимая сырые парки и бахилы. Михей затворил ворота, заложил их изнутри, оставив медвежонка за тыном. Вошёл в зимовье последним.

— Пришлось повоевать! — неохотно ответил Пантелей на его вопрошающий взгляд. — Случайно вышли на нас два десятка мужиков, хотели пограбить. Дня три как отбились...

— Пантелей Демидыч на хитрость взял! — охотней рассказал Втор. — По-стреляли мы друг в друга, попускали стрелы, а он схватил большой железный котёл — и за ворота. Я подумал, вместо куюка прикрыться или что? А дед швырнул его на лёд протоки и обратно за тын. Гляжу, мужики сломя голову бросились за котлом. Лёд под ними провалился, потонули, бедные. Остальные бежали. А мы без котла теперь.

— Лёд окрепнет, пробьёте прорубь, найдёте! — хмуро оправдался Пантелей, не желая вспоминать об отбитой осаде.

До темноты люди отдыхали и устраивались: отвели место аманату, вырубili для него колодки, сделали нары для девки. В сумерках Михей выглянул за ворота с надеждой, что медвежонок ушёл. Но он, наевшись ягод, разрыл место, куда сваливали рыбы и птичьи потроха, клацал зубами, разгоняя ворон и песцов, считавших тухлятину своей добычей.

Стадухин выставил караул, вернулся под тёплый кров. Пантелей Демидович лежал на нарах, закрыв глаза и округлив белую голову руками со сцепленными пальцами. Атаманское место было рядом с ним. Михей присел на одеяло, стал рассказывать о скандале с Зыряном. Пенда слушал, не открывая глаз. И только, когда атаман спросил, прав ли был в споре с Митькой, тот сонно ответил, что уходит к нему.

— Чем тебе у меня плохо? — удивился Михей.

— У вас служба, у меня — промысел! — усмехнулся Пенда. — Раз уж добрался до новых мест — промышлять надо и дальше идти. — Помолчав, душевней добавил: — Кабы кто знал, как надоело убивать, давить, шкурить живую тварь Божью. А надо!

Стадухин смутился, будто был уличён в недостойном. Он скрывал, что с детства до нынешней поры не притерпелся смотреть, как режут скот, умерщвляют пушного зверя, мясо которого бросают воронам или сжигают. Другое дело добыть готовый мех на погrome, в виде ясака или при мене.

— Один пойдёшь? — спросил и стал невпопад пугать немирными народами, заламами на реке, мерзлотными ямами, медведями-шатунами, дурным осенним лосем, который ударом копыта может переломить хребет.

Пантелей терпеливо слушал его со снисходительной улыбкой в бороде. Нарту и лыжи он сделал загодя. На другой уже день собрался и ушёл к основному руслу реки. Медвежонок за ним не увязался, а бродил возле зимовья, спешно набирая жир ягодами и мышами, бросался на куропаток, гонялся за нагловатыми песцами, вертевшимися у тына в поисках поживы. При открытых воротах стал забегать в тесный дворик, путался под ногами, но не царапался, не кусался, и его терпели.

С каждым днём он становился всё сонливей, сворачивался то возле поленицы дров, то в другом неподходящем месте, откуда его прогоняли. Однажды заскочил в избу, забился под атаманские нары и надолго затих. Михей тому не препятствовал и даже огородил драньём. Казаки ворчали и смеялись, но дух от зверя не был приторным, к нему быстро привыкли, предполагая, что атаман держит медвежонка на чёрный день.

Кончилась короткая северная осень. Завыла ветрами, замела метелями полярная зима. Пока холода не вошли в полную силу, казаки ловили рыбу, морозили и складывали в лабаз, густо обгаженный чайками. Анюйского аманата ночами держали в колодке. От Чуны уже не прятали оружия, бежать из этих мест одному

невозможно. Днём по желанию аманаты работали наравне со всеми, хотя их не принуждали, и каждый на свой лад прельщал Калибу, чтобы жила с ним в жёнках. Казаки считали это справедливым, на Лене почётных аманатов содержали с жёнами, а для укрепления здоровья каждый день давали по чарке горячего вина, чему завидовали служилые. Здесь же, кроме рыбы и птицы, кормить было ничем.

Прислушиваясь и принохиваясь к медвежонку, спавшему под нарами, Чуна навязчиво напоминал Михею:

— Вырастет — забьёшь, шкуру дашь мне! А я сошью тебе такой кукуль или кухлянку, в снегу тепло спать будешь.

Атаман ничего не обещал ламуту, но и не отнекивался, только пожимал плечами, о том, как распорядиться медведем-пестуном, не думал, радовался, что Чуна свободно говорит: хороший толмач в отряде — ценная редкость.

Попав из одного рабства в другое, Калиба посвежела, в её глазах появился живой блеск. Она гневно пресекала попытки Чуны и сына колымского тойона принудить её к сожительству. Приметив это, казаки наперебой стали звать её к себе. Она же знаками показывала, что не желает жить ни с кем из них, и бросала на Стадухина тревожные, чего-то ждущие взгляды. Это никого не удивляло: ясыри быстро понимали, кто в окружении главный, и всеми силами служили ему, добиваясь покровительства. Бывало, пока начальник человек в силе, служили преданно.

И опять Михей Стадухин маялся, переглядываясь с погромной жёнкой. Умученный снами, в которых был с женой, стал прельщаться, пусть через грех, но остудить истомившуюся душу: не думал, не гадал, что память о прежнем счастье так же мучительна, как несчастье. И попутал бес, да ещё в субботу, после бани. Зимовье было жарко натоплено, казаки и аманаты сидели возле пылавшего чувала, пили травяной отвар. Последней мылась Калиба. Михей отметил про себя, что людей в избе ubyло.

— Куда разбежались? — спросил, обернувшись к двери.

Вошёл Федька Катаев, взъерошенный, как кот после драки. Окинул сидевших шальными глазами.

— Худа! — присел к огню, к оставленной чарке с остывшим напитком. Помотал головой, пришёл в себя, как обычно похохатывая, добавил: — Пока в парке — ничего, — округло повёл ладонями, изображая женские прелести. — А голая что жердина.

Стадухин стыдливо выругался:

— Голую девку в бане разглядываете?

— Надо же знать, — ухмыльнулся Федька. — Возьмёшь в жёнки, а там... — приставил две фиги к груди и перекрестился.

Михей встал, накинул на плечи меховой кафтан, вышел. Окрестности были покрыты снегом. В сумерках полярной ночи из приоткрытой банной двери поднимался густой пар. Согнувшись коромыслами, в нём что-то высматривали два казака. Стадухин подошел тихо, они оглянулись, смутились, вернулись в избу.

За клубами пара при свете горевшего жировика виднелась Калиба. Она нагишом сидела на лавке, поливала себя водой, как ребёнок фыркала и смеялась. Мокрая и обнаженная ясырка ничуть не походила на Арину.

Наверное, ей, непривычной к бане, было жарко, оттого и распахнула дверь.

Михей хотел её прикрыть, но вместо того, нагнувшись, вошёл и затворился. Ничуть не смутившись, Калиба взглянула на него мокрыми сияющими глазами, покорно улыбнулась. Разопревший от жара каменки, очарованный женским смехом, блеском глаз, Михей распахнул кафтан. Она прильнула к нему мокрым телом, показывая своё расположение.

Тут в голове Стадухина как-то разом всё прояснилось. Он почувствовал, что вскипевшая было страсть так же быстро остыла, будто ластилась к нему не обнажённая женщина, а зверушка. Стыдливо прокашлялся, пролепетал что-то про дверь, отстранился, вышел, стал истово креститься и кланяться на восход с благодарными молитвами святому покровителю, что не допустил греха.

С таким же пламеневшим лицом, как Федька Катаев, он вошёл в зимовье, сел за оставленную чарку. Сидевшие кружком казаки дружно заржали.

— Чего? — отстранённо спросил он.

— Прельстился? — не мигая, спросил Мишка Коновал. Его губы и рубец на щеке оставались неподвижными.

— Нет! — неуверенно пролепетал Михей.

Казаки засмеялись громче. Только Коновал пристально буравил атамана глазами. Михей не понял, отчего им весело, но в душу запала какая-то заноза. Как во сне он выставил и проверил караул, вернулся, при свете углей и чадившего жировика лёг, забыв прослушать окрестности. Из угла тенью поднялась Калиба с распущенными по плечам сырыми волосами, юркнула к нему под одеяло и прильнула, как там, в бане.

— Вот и поделили ясырку! — зевая, пробормотал Втор Гаврилов.

— И медведя атаман подгрёб под себя, и девку! — вздохнул Коновал. — Ничего, добудем потолще!

— О греховном думаете, греховное творите! — нравоучительно проговорил Пашка Левонтьев, придвинулся к очагу, подбросил дров на угли, вспыхнуло пламя, высветив избу. Лежа на боку, он раскрыл Библию, долго шелестел страницами. — Вот оно! — сказал и стал читать по слогам: «Господь прогнал от вас народы великие и сильные и перед вами никто не устоял до сего дня...»

— Многочисленной бурят не было никого! — заспорил Коновал.

Пашка не ответил, продолжая читать:

— «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними и они к вам, то знайте, что Господь Бог не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш».

Он громко захлопнул книгу, казаки с недоумением зароптали:

— Своих-то жёнок где брать? Или оскопиться, как ты?

Чей-то всхрап усмирил полусонный говор. В трубе чувала загудел ветер.

Под боком атамана лежала опытная женщина и старалась, чтобы ему было хорошо. Только всё получилось вымученно и бесстрастно, не так, как с Ариной и даже с теми женщинами, которые были до неё. Но утром он не вскочил, как обычно, а поднялся со всеми вместе, когда сменился ночной караул.

— На пользу атаману баня! — с клёкотом в горле прооручал Федька Катаев.

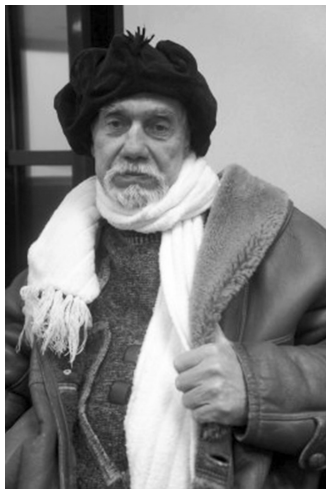
Стадухин зевал, потягивался и не чувствовал обычного желания схватиться за дела, намеченные с вечера. На Федьку он не сердился: никто из казаков не брал Калибу на саблю. Коновал первым позвал за собой, потому и язвил, срывая досаду. «Ладно хоть до поста! — оправдался перед собой атаман. — Да вот ведь на светлое воскресенье... Надо в баню сходить перед утренними молитвами».

К следующей ночи Калиба натаскала сухого мха, сделала постель мягкой и удобной, по обычаю народов, живущих скопом по несколько семей, завешалась лавтаком и вечером, уже по-хозяйски, устроилась под атаманским боком. Жалея женщину, Михей не прогнал её, но стал жить как с жёнкой...

ПОЭЗИЯ



АЛЕКСАНДР СОКОЛЬНИКОВ



Воспоминание о прошедшем счастье

* * *

В.Г. Распутину

Как грустные мысли
Серые мыши
Роят норы
Почти до самого центра земли
Где-то рядом
На листвяке
Который устал по-японски
Кланяться ветру
Проживает ворона
В уютном гнезде
И она
Помнившая моего деда
и прадеда
лучше знает древо жизни моей
Сверх обыкновения

СОКОЛЬНИКОВ Александр родился в 1947 г. в селе Верхоленское Качугского района Иркутской области. Автор трёх книг: «Свиток одиночества» (1992), «Вне канона» (2007), «Вне канона» — издание второе, дополненное (2013). Лауреат Всероссийской литературной премии им. Велимира Хлебникова и премии Губернатора Иркутской области. Живёт в Иркутске.

Обыкновенный человек
С вкрадчивым голосом
Пробившегося родника
шагающий по земле так осторожно
что слышно как благодарно
непримятая трава
шепчет зеленоглазое спасибо
Он так и не решился
Сказать вороне
Нужные слова
Теперь на тризне
В тени церквей
Под звон колоколов
Кандальный
Светлое лицо
В мутной воде почти столетие
И выбросив кукушкиных детей
за борт гнезда
В картавом крике
Расскажет ворона
О чем хотел поведать
Этот человек.

Воспоминание о прошедшем счастье

Шаги от редколесья
Цветущих полян
Что детством зовется
В поэтическом обиходе
в глухомань подступающей старости
как костяшки
постаревших счётов
и до-ре-ми детского смеха
как фуэте воздушной балерины
и водопады неслыханной радости
от нырянья с перил парома
что-то тихо стало
в моей уснувшей деревне
не дребезжит
разбитый велосипед
почтальона
что лисапедом зовётся
в старушьем наречьи
и в прорези почтового ящика
как в прорези забрала
не скользнёт заветное письмо

от дочки иль от сына
уехавших с подённости
на городские вольные хлеба
а проскальзывают
похоронки
неоплаченных счетов
и не щелкнет как на арене
кнут пастуха
и не бредут коровы
задумчиво как облака
оставляя на тротуарах
лепехи пережеванных
духмянных ленских трав
и не приветствуют друг друга
прохожие
здравствуя сами по себе
Икают от холода
Русские печи
И не пляшут на поду
В железных ухватах
Подбоченившиеся чугушки
Слепыми бельмами
Зияют пустые окна
И солнечный свет
Не играет с пылинками
В чехарду
И в красных углах
Где иконы преклоняют колени
Ласточки глашатаи весны
Лепят гнезда
Подальше от китайских глаз
В пустой деревне
Лучше поздно
Чем никогда
Фонари освещают только себя
И в брошенном доме
Как бы в оправданье
Несбывшихся надежд
Заляпанная мухами
Сияет лампочка Ильича.

На выставке А. Князева

Многоводье морей
Разнотравье водорослей
И водит море
За нос

Корабли по кругу
И надувает паруса
Словно пухлые щеки
Земляникой лесной
Маяк
Звезды
Засохшими мотыльками
Не влетев
В серебряное пламя луны
Срываются ниц
На землю
Снежинками
На горе
И радость земных людей
(Потом дети из этих снежинок
Скатают Луну)
За горизонт
Бедуинами в голубых чалмах
Кочуют туманы
Изредка
Невзначай
Молнии плетъ сверкнет
И капля
«одна ли на свете»
Пучеглазно
Стрекозно
Оглядев мир
Сливается с морем
Той
Единственной
Как и мы
Едва ощутив на губах
Привкус любви
Волнами губ
Догоняем волны
Чтобы умереть в прибое
И мокрой галькой
нам двоим
Единственно понятный
Нарисовать
Узор.

* * *

Леониду Бутакову

Начитавшись до одури
Вчерашних газет
Взамен кузькиных матерей

И присоединенья Крыма
Наигравшийся в дуду печных труб
Окутанный песцовыми дымами
Слегка помявший бока
Подворотне
Шел сам по себе
Освищенный свистками полицейских
В трясущемся вагоне
С женщиной
Без кувшина на плече
Играл с монгольской царевной
В русские шашки
И был стол
Протяженно велик
И дребезжал стаканом
В подстаканной юбке
Поля сражения
Дымились кизячьим дымом
Аулы
Высокие горы
Высокий Кавказ
Водопады шумели галеркой
И били хвостами
В горних ручьях
Форели
Иноверцы сушили порох
И шумной толпой
Плясали во славу мира
Пусть и сепаратный
И с гнильцой
И цокали языками
Как копытами
Над каждой проигранной шашкой
и автоматы ржавели в схронах
свернувшейся кровью
кизячим хвостиком
дымились аулы
и на горных дорогах
ораторствовали ишаки
не прибавляя ни доброты
ни злости
к выпренной фразе
Наш Кавказ
Кавказ наш.

Миражи крымского зноя

Обучаясь ли у облаков
Утки полощут крылья

Как полоскают женщины белье
Непоседливый
Грачиный грай
Черной тучей словно шторой
Закрывает небо
Как будто в поднебесье
Что-то происходит
Налетом желтизны
Виски седеют у берез
И о прошедшем лете
Стога написаны
Томами
Скошенных трав
В лугах оттавных
Зеленым-зелено
В аэродинамической
Трубе
Небесной тяги
Пушинки пробуют
Себя на вес
И застывают
Взвесью бакенов
Для отлетающих птиц
И притаился гриб
Не смея
Шляпу приподнять
Перед всеглядным грибником
Рассыпанными бусами
Брусника брусневает
И еж в ночной охоте
Подозрительно шуршит
Листвой опавшей
В чистописании
Сжатых полей
Забывают васильки
Что в прошлом были сорняками
На поветях
Сено сладко спит
До будущей зимы
И Всевселенские туманы
Сислея
Превращают поля
В озера
И березы в бесстыдном
Переплясе
Не прячут ноги
Разорваны рубахи
У хохочущих парней

Ведь завтра
Не хватит пуговиц
в трехрядке
Хотя так залихватски
Раздув кузнечные меха
Гармонь трубила
Легкой грустью
Подернуты глаза у женщин
И не поправит
Вздувшееся платье
И бахчи
По-бахчисарайски
Беременны арбузами
И оклевавшись до одури
Бузиной
Перед отлетом трелят
Соловьи
Украдкой
Прячет мышь
Сворованное зернышко
И набивает под сенью
Закона
Малосрамоимущие
И ставя богу свечку
И «всяк посему
Грызет свою уздечку»
И отдыхают косы
Как топоры у палачей
Зазубренной ресницей
Поэты
Осень прославляют
До Болдино
До будущей весны
Билеты проданы
И копны
В сислеевском тумане
Как многоточие
Того
Что никогда уже не свершится.

* * *

Оксане Запольской

О, мое неслыханное чудо
Сто обло
Сто зевно
Зевай и лаяй
Я сегодня напился простором

Под руку с ветром
Качаюсь хмельной
Как корабельные сосны ангарские
Почти все спиленные
Под корень
Под присмотром
Внимательных восточных глаз
Как скоропостижно
Устаем мы от забот
И в пустыне людского участия
Ставим крест
Между небом и землей
В простой системе
Сложенья-вычитанья
И до боли в барабанных перепонках
Так хочется кричать
Первоначальным криком
Что ты родился

И убегая в шум водопадов
Чтобы не слышать
Вернувшееся эхо
И что ты можешь умереть
И ручей тебя услышав
Ставши рекой
тебя забудет
Как будто у реки
Своих забот не хватает
И подавая нищему
На паперти
Зеленеющий пятак
Надеемся
Что и нам когда-нибудь
Подадут
Что-то подобное руке
Вот поэтому
Во исполнение плотских утех
Разнообразный суп варю
Шинкарю на всю питерскую
Под треньканье балалайки
Плач плаксивой гитары
Даже на русской дыбе
Не признаюсь
Что тебя я люблю.

Осенние мелодии

В минарете скомканного алькова
Прочитаны
До последнего вздоха
Молитвы ночных любовников
Замывается круг
Полукружий рук
Медным обручем
На бочке терпкого вина
Цветами
подаренными позавчера
Морозные узоры на стекле
Растают от теплого солнца
Уставшие глаза
Отдохнут в тени ресниц
В полувздохе
Полуоткрыты сухие губы
И слезинки застывшие в уголках глаз
Совсем не знают
Кто они
То ли дети радости
Или хлеб насущный
Черных плакальщиц-горевальщиц
И терпят поцелуи
Любвекрушение
На неприступных берегах
И мириадами слезных брызг
Разбиваются о камни вдрызг
Головокружение
Как кружение листьев
в осеннем листопаде
Когда обнаженные деревья
Не смущают никого
На губах иссушенных
Зноем кочующих пустынь
Налет пыльцы поцелуя
И длинная очередь за счастьем
Длинная, как тень от палки
Подставленной солнцу
Как посох полуденного зноя.

* * *

*Сергею Перетолчину
на вечную память*

На тонких ножках
Листья пробежали по асфальту

Задохнувшись от восторженного ветра
На безликих
Безлиственных ветвях
Набухают почки
Сосками беременных женщин
Наше будущее
Слепою хваткой
Осязаемо
Твоей песней весенней сосульки
В астматической пустоте...
И близко
Как биение ресницы
В расцвеченных витринах
Бражные песни
Поют бокалы
В форточки зевающих окон
Влетает
Отороченный инеем
Прохладный воздух
Трепещут шторы паруса
Врасплох застигнутого штормом
Корабля
От поцелуев
Горький привкус моря
На губах припухлых
И скрипач
В заброшенной испанской таверне
По лунной дороге
Разбрасывал бумажные цветы
И люди
Слетевшие с заснеженных постелей
Бегут по безликим улицам
То отставая
То обгоняя бездомные листья
И малыш в прогулочной коляске
Из соски
Выпускает флюиды счастья
Мальтус горько плачет
Слезами Ирода
В сквере
За углом
Сибирские коты
Хвостами кружат колесо
Кровавых свадеб
И коньки
Необласканных дождями крыш
Разрезают небесный торт
Каждому великому

Поелику
И бессмертному
Сладкий кусок.

* * *

У зноя
Воспаленные глаза
от ослепительного солнца
Бельмом
оазис зеленеет
и караван верблюдов
совсем как мои верлибры
В пустыне зарифмованных стихов
Павлиний
хвост ароматного чая
Луна тает
кусочком сахара
на дне стакана
позванивает ложечка
первым трамваем
Стены в белых халатах
То приближаются
То отдаляются от моего дыхания
Взвизгнув
Скрипят тормоза
Как может только снег
Скрипеть
Чакры раскрыты
Как окна напрочь
И твое лицо
Осиянное
И закрытая тучами
Луна.

* * *

*Сергею Николаевичу
Перетолчину*

Звон с колоколен
Расплавляется в трелях птиц
Осенья крестным знаменiem
Мы от живых
Ограждаем
Мир
Другой преисподней
Грустно нам без улыбки

В скорби теплится
своя благодать
над тихим ручьем молитвы
Уносятся души
по-напрасному умирать
Кто-то за нас
Испытает горести
Горстью пепла
Посыплет голову
Над колокольной куражась
Снег кружится
В кругу крестов
Хороводясь
Роятся снежинки.

II

Белые агнцы холодов
Бредут к водопою
Как к костру слетаются мотыльки
И не испив воды
Они водою растекаются
По горным долинам
Что-то в мире не так
Мы заполняем храмов пустоту
Бесполезным многолюдством
И вытираем горькой луковицей
От голубых экранов
Потеплевшие глаза
Нищие
Как верстовые столбы
Из страны голодающих
В страну бесплатных похлебок
И на глазах
Дешевых обедов
Добреют глаза
Люда простонародного
Радостные стуки
Ложек
Наполняет суетой
Наш быт земной.

* * *

Наполняясь пустотой
Как челн
не единожды пробитый
клинком всепроникающей воды

Свирель умолкла
В печальных пальцах
Так тихо на земле
Что слышно как прорастает тишина
Ростком зеленым
И воздуха глоток
Даже в шумном базаре
Не обменять на тишины росток.

* * *

На неба скомканном платке
На память
Завяжу узелок
Под ногами снег чернеет
И каждый след отчетлив
Талою водою
О сколько
Влажных глаз
Среди людей
Среди деревьев.

* * *

На ветвях
Раскаркалось воронье
Черными кляксами
На нотных тетрадах
Ветвей
иль не до нас
лет через сто
настоящая свадьба
свершится
и колокол синего неба
Звонит не по нам...

* * *

Татьяне Марковой

Я зеленое дерево дня
Я любопытен настолько
Что не заглядываю в окна
И мир расцвеченной мишурой
Любопытен только себе
В музее Левитана
На волжском берегу
На картине

Увидел
Своих сородичей
Сломил ветку
Для малыша
И долго провожал его взглядом
Пока он скакал
На детской лошадке...
К столбу телеграфному
На сорок шагов
Не подошел
Перебирала
Струны сорока
И что-то грустное-гнусное
Напевала
Отдохнул как в кресле
В воде преломившись...
С плотоядным взглядом землепашца
Шел по вспаханному полю
Пальцы-корни
Вылезали из башмаков
и вращались в землю
и умирая сам-десять
Шумели зеленой дубравой
Бежал к костру
Починить башмаки
Сапожник оказался злым
Я не заметил
Как сторел
Я зеленое дерево дня
не знавшее весны
и не вспомнившие Леты
долгих лет...

Из сборника «Светлые ручьи»

И вновь
И вновь
Табунятся облака
Беременные дождями
И африкански изумрудна грива
Взьерошенной ветром травы
и с придыханьем
Будто прихрамывая на одно легкое
Переливаясь всеми цветами
Радуги
Из бокала в бокал
Сама себя пересыпает

Пустота
Сантиментами измерен
путь печали
как сантиметрами
измерен
Путь человека к человеку
Хотя до него
рукой
подать...

* * *

Как в одной
Перенаселенной восходящей стране
В переполненном троллях троллейбусе
Я встретил Вас
Уступил вам в этой жизни
Место
С тайной надеждой
Что в вашем сердце
Для меня найдется отдохновенье...
Долу опустив глаза
За частоколом ресниц
Я знал
Я видел как через вуаль листвы
Вы разглядываете меня
Как бамбук вырастал
Во влажном лесу
Приземляя небо к земле
На цыпочках
Осторожно скрадывающий свою жертву
Зверь
За спиной осыпая
Прильнувших пассажиров
Колыхались крылья
С колдобинами наших дорог
Сопереживали взлет и падение
И на остановках преткновенья
Выходили
Не зная
Не ведая что следующей остановкой
Мог быть Рай.



НАДЕЖДА КАЛИНИЧЕНКО



Марта Амвросиевна

ЦИКЛ РАССКАЗОВ

Опавшие листья

(Первый рассказ про Марту Амвросиевну)

Осень была прозрачной. Такой прозрачной, что звенела: тонко и тихо — солнечными смычками скользя по шершавым веткам деревьев, колокольню — ударяясь длинными дождинами о землю, и певуче — раскидывая листья по земле, словно пальцы по клавишам. Такая осень, как благословение, снисходит вдруг, чтобы успокоить предчувствие холодной зимы. Марта Амвросиевна доковыляла до любимой скамейки и, элегантно отставив тросточку, опустилась на выкрашенные в бледно-зелёный цвет доски. Запахнув бёдра полами широкого плаща и раскрыв над старательно завитыми кудрями цветастый зонт (на случай дождя, разумеется), она тем самым заявила миру о своей готовности созерцать.

Ах, созерцать Марта Амвросиевна умеет виртуозно! Это действие начинается мгновенно при попадании в поле её зрения достойного объекта. Будь то человек или предмет, растение или животное — значения не имеет, важно лишь наличие чего-то яркого, чего-то, что нарушает однообразность и правильность течения

КАЛИНИЧЕНКО Надежда Николаевна, родилась в г. Усть-Кут. Закончила областное училище культуры (г. Иркутск), затем библиотечный факультет Академии культуры и искусств (г. Улан-Удэ). Более 20 лет работает в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке, на сегодняшний день в должности главного библиографа. Стихи и проза публиковались в журналах «Сибирь», «Первоцвет», «Белая радуга», «Северо-Муйские огни». Автор двух поэтических сборников. Живёт в г. Усть-Кут.

жизни. И тогда... О, тогда её пальцы, укрытые кожей перчаток, сплетаются друг с другом, поднимаются к лицу и надёжно подпирают левую щёку. Напомаженный рот медленно раскрывается, образуя почти идеальную «О», а карий зрачок расширяется до тех пор, пока в нём полностью не умещаются и то самое «нечто», удостоенное внимания Марты Амвросиевны, и всё, что к этому «нечто» имеет отношение.

А затем Марта Амвросиевна впадает в транс. Нет, не в то болезненное состояние, когда глазные яблоки обретают независимость и дух покойной тётушки пытается вспомнить, под какой половицей спрятана серебряная ложка. Это состояние обострённого восприятия, когда объект созерцания видится ей невероятно чётко, на каком бы расстоянии от неё при этом ни находился. И Марта Амвросиевна начинает его рассматривать: она ласкает его взглядом, она замечает все оттенки цвета, все изгибы формы, пытаясь понять смысл его существования. Наблюдая за движением объекта, Марта Амвросиевна выстраивает цепочку его жизни, только в обратном порядке — она пытается вообразить себе путь, которым он добирался от момента появления на свет до этой самой торжественной минуты. Порой Марте Амвросиевне кажется, что она чувствует запах, который исходит объект, и вот тогда-то ей всё становится понятно — и смысл, и путь, и «почему»...

Сегодня аллея пустынна. Марта Амвросиевна нетерпеливо вертит головой, но вокруг всё знакомо до мелочей, всё давно изучено. Деревья? Их она созерцала и цветущими, и беззащитно-голыми, и запорошенными снегом. Про них она уже всё знает. Опавшие листья её тоже мало интересуют — короткую жизнь понять не трудно. Та-ак, а это что за четырёхлапое существо? Чуда не случилось и на этот раз: коротко мяукнув в знак приветствия, мимо протрусил Бандит — нагло-рыжий бесхвостый кот, обладатель такой сногшибательной харизмы, против которой оказались бессильны даже бродячие собаки. Марта Амвросиевна вспомнила, как впервые созерцала Бандита.

Это случилось, дай бог памяти, года два назад. Или чуть меньше. Зима тогда была на редкость тёплая и мягкая, поэтому Марта Амвросиевна имела возможность чаще находиться на своём наблюдательном посту. А подольше посидеть на зелёной (в тот год вообще-то изумрудной) скамеечке ей позволяла небольшая синтепоновая подушечка, деликатно пристроенная на промёрзшие доски.

День тогда случился замечательный! Сначала на слегка потёртый каракулевый воротник её пальто упала необыкновенная снежинка — крупная, пушистая, она была ярко розового цвета. Скосив глаза, Марта Амвросиевна созерцала это чудо природы целых одиннадцать минут. (Да-да, ровно одиннадцать минут. Что? А разве я не говорила, что в созерцательный период чувство времени у Марты Амвросиевны тоже обостряется? Ах, боже мой, вот сейчас говорю...) На двенадцатой минуте стало совершенно очевидно, что снежинка смотрела на мир сквозь розовые очки, поэтому и себя видела розовой. А, как известно, весь мир можно легко убедить в том, в чём сам уверенно уверен.

Затем случилось кое-что неординарное — Марта Амвросиевна... задремала. Ей даже приснился сон, как-будто сидит она на лавочке в центре любимой аллеи, и так давно сидит, что запорошило её снегом с ног до головы. В этом сне Марта Амвросиевна немного замёрзла, оттого и проснулась. Открыв глаза, она обнаружила расположившегося напротив Бандита (кот, конечно, не представился, она же не выжившая из ума старуха, с животными не разговаривает, а Бандитом она его позже назвала). Так вот, Бандит сидел на снегу, потешно сложив передние лапы

крест-накрест, и... созерцал её, Марту Амвросиевну! От удивления губы Марты Амвросиевны сложились не в «О», а в трубочку, а руки вообще остались неподвижно лежать на коленях.

Это обоюдное созерцание не успело прийти к логическому завершению, так как было прервано самым грубейшим образом — быстро, шумно, оголтело к ним приближалась свора разномастных собак. Причём разномастным был и их лай — от басыстого «гав» до раздражающего «и-и-и». Когда эта невоспитанная толпа приблизилась на опасно близкое расстояние, Бандит медленно развернулся и выпрямился на пружинистых ногах. Затем он вытянул и без того острую морду (катышки рыжей шерсти растопорщились вокруг хищно подрагивающего носа), открыл пасть и завыл — протяжно, глухо, с переливами. И такая гамма чувств отразилась в этом «мя-а-ау-у!», что «гав» оборвалось, «тяв» затихло, а «и-и-и» послышалось уже где-то вдалеке.

Воспоминания Марты Амвросиевны странным образом согрели её душу. Что и говорить, привязалась она к Бандиту, иногда даже угощала его рыбной косточкой...

Следя за трогательным обрубком рыжего хвоста, удаляющимся вдоль аллеи, Марта Амвросиевна боковым зрением заметила движение слева от себя. Внутри что-то ёкнуло, и это был верный признак — созерцанию сегодня быть.

Засунув руки в карманы и слегка шаркая подошвами кроссовок о землю, в её сторону двигался мальчишка. Наверное, правильное было бы сказать — «молодой человек», но с высоты своего возраста Марта Амвросиевна решила, что это был именно мальчишка. В лёгкой курточке, накинута на полосатую футболку, и в индиговых джинсах, он шёл не торопко, слегка вразвалку, подняв улыбающееся лицо к синему, в белых прожилках облаков, небу.

А лицо у мальчишки чудесное! Скуластое, в лёгких крапинках веснушек, оно чуть румянилось от потаённых мыслей. Широко расставленные глаза так искрились, что трудно было определить их цвет. Марта Амвросиевна (рот округлён, пальцы сплетены) впиалась трепетным взглядом в это лицо — и повелась цепочка, и замелькали перед глазами кадры всей его, ещё такой недолгой, жизни: школа, друзья, влюблённые девчоночьи глаза, первая драка, первый пропущенный мяч, обидная двойка по математике (знал ответ, растерялся!), шах и мат, поставленные отцом через пять минут после начала партии, блестящая медаль на груди непривычно торжественного деда, самосвал с ярко-красным кузовом — предмет зависти всех шестилеток во дворе...

Мальчишка уже прошёл мимо Марты Амвросиевны, когда вдруг остановился и наклонился. Затем присел и начал собирать рассыпанные по земле листья, зажимая их тонкие стебельки широкопалой, короткопалой ладонью. Марта Амвросиевна наблюдала, как двигаются под курткой острые ключицы, как топорщится обтянутый узкими штанами зад, и думала о том, что впервые ей захотелось протянуть цепочку созерцания не к истокам, а вперёд, в то неясное, неизвестное, которое только готовится быть. Попробовать? Почему бы и нет...

Мальчишка вдруг вскочил и, размахивая собранным ярким листовым букетом, ринулся вдоль по аллее. Приглядевшись, Марта Амвросиевна увидела вдалеке девичью фигурку, идущую к нему навстречу лёгкой, беззаботной походкой. Созерцать расхотелось. Да и что тут ещё понимать — самое настоящее первое свидание! Они будут долго бродить по осенней аллее, потом он её нежно поцелует, накормит мороженым в ближайшем кафе и проводит до подъезда, замёрзшую и счастливую... Ах, Марта Амвросиевна, вы просто душа, вы всё-таки сумели это сделать, вы смогли заглянуть вперёд!..

Увлёкшись отрадными картинками, Марта Амвросиевна пропустила момент, когда созданное ею будущее перестало существовать. Мальчик с чудесным лицом стоял посреди аллеи один, она видела его сгорбленную спину. Из опущенных рук сыпались и обречённо падали на землю разноцветные листья. Их подхватил порывистый ветер (он словно ждал этой минуты, прячась за деревьями) и понёс, кружа, бросая, подгоняя...

Лист, похожий на растопыренную ладонь, в последней попытке спастись, прилип к носку туфли Марты Амвросиевны. Она безучастно взглянула на него. Она очень часто видела их, эти опавшие, эти павшие листья. И этот был такой же: красно-коричневый, как палитра небрежного художника, ещё чуть зелёный у стелька, но уже почерневший и потрёпанный с краю.

Голубки

(Второй рассказ про Марту Амвросиевну)

Общественным транспортом Марта Амвросиевна пользовалась крайне редко. Ну, разве что в собес иногда ездила, если вдруг возникала необходимость в какой-нибудь важной бумажке. Или, вот как сегодня, в церковь выбиралась — помолиться да о бренности жизни своей подумать. Жила Марта Амвросиевна от церкви далековато: езды минут сорок с пересадкой, а потом ещё столько же пешком, да всё в горку... Вот поэтому и несчастными были встречи с Богом.

Марта Амвросиевна давно заметила, что состояние её после молитвы напрямую зависело от того, пришлось ли ей сегодня каяться. Если грешна была и со слезами несла покаяние — то светлело на душе, как светлеет небо на заре. Однажды после такого просветления Марта Амвросиевна даже попросила прощения у Нинки — горластой дворничихи, которая ругалась со всеми без исключения только потому, что они «шлындають, всё шлындають, и чего шлындають?...» И пусть Нинка не приняла откровения Марты Амвросиевны, пусть кричала вослед ей гадости всякие — всё равно как-то легко и светло было. А вот если случалось так, что каяться пред Богом было не в чем (и такое, представьте, бывает!), тогда Марта Амвросиевна долго ходила грустная-грустная! И всё казалось ей, что неправильно это, невозможно — как же без греха-то, не бывает так у людей, не святая ведь, а вот поди ж ты, и не вспомнила ни одного грешка сегодня... Не-е-ет, что-то упустила, что-то забыла, остался грех без прощения, оттого и грустилось ей потом несколько дней подряд.

Эта ноющая грусть сейчас опять в её душе засела. Марта Амвросиевна, опираясь на трость, с трудом влезла в маршрутку (ох, жестокие люди придумали такое — возить людей в этих маленьких автобусах, где невозможно не наступить кому-нибудь на ногу!). Она успела сделать пару шагов и боком плюхнулась на сиденье, потому что водитель — молоденький черноглазый парнишка, яростно выясняющий отношения с какой-то Ленкой по прижато к уху телефону, — рванул с места. Марта Амвросиевна опёрлась ладонью на соседнее сиденье, которое, к счастью, оказалось свободно. Сидеть боком было крайне неудобно, трость распротёрлась по салону и норовила выпасть из руки. Все кочки и ямки, по которым проезжала шустрая маршрутка, Марта Амвросиевна встречала тихим внутренним «Ой!», и как только черноглазый затормозил на следующей остановке, она торопливо сдвинулась, вжалась в сиденье, подтянула к себе тросточку и вздохнула с облегчением.

Полупустой до этого салон заполнился людьми до отказа. Все сидячие места оказались заняты, какая-то грузная женщина, неловко согнувшись, осталась стоять, с мученическим видом держась за поручень. Марта Амвросиевна отвела взгляд — незачем смущать человека! — и, медленно двигая головой, оглядела всех сидящих. Нда-а-а, ехать долго, а созерцать некого... Лица все сплошь хмурые, не улыбочивые, оттого одинаковые, словно нарисованные под копирку. Те, кто заняли места у окошек, так сосредоточенно смотрели на мелькающие за ними пейзажи, как будто платили деньги за просмотр, а не за проезд. Сидящие с ними рядом все как один внимательно разглядывали затылок водителя. И почему-то было тихо-тихо.

Марта Амвросиевна уж было отчаялась найти объект для созерцания, когда взгляд её споткнулся на лице старушки, что сидела прямо напротив. Закрытые ли, в отличие от остальных, её глаза, или еле заметная улыбка на тонких, покрытых благородно-красной помадой, губах привлекли внимание Марты Амвросиевны, только в груди так сладко ёкнуло, как давно не бывало. Её пальцы, укрытые кожей перчаток, сплелись друг с другом, поднялись к лицу, надёжно подпирая левую щеку, и сквозь почти идеальную «О» губ пробрался удовлетворённый выдох — созерцанию сегодня быть. А когда тросточка, выпущенная при этом Мартой Амвросиевной из рук, проскользнув, тихонько ткнула её визави в мягкий носок туфли, и старушкины чуть удивлённые небесно-голубые глаза выпорхнули из-под белёсых ресниц — цепочка в прошлое побежала стремительно и безоглядно...

Как определить, что из случившегося в человеческой жизни — важная веха, а что — просто событие? По каким таким признакам можно опознать момент, когда судьба сворачивает на новую — ровную ли, в рытвинах ли — дорогу, и сколько идти до следующего поворота? А ведь вопросы-то эти риторические, потому как нет на них однозначного ответа. Как нет и дорог, для всех одинаковых. Ведь как бывает — идут люди вроде по одному пути, одни и те же кочки встречаются, одни и те же ямки перепрыгивают. И у кого-то, глядишь, так ловко получается — прыг-скок по кочкам да мимо ямок. И так далеко уж ускакал человек, что и не слышит он воплей тех, кто с первой, а может, и с десятой кочки соскользнул да и увяз в ямке. Остановиться и оглянуться боязно, вдруг, пока оглядываться будет, — обгонят, вперёд него до следующего поворота добегут! А о том не думают, что поворот этот последним может быть... Вот и получается, что у таких бегунов вся жизнь — сплошное безостановочное движение. Какие уж тут вехи, когда ни лиц не разглядеть, ни голоса услышать тех, мимо кого пробегаешь. Они, небось, не заметят и как тот, последний, поворот пробегут... А вот те, кто в ямках застревал, до-олго помнить будут, как из них выбирались. И чем глубже ямка была, чем трудней из неё выбираться было — тем и веха важнее...

Самой глубокой и беспросветной ямой была та, в которую её война сбросила. Прижав к груди новорожденного сына, она сидела на дне этой ямы, со страхом прислушиваясь к громоподобному топоту наверху. Круша глинистые края, к ней то и дело скатывались какие-то люди, которые или волчком крутились рядом, раздражая её тоскливыми завываниями, или тут же пытались выбраться обратно. Ей наверх не хотелось — там было страшно. Она думала, что если будет сидеть тихонечко на дне, то постепенно всё образуется, утихнет, восстановится... Не получилось. Белый листок с мёртвыми словами («Ваш... пал... храбрых...») медленно спланировал к ногам, и пока слова эти выжигались в её мозгу калёным железом, весь мир накрыла беззвучная и беззвёздная ночь.

Потом было много ям — глубоких и не очень, но из них она уже выбиралась без особого труда, ведь он ей помогал. Тот, который «пал». Та похоронка была ошибкой — жестокой, нелепой ошибкой, кандалами повисшей на ногах. Иногда она со страхом думала, что так и осталась бы на дне той ямы, если бы он не вернулся и не снял с неё те кандалы...

Марта Амвросиевна, часто моргая, схватилась за набалдашник непослушной трости, подтянула её, щёлкнула замком старомодной кошёлки, выуживая монетки из бокового карманчика, и судорожно вздохнула. Сегодняшнее созерцание, как сбившееся одеяло, давило под левой лопаткой, и Марте Амвросиевне хотелось скорее выйти из душной, тесной маршрутки, чтобы вдруг снова случайно не заглянуть в голубые глаза напротив.

Маршрутка остановилась. Но прежде чем Марта Амвросиевна пошевелилась, встал со своего места коренастый, абсолютно седой дед, что сидел рядом с голубоглазой старушкой. Неожиданно крепко и уверенно он подхватил старушку под локоть и повлёк к выходу. Он первым спустился с крутой ступеньки, она сошла следом, доверчиво на него опираясь. На мгновение они застыли, глядя друг на друга с нежностью. Голубки... А потом пошли, держась друг за друга. Они ступали по кочкам, как по равнине, уверенно перешагивая ямки.

Марта Амвросиевна вышла на следующей остановке и медленно направилась в сторону своего дома, правой рукой опираясь на крепкую трость. А слева от неё семенило Одиночество, повиснув на локте и преданно заглядывая в глаза.

Люди-человеки...

(Третий рассказ про Марту Амвросиевну)

Ещё издалека Марта Амвросиевна заметила две вещи: то, что её любимую скамейку снова перекрасили (собственно, это случалось регулярно — каждой весной), и то, что ставшая теперь тёмно-зелёной, как хвоя таёжного кедра, скамейка самым наглым образом... занята! И если к первому открытию Марта Амвросиевна отнеслась очень даже положительно, то второе её откровенно возмутило. Ну надо же такому случиться, что среди двенадцати скамеек, тянущихся по краю каменной дорожки и сейчас абсолютно свободных, эта парочка села именно на третью от входа в аллею, то есть на ту самую, которую Марта Амвросиевна давно и безапелляционно считала своей! Но, будучи достаточно упрямой, Марта Амвросиевна и не подумала присесть на другую скамью. Нет, она энергично двинулась вперёд, выбрасывая трость на расстояние двух-трёх семяющих шагов. Подходила к скамье Марта Амвросиевна с плотно сжатыми губами и независимым видом.

Удивительно, но парочка ничего не имела против присутствия Марты Амвросиевны. Парень лишь бросил взгляд на худощавую старушку со смешными буками на лбу, а девушка вообще не заметила её: глаза за тёмными очками были закрыты, а музыка, что звучала из недр огромных наушников, напрочь отгораживала её от звуков внешнего мира. От такого невнимания Марта Амвросиевна почувствовала ещё большее раздражение, поэтому демонстративно села спиной к узурпаторам. Она обхватила набалдашник трости обеими руками, сложив ладони горкой, нахмурилась и задумалась.

Вообще-то Марта Амвросиевна вполне понимала, что сидеть на этой скамье имеют право все, у кого такое желание появится. Вот пользоваться старым

креслом, обитым бардовым бархатом, которое стоит в углу её прихожей, она может разрешить или запретить. Например, Зойку из квартиры напротив Марта Амвросиевна всегда усаживает в это кресло, когда та приходит к ней попросить луковицу, а сама начинает жалобиться на нерадивую невестку (хотя зря она так, невестка у неё хорошая, до сих пор ни слова поперёк свекрови не сказала). Больше пяти минут Зойка такого гостеприимства не выдерживает: этого времени вполне хватает, чтобы самая прочная часть кресла — толстые, упругие пружины, давно прорвавшие и толстый поролон, и старинную обивку, добрались сквозь прикрывающее их тонюсенькое покрывало до объёмного Зойкиного сидалища.

«Чего ты! Иди, иди отсюда! Слышь, эй, чего уставилась?!» — раздалось позади. Марта Амвросиевна обернулась. Девушка по-прежнему пребывала в нирване, наверное поэтому её спутник, лишённый простого человеческого общения, разговаривал... с собакой. Хотя нет, разговора у них не получилось: псина молча сидела, подрагивая хвостом, и разглядывала прогоняющего её парня.

Странная это была собака. Тошная, грязная, видно, что давно, скорее всего всю жизнь, живёт на улице. И породу не угадаешь. Прямо, как в той детской песенке из Марты Амвросиевны детства: «Мой щенок похож немного на бульдога и на дога, на собаку водолаза и на всех овчарок сразу...» Забавная такая песенка была... А окрас-то, окрас вообще невиданный! То ли чёрный, то ли серый... Батюшки, да она ж седая! Марта Амвросиевна тихонечко охнула, собака обернулась. Оказалось, что глаза у бродяжки, как и у неё — карие.

Руки у людей тоже тёплые, но мамин бок был теплее. Хотя мне не так уж и часто перепало у этого бока погреться. И соски мне доставались уже почти пустые, а люди, гляди-ка, в чашках молоко делают, мно-о-ого... Может, у них мне будет лучше?... Молоко-то, оказывается, в коробках появляется, а в чашку его потом наливают. И не люди они, а люди. Нет, по отдельности они люди все-таки, а когда их много, то люди... Чего кричат-то?! «Найда, найда...» По собачьи, что ли, говорить учатся? Так это и не собачий язык, а какой-то совсем непонятный. Да и ни к чему им по-нашему разговаривать, главное, я по-людски понимаю... Ой, смеху-то! Это ж они имя моё говорят! Ну, конечно, они же по-нашему не понимают, я и не могу им сказать, что мама меня Ваввой назвала. Как только я глаза открыла, мама так и сказала: «Вавва», а они — «Найда...» Да ладно, Найда, так Найда, раз уж им так нравится... Хм-м, странно, чего это они суется, вещи выносят... Эй, стой, куда моё любимое кресло понесли?! Ничего не понимаю... Ну, хватит, хватит меня гладить, я же не кошка. Что? Посидеть здесь? А долго? Кто меня подберёт? Меня что, уронили, что ли? Ну, вы, люди, порой такие глупости говорите... Да поняла я, поняла — посидеть здесь. Сижусь. Давайте скорее возвращайтесь... Не поняла, чего они так долго-то. Я есть хочу. Темно-то как... под кустиком полежу пока, здесь теплее немножко... Здравсьте... Людей своих жду... То есть как это — не придут? В смысле — меня бросили? Да нет... не может быть... нет, ну как это... ау... ау... аууууууу!..

Марта Амвросиевна сидела, прижав сплетённые пальцы к левой щеке и округлив рот — оказывается, она вот уже несколько минут созерцала бродячую собаку. Странно только, что созерцание прервалось так резко. Почему Найда отвела глаза? Не захотела рассказать о себе больше? Или сказала всё, что хотела? Трусит вон по дорожке прочь от скамейки. Прихрамывает, голову опустила. Ну да, она же старушка уже, седая вон совсем. В старости-то все болеют: люди, собаки... У

Найды, наверное, перед снегом тоже косточки крутит и давление скачет. Ну, тут поделаться ничего нельзя, так уж мы — живые существа — созданы. Да и за мучения наши Господь воздаст непременно. А вот за мучения, что другие по вине нашей претерпевают...

Издавека, да со спины, казалось, что у девушки просто большие уши. А парень оказался тощим и длинным. Они тоже уходили от скамейки, только в другую сторону. Ну и правильно, им с Найдой не по пути...

Байкал

(Четвёртый рассказ про Марту Амвросиевну)

Марта Амвросиевна всегда мечтала увидеть Байкал. И хоть жила она не так уж далеко от Великого озера, мелкие каверзы жизни до сих пор мешали ей осуществить свою мечту. Но однажды вечером Марта Амвросиевна решила: «Всё. Хватит. Надо хоть раз взять и выполнить свой каприз. Хочу — и поеду!»

Такая своя бескомпромиссная решительность Марте Амвросиевне неожиданно понравилась, она её взбудоражила до румянца на бледных сухих щеках. Как будто пытаясь доказать всем (хотя кому?! Никто и не знал ни о её мечтах, ни о её замыслах), что слов на ветер не бросает, Марта Амвросиевна во время очередной прогулки решительно направилась в единственное известное ей турагентство, яркую вывеску которого она видела из окна маршрутки. Нельзя сказать, что Марта Амвросиевна чувствовала себя при этом совершенно уверенно — она немножечко боялась. Нет, не того она боялась, что изменит своё решение. Ибо, если человек колеблется, значит, он всего лишь предположил определённый исход событий, оставив при этом для себя возможность его отменить. А если уж принято решение — настоящее, созревшее и единственно верное, — то колебаниям места нет ни в душе, ни в сердце. Такое решение изменить невозможно, потому как время пришло быть ему исполненным. Марта Амвросиевна побаивалась одного: что её сбережений не хватит на оплату задуманного и ей придётся с позором ретироваться. А потом дома, записывая цифры столбиком, высчитывать процент необходимой экономии ближайших пенсионных выплат, чтобы оптимально быстро, но без вреда для здоровья, накопить недостающую сумму.

Ну зря Марта Амвросиевна изводила себя такими унижительными мыслями. Путёвка оказалась ей вполне по карману (не беда, на уход ещё накопим!). Улыбчивая сероглазая девушка выдала Марте Амвросиевне билеты и бумажку с пошаговой инструкцией, распечатанной, по просьбе клиентки, крупным шрифтом. Эту инструкцию Марта Амвросиевна изучала, пока добиралась до Иркутска поездом. Видимо, это оказалось довольно увлекательным чтивом, иначе как объяснить, что дорожные сутки, представлявшиеся путешественнице невероятно тяжёлыми, пролетели быстро, как юность. Тем не менее, времени Марте Амвросиевне вполне хватило, чтобы изучить, куда пойти, где свернуть и в какой автобус сесть, чтобы добраться до гостиницы.

Уже разместившись в своём номере и глаза в телевизор, Марта Амвросиевна думала, что, возможно, в какой-то из своих прошлых жизней она не мало путешествовала. Только это, по её мнению, было причиной невероятного чувства удовольствия, которое сопровождало её с момента принятия того самого решения. Марта Амвросиевна самодовольно улыбнулась, вспомнив, как легко и есте-

ственно совершала она доселе незнакомые действия. О да, обращение «милочка» к той худющей девице на рецепт... ресеше... тьфу, ре-сеп-ше-не (ой-ёй, бесовское слово!), так вот, «милочка» прозвучало вполне себе элегантно, в лифт Марта Амвросиевна вошла достойно, а то, как она плебейски любопытствовала, разглядывая гостиничный номер и щупая полотенца в душе, — так этого же никто не видел.

В назначенное время Марте Амвросиевне позвонили и сообщили о прибытии экскурсионного автобуса. Марта Амвросиевна уже была абсолютно готова, поэтому быстро спустилась и вышла из гостиницы. Она успела занять последнее свободное у окна место. Через пару минут, когда кучкой набегали последние пассажиры, свободных мест в автобусе не осталось совсем, и водитель наконец повёз Марту Амвросиевну к её мечте.

Когда реализация мечты постоянно откладывается, когда воплощению сокровенных желаний долгое время что-то мешает, предмет мечтаний обрастает вдохновенными эмоциями, и кажется, в конце концов, что нет ничего желаннее и прекраснее, что стоит только увидеть свою мечту — и познаешь райское блаженство. Марта Амвросиевна совсем не слушала экскурсовода, она просто не слышала его. И слова усталой женщины с микрофоном, и тихий гул голосов общающихся между собой пассажиров казались ей далёким шумом прибора. Вся она уже была там, на заветном байкальском берегу. И когда из окна автобуса уже можно было разглядеть блестящую водную гладь, сердце Марты Амвросиевны забилося от предвкушения. Ещё чуть-чуть, ещё совсем немного, и всё сбудется, всё ощутится: запах, мягкость воды, блеск волны на солнце и её шёпот, ласкающий прибрежную гальку.

Правдой оказалось всё, что слышала Марта Амвросиевна о Байкале. Воздух необычайно свеж и сладок, вода так прозрачна, что почти невидима. К тому же с погодой повезло, день стоял солнечный и яркий. Только в такие дни можно увидеть противоположный берег Сибирского моря, до которого, говорят, целых сорок километров. И вот, пожалуйста, как на ладони — острые, покрытые снегом, как сединами, пики Хамар-Дабана и облака, зацепившиеся за эти вершины. Это не облака низко летают, это Хамар-Дабан перед небом не склоняется.

Разочарованная, Марта Амвросиевна застыла на берегу, наблюдая, как прозрачная вода набегает на её туфли и тут же откатывается прочь. Она стояла, опустив плечи, и плакала, потому что душа отказывалась петь. Не трепетала душа, не ныло в груди, и счастье не душило её в своих объятиях. Вокруг была Красота, а ей хотелось Чуда.

Крик чайки, пронзительный и словно чем-то недовольный, вывел Марту Амвросиевну из тоскливого забытья. Этот в общем-то неприятный звук заставил её резко вскинуть голову. Чайка летела к берегу, похожая на летучую мышь, приближалась стремительно и неотвратно. В нескольких сантиметрах от испуганного лица старушки, она вдруг свернула, миг — и их глаза соединились взглядом...

...и Марта Амвросиевна, разрезая широкими крыльями воздух, полетела от берега. Она летела всё дальше и выше, иногда вскрикивая (не восторг ли исторгал из её горла эти странные, скрипуче-звонкие звуки?), иногда пикируя вниз, чтобы затем мощным рывком вновь подняться ближе к небу. Отсюда, сверху, Марте Амвросиевне казалось, что летит она над каменной равниной — так чиста и прозрачна была байкальская вода. И каждый камешек на разноцветном дне озера блестел, словно драгоценный, в золотой оправе солнца.

Берег, забитый людьми, виднелся позади тонкой полоской. Марта Амвросиевна упрямо летела вперёд, правда, чуть сбавила скорость. Она была не только

далеко от берега, она ещё была и очень высоко, так высоко, что солнце обжигало ей спину. Но, знала Марта Амвросиевна, лишь поднявшись выше своей высоты, можно заглянуть в глубинную глубь. А потому вперёд и ввысь, всё дальше и выше...

Крылья устали, они двигались медленно и трудно. Как долгий путь к мечте... Марта Амвросиевна уже давно молчала, птичий крик не рвался из её груди. Но утомлённые глаза всё вглядывались в глубину. И вот они заметили... Что? Непонятно... Надо ещё чуть-чуть выше... ещё чуть-чуть...

Вот и случилось. Там, внизу, упираясь ногами в Шаман-камень, прислонившись спиной к подножию Хамар-Дабана, лежал Байкал. Его длинные седые космы укрывали горные пики, могучие руки старик сложил на груди. Нахмутив лоб и сжав губы, Байкал выводил тихую тоскливую мелодию, и Марта Амвросиевна, обездвигив крылья, медленно поплыла навстречу этой бессловесной песне, задыхаясь от счастья, словно внезапно прозревший слепой.

А люди на берегу насмешливо поглядывали на замершую у кромки воды старушку, которая, удивлённо открыв рот и подперев щеку, неотрывно смотрела в небо.

Новогодняя ночь

(Пятый рассказ про Марту Амвросиевну)

Марта Амвросиевна давно разлюбила праздники. Она одинаково неуютно чувствовала себя и в свой день рождения, когда получала неизменные пожелания здоровья и «прожить до ста лет», и восьмого марта, потому что в этот день уже давно никто не дарил ей цветов. Но особенно тягостно в последние годы проживалась новогодняя ночь.

Сверкающая, поющая, танцующая, эта мандариновая ночь когда-то пролетала в одно мгновение, вспоминаясь наутро мимолётным видением. Тогда, в детстве, да и в юности, пожалуй, тоже её всегда было мало, а наступление каждого первого дня каждого нового года сопровождалось ощущением ускользнувшего чуда. Но почему-то верилось, что уж в следующую новогоднюю ночь долгожданное чудо непременно случится, оно ворвётся в дом и в жизнь ярким салютом и останется там навсегда!

Марта Амвросиевна подошла к окошку, облокотилась на подоконник и засмотрелась на сверкающий город. Стёкла у неё всю зиму не замерзали, лишь возле дерева рамы покрывались тонким ажурным слоем льда. К процессу утепления окон на зиму Марта Амвросиевна всегда относилась серьёзно, она долго и тщательно конопатила старой слежавшейся ватой каждую щёлочку на стыке рам, проталкивая её лезвием небольшого ножичка в глубину. Результатом этой кропотливой работы являлась возможность всю зиму, и даже в самые её морозные дни, быть в курсе дворовых событий, и неизбывная зависть Васьки — Василисы Петровны, живущей тремя этажами ниже. Ваську, тучную старуху, прикованную к инвалидной коляске и в любое время суток маячившую в окне, за глаза именовали не иначе, как Справочное бюро. Но на зимний период Марта Амвросиевна с удовольствием узурпировала это звание у соседки, потому что соопработники к работе своей относились халатно, конопатить окна не умели, и с наступлением морозов Васька могла наблюдать только за появлением новых снежных узоров на стёклах своего окна.

Зато Марта Амвросиевна видела всё. Казалось, что у неё вдруг открылось много глаз — так отчётлив и многомерен был мир за стеклом! Небо в звёздах, как в гирляндах; снег на крышах домов — искристо-белый; многоцветные квадраты окон, за каждым из которых непременно угадывается островерхий ёлочный силуэт... Улицы и дома сверкали радостными огнями, а Марта Амвросиевна лицемерла всё это великолепие, стоя у окна в комнате, погружённой в темноту.

Где-то на антресолях, упакованная в картонную коробку, лежит ярко-зелёная искусственная ёлка, пятьдесят сантиметров высотой. Марта Амвросиевна купила её лет десять назад, в тот год, когда оказалось некому принести в дом настоящую живую ёлку. Она долго читала приложенную к покупке инструкцию, затем насаживала на палку (ствол, стало быть) четырёхлапые, похожие на знак «плюс», пластмассовые ветки. В собранном виде ёлка имела непрезентабельный вид, словно кто-то над ней поиздевался, выстриг пушистость. Поэтому Марта Амвросиевна особенно тщательно украшала её, надевая на неколючие ветки стеклянные шары, занавешивая прорехи тонким блестящим дождиком, обматывая длинной гирляндой. Шары были новые, а гирлянда старая, привезённая Мартой Амвросиевной из родительского дома. Большие, с ладонь, узорные колокольцы, когда в них загорались разноцветные лампочки, отбрасывали на потолок и стены причудливые тени.

Несколько дней Марта Амвросиевна тогда ходила вокруг украшенной ёлки, пытаясь привыкнуть к ней, поверить в её новгородность. А за сорок минут до того как начали бить куранты, она деловито сняла с неё все украшения и споро разобрала на запчасти, уложив их снова в коробку. С тех пор Новый год Марта Амвросиевна встречала в темноте.

Уличный подоконник её окна был завален пушистым снегом. Неожиданно откуда-то сверху, судорожно махая крылышками, на этот снег спикировал маленький взъерошенный воробей. Он провалился в сугроб на подоконнике, из которого виднелась теперь только его головка с испуганными бусинами глаз и раскрытым в крике клювом. Марта Амвросиевна предполагала, что клюв был раскрыт в крике, самого крика за двойными, плотно закрытыми рамами она не слышала. Зато видела, как воробей безрезультатно пытается освободиться от снежного плена, подпрыгивает, бьётся, взметая снежинки. И тут раздался громкий звук: *боммм!* Это старые напольные часы из своего пыльного угла возвестили начало последних мгновений уходящего года.

Воробей словно услышал этот громкий звук, он замер, съёжился. *Боммм!* Марта Амвросиевна прильнула к стеклу — жив ли воробей? *Боммм!* Лёгкое веко — вверх, вниз, быстро-быстро. Жив! *Бомм...* Марта Амвросиевна схватилась за ручку, повернула её и дёрнула раму на себя. *Бомм...* Ах, ведь здесь две ручки! Поворот, рывок... *Бомм...* Спрессованная вата длинной сосиской упала на пол, ручка на второй раме повернулась с натугой... *Бомм...* Вторую ручку пришлось несколько раз ударить ладонью, чтобы она сдвинулась с места... *Бомм...* смахнула выпавшую вату, чтобы не мешала... *Бомм...* рывок... в лицо впился морозный воздух... *Бомм...* обеими руками сгребла застывшего в шоке воробья и вместе со снегом втянула в дом... *Бомм...* захлопнула одну раму (стекло уже матово блестело, покрытое тонким слоем льда), другую, и, словно ноги отнялись, опустилась на пол рядом с батареей ... *Бомм!*

Воробей чистил мокрые пёрышки, растаявший снег тонкой струйкой стекал с подоконника на пол. А в небе загорались новые яркие звёзды — это огни празд-

ничного салюта взлетали под счастливые, чуть пьяные, а потому бесшабашные крики людей. Там они цеплялись за невидимые облака и светили, светили, светили... Их свет сквозь стекло проник в квартиру Марты Амвросиевны и яркими вспышками разрисовал полотно потолка. Теперь здесь не было темно.

Следы на снегу

(Шестой рассказ про Марту Амвросиевну)

Первый снег всегда вдохновлял Марту Амвросиевну на длительную прогулку. Любила она пройтись по хрусткому снежку, вдыхая ещё мимолётную зимнюю свежесть и радуясь белизне покрова, скрывающего неприглядную осеннюю слякоть. В это время нет ещё отчаянных морозов, и даже снег на ощупь кажется чуть тёплым, а вроде бы и зима наступила — не самое любимое время года, но уж гораздо лучше, чем жаркое лето.

Прогуливалась Марта Амвросиевна сегодня как обычно неторопливым, можно сказать, ленивым шагом. По-воробыиному отрывисто и часто поворачивая голову то вправо, то влево, она разглядывала людей, идущих ей навстречу, и тех, кто обгонял её, подставляя для созерцания сгорбленные спины. Но нет, созерцать Марте Амвросиевне сегодня не хотелось совсем! А хотелось ей лишь дышать глубоко и идти так долго, чтобы её собственные следы, тонким контуром прорисованные на снежном белоснежном листе, скрылись за горизонтом...

Несмотря на медленность шага, Марта Амвросиевна постепенно догоняла высокого, острого в коленках и локтях старика, передвигавшегося, как и она, с помощью деревянной трости. Затёртая до блеска дублёрка и мятые, с выпирающими коленями шерстяные брюки не скрывали его цапельную худобу и неуклюжесть, скорее, подчёркивали их, болтаясь на теле, словно были с чужого, более масштабного плеча. Из-под шапки, на которой жалкие клочки кроличьего меха казались инородными предметами, торчали длинные сальные волосы седого цвета. Неряшливого старика сторонились все прохожие: приближаясь к нему, они инстинктивно делали шаг в сторону и торопливо уходили вперёд.

Внезапно старик остановился и замер, вытянувшись всем телом, а затем, словно кто под дых его ударил, согнулся пополам и рухнул на землю. Ноги в заско-рузных ботинках судорожно дёрнулись, прежде чем застыть в неловком положении, пустая матерчатая сумка, зажатая красными холодными пальцами, взлетела и плавно опустилась, прикрыв прореху на штанине. Женщина в длинном пальто, которая в это время оказалась рядом, пронзительно вскрикнула и засеменила прочь, старательно пряча в объёмный шарф презрительное выражение лица. Следом широким шагом прошествовал крепкий парень, хмыкнувший: «Во нажрался дед...»

Марта Амвросиевна охнула и схватилась за сердце — оно испуганно застучало. Ноги вдруг ослабли, в коленках появилась противная дрожь. Беспомощно озираясь, Марта Амвросиевна пыталась поймать взгляды прохожих, она протягивала руку в сторону бездвижно лежащего на холодной земле старика и шептала, заикаясь, задыхаясь: «Че...человеку плохо... ппомогите же...»

Прохожие, значит — идущие мимо. Никто не остановился, не склонился над упавшим. Никто не стал судорожно набирать 03. Почему?!

Марта Амвросиевна вдруг почувствовала прилив сил. Далеко выбрасывая трость, она решительно зашагала к старику. Это были самые трудные десять ша-

гов в её жизни, потому что она торопилась, почти бежала, потому что боялась опоздать. Добежав, Марта Амвросиевна склонилась над лежащим. Хриплое, прерывистое дыхание морозным облачком вылетало из его посиневших губ, слёзы отчаянья, словно по жёлобу катящиеся по морщинам, уже растопили снег под щекой. А пальцы правой руки судорожно скребли потрескавшуюся от старости кожу дублёнки с той стороны, где сердце.

Дёргая ремешок ридикюля, Марта Амвросиевна мелко-мелко закивала головой, завывала тоооненько, еле слышно, и упала на колени рядом со стариком. Дрожащие пальцы привычно нащупали в сумочке флакончик с нитроглицерином, выдернули пробку. Маленькая таблеточка сначала выкатилась на её ладонь, а потом оказалась во рту старика. Несколько томительных минут Марта Амвросиевна с надеждой вглядывалась в его бледное лицо, а когда дышать ему стало легче, она достала ещё одну таблетку. Для себя.

После сильных потрясений внутри всегда становится так пусто, словно душу вынули и унесли, не сказав, когда принесут обратно. Её, конечно, вернут, заштопают, подлатают, где надо, и вернут. Только до этого несколько дней придется жить без души. А это так невероятно трудно...

Кабельное телевидение

(Седьмой рассказ про Марту Амвросиевну)

Сегодня в жизни Марты Амвросиевны случилось знаменательное событие — ей подключили кабельное телевидение. Оно ей, собственно говоря, и не очень нужно было, так как с некоторых пор Марта Амвросиевна вообще перестала уважать этот «бестолковый ящик», который только «стрелялки да рылобитие» показывает. Но Зойка — «стервь назойливая» — все уши прожужжала: «По такому-то каналу — рецееептов!.. Пробовала рулетик один — вкуснятина! А по такому-то сериал идёт, там про девчонку одну, дура была... Ай, что тебе рассказывать-то, у тебя же нету кабельного... Ты не поверишь, Амвросиевна, так чисто показывает, так чисто, как нарисованное всё...»

Ну вконец замучила Зойка хвастовством своим! И когда однажды, возвращаясь из булочной, Марта Амвросиевна углядела на расхлябанной подъездной двери объявление, предлагающее пенсионерам подключение этого самого кабельного на льготных условиях, она, воровато оглядываясь, словно собиралась сделать что-то слегка неприличное, оторвала бумажную бахромку с длинным номером телефона.

Вечером, затерев грязные следы от сапог, что оставили в прихожей смешливые парни в форменных комбинезонах с надписью «ПланетаTV», Марта Амвросиевна насыпала на подоконник пшена для Стёпки (так она назвала воробья, что прибилась к её одиночеству в новогоднюю ночь и сейчас спал в своей коробке, спрятав голову под крыло), переоделась в байковую ночнушку и улеглась в постель. Повертев в руках пульт от телевизора, она припомнила, на какие кнопки нужно нажимать, чтобы переходить с канала на канал (шутка ли — их 120!) и со всей силы нажала на большую красную. Экран телевизора засветился... и через секунду тишину маленькой квартирки разорвал звук автоматной очереди! Марта Амвросиевна икнула от испуга и зажмурилась. Придя в себя, она на удивление быстро сориентировалась и несколько раз нажала на нужную кнопку на пульте — звуки стрельбы стали тише. На экране мелькали фигуры здоровенных мужиков в

камуфляже, их гортанные крики порой заглушали взволнованный голос быстро говорящего диктора, пытающегося объяснить телезрителям кто, где, в кого и почему стреляет. Марта Амвросиевна не стала слушать его объяснения, ей это было совсем не интересно, поэтому — оп! — одним нажатием большого пальца она переместилась в другой мир.

Здесь шла реклама. Рекламу Марта Амвросиевна любила — всё такое яркое и полезное, зубы белые, талии тонкие, лекарства лечат, а АОС моет всё, даже руки! Увлекательное зрелище, что ни говори... Только не долгое, к сожалению. Ну вот, закончился рекламный блок, и на экране отобразилось мужское лицо с широкой, как воды Дуная, белоснежной улыбкой (наверное, пользуется той зубной пастой, что сейчас рекламировали). Мужчина объявил о продолжении ток-шоу «Вы хотите поговорить об этом?» Марта Амвросиевна вовсе не хотела говорить о токе («чего о нём говорить-то, ток, он электричество и есть»), но переключать канал пока не стала, уж очень приятно улыбался ведущий. Только вот дальше разговор пошёл... нехороший какой-то разговор пошёл. Ведущий зачем-то стал выпрашивать у щуплого мужичонки с одутловатым лицом, сидящего на красном диване, зачем он регулярно украшает синяками такое же одутловатое лицо женщины, расположившейся на диване белого цвета. Потом эти одутловатые стали нецензурно кричать друг на друга, а ведущий, продолжая широкоформатно улыбаться, делал вид, что пытается остановить их перепалку. Иногда на экране мелькали заинтересованные лица зрителей в студии, от плотоядного блеска в их глазах Марта Амвросиевна почувствовала дурноту и сбежала с непонятного ток-шоу с помощью волшебного пульта.

На следующем канале кудрявая раскосая девушка как раз обещала рассказать о самых важных событиях в стране на сегодняшний день. Правда, сама рассказывать почему-то не стала, а передала слово специальному корреспонденту. Марта Амвросиевна немного повеселела — уж специальный-то корреспондент наверняка о чём-то хорошем поведает! Про достижения какие-нибудь, про подвиги... Не может быть, чтоб перевелись на Руси труженики да герои!

«Боженька милосердный, да что ж это такое-то!» — со всхлипом выдохнула Марта Амвросиевна. На экране пятеро «героев» пинали лежащего на земле человека, пинали размеренно, со вкусом, наслаждаясь каждым взмахом ноги в тяжёлом ботинке. Специальный корреспондент, захлёбываясь собственным голосом, сообщал о беспорядках на окраине столицы, перечислял количество жертв и пострадавших, а Марта Амвросиевна смачивала слезами тонкую сухую кожу на своих ладонях.

Телевизор давно уже был выключен, пульт заброшен глубоко под кровать (чтобы как можно дольше не возникало желание его оттуда достать), а Марта Амвросиевна всё лежала с открытыми глазами и беспомощно сложенными поверх одеяла руками. И виделся ей ботинок, что двигался, как маятник, туда-сюда, туда-сюда... «Звери, чисто звери», — шептала она подрагивающими губами. Переворачивалась на бок: «Во сто крат хуже зверей, у любой животины душа есть, а эти...»

Вдруг где-то внутри всколыхнулась память, вздохнула тяжёленько и выплеснула через край давнюю историю, забытое такое воспоминание из повседневной жизни.

Марта Амвросиевна была тогда просто Мартой — сероглазой пухленькой девушкой, отчаянной веселушкой и умницей. Несмотря на покладистый характер, подруг у неё было немного, а настоящая и того одна — белокурая Оля, родив-

шаяся на добрых восемь лет раньше. Оля в то время уже успела и замужем побывать, и сына с дочей родить, и вдовой стать. В общем, одна долю бабью куковала, перебиваясь редкими ласками бесперспективных женихов. Жила в своём доме, из хозяйства, кроме детей, собака во дворе на привязи да цветастая кошка Маруська, которая, как швейцарский банк, стабильно приносила доход... то есть приплод — в год три раза. Поэтому в доме не переводились котята мал мала меньше и всех цветов радуги. (Маруська сама была, как палитра художника-трудоголика, а разномастные коты, что под окнами караулили, почти все в своё время достаивались её внимания.) Оля замучилась пристраивать Маруськиных детёнышей, весь околотов уже кошачьим родством был повязан! И решила Оля грех на душу взять...

Марта застала подругу в тяжёлой депрессии. Оля сидела за кухонным столом и ревела тихо, горько, безысходно, размазывая тушь по щекам. Оказывается, накануне Маруська устроила хозяйке «весёлую» ночь с потугами, схватками и болезненными столами. Только если раньше Оля не принимала никакого участия в кошачьих родах (опытная Маруська сама прекрасно справлялась), то сегодня она заботливо караулила каждого котёнка и зачем-то уносила его в другую комнату. Прерывать процесс появления на свет детёнышей не представлялось возможным, поэтому мама-кошка позволила хозяйке, которой безгранично доверяла, временно принять на себя заботу об её потомстве. Она же не знала, что в соседней комнате для них приготовлена не мягкая перинка, а ведро с водой...

«Ооона на мменя... а-а-а!.. см-мо-о-отри-ит!» — рыдала Оля. Ей, не злобливой, не жестокой, и так было, мягко говоря, хреново. Решение утопить очередной Маруськин приплод зрело долго и мучительно, за время этих раздумий штук восемь или девять детёнышей благополучно подросли и, честно говоря, с трудом нашли тёплые местечки, кто у печки, кто у радиатора. Когда дошло до дела, руки у Оли дрожали, на душе, как говорится, кошки скребли, но другого выхода, увы, не было.

Только Маруське это объяснить не получилось... Отдохнув после последыша, она с трудом поднялась — материнский инстинкт звал на поиски. Оля спряталась под одеяло, лежала и слушала, как Маруська тяжело ходит из угла в угол, как она начинает метаться, не найдя нигде тёплых комочков, пахнущих так же, как она, как зовёт их коротким приглушённым мяуканьем, постепенно переходящим в тоскливый вой. Тогда Оля спрятала голову под подушку и долго так лежала, а когда тихонько выбралась из своего ненадёжного укрытия, то поразилась тёмной тишине, поглотившей дом.

Оля тихонько, боясь нарушить тишину, перекатилась на спину и открыла глаза. Маруська сидела на краю постели, её застывший, словно не живой, силуэт обволакивал яркий лунный свет. Она в упор смотрела на Олю, и во взгляде её не было злости или ненависти, а только недоумение и боль. И скорбная слеза, как маленькая луна, блестела в уголке немигающего глаза...

В эту ночь Марте Амвросиевне снилась Маруська в ночном чепчике, сидящая в кресле перед телевизором. Маруська слушала важные новости, смотрела, как на экране толпа бандитского вида котов атакует облезлую дворнягу, и, вытирая мягкой лапкой то и дело сбегаящие блескучие слёзы, шептала: «Люди, чисто люди. Мя... Хуже людей, у тех хоть душа есть...»

К Солнцу

(Последний рассказ про Марту Амвросиевну)

Если на календаре весна, это вовсе не значит, что на улице тепло, капель и лужи. Март выдался необыкновенно холодным, он зачем-то переманил у февраля ветер и каждый день буянил с ним на пару, гоняя по двору рассыпчатый снег. Марта Амвросиевна, давно соскучившаяся по солнышку, с утра до вечера сидела у окна, тоскливо поглядывая на небо. Чай остывал на подоконнике, бутерброд склёвывал вечно голодный Стёпка, который после трапезы, в порыве своей воробыиной нежности, взлетал на её плечо и чирикал что-то на ухо, а невесенняя погода по-прежнему скалилась по ту сторону стекла, вырисовывая на нём по утрам тонкие линии невиданных узоров. Тем радостнее было однажды, едва проснувшись и ещё не открыв глаза, услышать бойкий перестук — то по законной жестянке отбивали чечётку крупные, искрящиеся капли, стремительно срывающиеся с посеребривших сосул.

Марта Амвросиевна не сразу бросилась открывать окно. Встреча весны требовала определённой подготовки, и это был её собственный, тайный ритуал, выработанный годами поклонения зеленоглазой языческой богине Додоле. Поэтому, сдерживая внутренний радостный трепет, она тщательно заправила узкую кровать стёганым покрывалом, накинула на острые подушечные ушки посеребрившее от старости кружево и достала из шифоньера любимое платье из сиреневого панбархата. Платье давно стало велико Марте Амвросиевне — в молодости она была более пышнотелой, но, главное, не малое, да и кто её видит-то... Тщательно причесавшись, Марта Амвросиевна закрепила всё ещё тяжёлый, но абсолютно седой пучок волос праздничными шпильками с крупными искусственными жемчужинами на изгибе. И только тогда подошла к окошку и уверенным, размашистым движением рук распахнула скрипучие створки.

О, да, воздух совершенно определённо пахнет весной! Словами описать этот запах, нет, этот аромат! — невозможно! Пряный, тонкий, тягуче сладкий, он — смесь страсти и неги, и любой эпитет в его адрес кажется блёклым, неправильным. Да и зачем говорить о нём?! Им нужно дышать, дышать жадно, судорожно, огромными порциями, до боли в груди, до соли в глазах! И Марта Амвросиевна дышала, и глотала весенний воздух, навалившись тощей грудью на подоконник, и слизывала горьковатые слезинки, которые, проделав извилистый путь по морщинкам, застревали в складке губ.

В доме напротив, на третьем этаже, распахнулось окно. С высоты своего пятого Марта Амвросиевна увидела русую макушку — коротко стриженная девушка тоже радовалась весне, только её откровением были не слёзы, а смешливые переливы, почти не отличимые от капельной песни. Почувствовав ли, что за ней наблюдают, или просто потянувшись взглядом к небу, девушка подняла глаза, заметила Марту Амвросиевну и приветственно замахала рукой. А Марта Амвросиевна оторопела, вглядываясь в знакомое лицо, пальцы её рук сплелись и подпёрли левую щеку, губы раскрылись, образуя почти идеальную «О», — впервые в жизни она собиралась созерцать самоё себя.

Той весной она была влюблена. Нет, не в Мишаню из соседнего подъезда, который потешно краснел при каждой встрече и наполнял её почтовый ящик записками с наивными признаниями. И не в Кольку-разгильдяя — мечту той половины дворовых девчонок, которые не лили слёз при звуках голоса Юры Шатунова.

Она была влюблена в жизнь. Она испытывала невероятное счастье от того, что просыпается утром и засыпает вечером, её приводили в восторг дождь, снег и ветер, ей нравилось читать душещипательные книги и смотреть героическое кино. Ей безумно нравилось быть и знать, что она будет ещё долго-долго-долго...

А ещё у неё была сокровенная тайна... У каждого есть сокровенная тайна. Марта разговаривала с Солнцем. Конечно, не часто, Солнце ведь не Зойка-болтушка! Но один раз в году, в тот день, когда оно сбрасывало зимнюю дремоту, отогревшись в ласковых руках Додолы, Солнце протягивало Марте тонкий горячий луч и говорило: «Здравствуй!» И Марта говорила ему: «Здравствуй!» И от этого разговора внутри разливалось тепло, потому что молекулы любви начинали стремительно расщепляться, размножаться и заполняли всё, не оставляя ни малейших пустот.

Марта Амвросиевна почувствовала, как Солнце погладило её лучиком по щеке, и вдруг ощутила всепоглощающую лёгкость. Оторвавшись от пола, она бесшумно выплыла из окна. «Боже ж мой, — подумала Марта Амвросиевна, — если бы я раньше знала, что умею летать!» Глядя в небо, она летела, летела туда, куда вёл её взгляд, туда, где ждало её Солнце. Следом за ней выпорхнул из окна Стёпка. Он радостно чирикал и усиленно махал ослабевшими за зиму крыльями. Стёпка проводил Марту Амвросиевну до самых облаков и улетел вниз — ему ещё предстояло жить.



АЛЕКСАНДР РАЕВСКИЙ



Тихо от мороза, и душа тиха...

Дерево вечности

Раздвинув столб вселенского пространства,
Вознёсшись выше всяких облаков,
Стоит оно — могуче и прекрасно!..
И ствол окован кольцами веков.

В ветвях его гнездятся только звёзды,
Хоть проросло из зёрнышка-Земли...
Молчит оно. Его молчаньем грозным
Пропитаны ветра и ковыли...

В тени его незримой млеют дали...
И — как напоминанье о Суде —
В корнях лежат замшелые скрижали
И Книга человеческих судеб.

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич родился в 1951 г. в селе Алабуга Каргатского района Новосибирской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт, Иркутское пожарно-техническое училище. Служил в пожарной охране МВД, капитан в отставке. Печатался в областных, региональных, центральных журналах, в общих сборниках. Автор шести поэтических книг. Лауреат премии журнала «Наш современник». Член Союза писателей России. Живёт в Новокузнецке.

Две женщины

Пожилые женщины, подруги,
Вечерами ходят по округе,
Не спеша пройдутся по тропинкам,
Завернут к берёзам и осинкам —
Легче им дышать среди деревьев,
Чем в своей разрушенной деревне...
Та, что старше, — чопорна немножко,
В белой блузке со старинной брошкой,
Седовласа — симпатична, впрочем,
Сельская учительница в прошлом.
Что помладше, та в платке неярком,

Бывшая советская доярка,
В серой кофте, в платypiшке обычном,
Тоже с сединой и симпатична.
У одной ночных бессонниц муки,
У другой от доек ломит руки.
Пусть они по-разному прожили,
Но всегда друг дружкой дорожили.
Две судьбы закатных, две подруги
Не бесцельно бродят по округе,
Русские стихи с душой читают...
Все их сумасшедшими считают.

Видение

Равнина молчала. А сердце стучало...
Безмолвно и плавно — жалея не жалея —
Небесное войско к закату промчалось...
Один я остался на горькой земле.

Стою, очарован тоской несказанной,
Созвучной душе, недоступной уму,
Последний огонь провожу со слезами...
И холод межзвёздный, как данность, приму.

Но свято поверю, что войско вернётся.
И снова собравшись на битву со злом,
Возьмут и меня. И тогда мне найдётся
Копьё и кольчуга, и конь под седлом.

Пойму, позабыв всё, что мучило прежде,
Что свой средь своих я — и даль нам близка,
Сомкнувшись в ряды, в осенённых одеждах
И в шлемах победных мы будем скакать...

Стремительно-плавно, клубя облаками,
Умчимся к закату, растаем во мгле, —
Затопит безмолвьем, укроет веками...
А кто-то останется ждать на земле.

* * *

...Тихо от мороза. И душа тиха.
Сивая берёза. А на ней глухарь!

На столе горбушка. Луковицы две.
И тепла избушка, да примёрзла дверь.

Сатанеет стужа в костяном саду.
Никому не нужен. Никого не жду.

Глухо, как в берлоге. Занесён мой схрон.
Замело дороги с четырёх сторон.

Подоконник в льдинках, иней по краям.
В тишине один я. Одинокий я.

Щурится на старость молодость моя.
Подструнить гитару иль достать баян?

Конь мой бродит в дальних, тусклых выпасах...
Лучше б никогда я в рифму не писал.

Бродит конь мой в далях, гриву опутив...
Эх, башка седая, жалостный мотив!..

Уплываю в грёзы, наклонясь к мехам, —
Сам себе берёза, сам себе глухарь.

Кони

Не скажу, когда и где,
В воскресенье, в среду ли,
В Барабе ли, в Кулунде —
Лошади мне встретились.
Днём паслись невядалеке,
Пред грозой ли, после ли;
Их двенадцать в табунке,
По числу апостолов.
Вижу, есть среди гнедых
Вороны, рыжие...
Где же светлый пастырь их,
Почему не вижу я?
К ним навстречу побежал,
Радостно приветствуя!..

Вдруг один, косясь, заржал,
Звонко, но невесело.
Дружно все отозвались —
И степными травами
В даль внезапно понеслись,
Крылья вдруг расправили...
Вознеслись над ковылём,
Пропадают в мареве...
...Я побрёл пустой землёй
До села Комарьева.
Что спугнуло тех коней,
Думал обречённо я,
Что учуяли во мне —
Неужели чёрное?..

Вечная медсестра

В тот безымянный час войны,
Пшеничной копотью пропахший, —
В своих деяньях не вольны,

Как две взбесившихся волны, —
 Схлестнулись люди в рукопашной.
 Такая выпала судьба
 Им — сотне сильных и здоровых...
 Задохлась в топоте стрельба,
 И хряск сырой смешался с рёвом!
 Лопаткой,
 пулей,
 кулаком,
 Зубами,
 лезвием,
 прикладом!..
 Фашист, пропоротый штыком,
 В предсмертной судороге — падал...
 Тускнела кровь
 в пыли утра,
 Земля избитая дрожала,
 И медицинская сестра,
 Объята ужасом, бежала...
 Хватая воздух чёрным ртом,
 Кричала в страхе и обиде,
 В семнадцать лет увидев то,
 Что человек не должен видеть.
 Она бежала,
 по стерне
 Порастеряв бинты и вату...
 Так и осталась в той войне —
 Худой, безумной и косматой.
 Один лишь бой.
 Но той поры
 Ей на века уже хватило,
 И к званию вечной медсестры
 Она себя приговорила.
 ...Десятки вёсен позади.
 Июнь за форточкой бунтует!
 В палате женщина сидит,
 Всё куклам головы
 Бинтует...

Крещенский день

Улицы, дома и переулки	Холодно и солнечно на диво!
Сжала стужа жёстко и всерьёз,	Смолкли все земные голоса.
Так, что в рощах деревенских гулко	Что-то на земле происходило...
Лопались стволы седых берёз.	Что-то совершалось в небесах...
Глубина вселенская звучала	И никто не ведал, что в пределах,
Тонким-тонким звоном бубенца —	Где-то на задворках бытия,
Этой песне не было начала,	Тихо во дворе заиндевелом
Этой грусти не было конца.	Мальчик очарованный стоял.

Самому себе

Когда уже радость, казалось, не светит, Откуда-то с дальней, забытой межи Внезапно подует берёзовый ветер — И вновь станешь свежим. И хочется жить.	И вновь на износ станет сердце работать, Страдая за добрых, несчастных людей, Но всё-таки верить в хорошее что-то, Землёй любоваться и в небо глядеть.
--	---

Бессонница сгинет, тоска рассосётся, И снова потянет — сперва на восток, А после на запад клониться за солнцем, Как тот незащищённый зелёный росток.	Когда всё же свыше решат с похоронкой, Вернись с покаяньем к тому, что манит, — Всегда тебя примет родная сторонка, Найдётся могила. Господь сохранит.
---	---

* * *

Только не сжата полоска одна,
Грустную думу наводит она...
«Где же наш пахарь, чего ещё ждёт?»
Червь ему сердце больное сосёт...

Н.А. Некрасов

Прозрачно в лесу и прохладно, Туман молодой у опушки; И так-то опрятно и складно Сорока сидит на макушке. Тускнеет под солнцем осенним Овса перезрелая нива, Её от незваных соседей Кусты охраняют ревниво.	Но смысла им нет сторожиться, Природным служить оберегом, — Комбайна овсы не дождутся, А сгинут печально под снегом... С чего бы такого, не помню, Но мысль посетила внезапно, Что фермер не болен, не помер, — С налоговой вышел — и запил.
--	---

Азия

Май в казахской степи. Маки в алых рубашках.
В море маков бежит золотая казашка.

Под закатом густым пламенеют просторы...
Выше — розовый свет; дальше — синие горы.

Там равнина; там дол; там, на склоне уютном, —
Философский дымок у задумчивой юрты.

Пронеслись табуны за седыми веками,
Всё былое вдали улеглось облаками...

А казашка бежит, лепестки растревожа, —
Сколько воли гнедой, сколько юности, Боже!..

Сад

Предзimyю всю печаль передоверив,
Октябрь отщептал... В пустом саду,
Как на гравюре, чёрные деревья
Кривых ветвей явили наготу.

Примолкло всё: остывшие тропинки
И за ночь поседевшая трава,
И та скамейка с выгнутою спинкой...
...Листва так ломко хрустнула сперва;

Возню небесных хлябей укрощая,
Морозец молодойдохнул затем,
И падал снег... деревья превращая
В букеты свежих, сонных хризантем.

Захочется на миг побыть счастливым,
Любимым быть захочется опять,
Средь яблонь одиноким черносливом
В том белом сне без шапки постоять...

Но вдруг кольнёт, что всё не так отныне,
Что прежнего себя не повторить,
Вот — сердце есть, но в нём сверкает иней,
Вон — есть цветы, но некому дарить.

Русский Север

Средь камней изумрудная травка,
Глубже с метр — уже мерзлота.
Вроде, лето, а прут без антрактов
Стаи туч... и тоска ещё та.
Ещё та, говорю я, погода!
Голый берег под светом скупым,
Лишь у кромки тяжёлая лодка
Спит тревожно, как пёс на цепи.
Выше! к людям! к амбарам и избам,
К тем продутым ветрами местам,
Где отсутствуют всякие «измы»,
Жизнь сурова и с виду проста.
Там солёная рыба в подклетьях,
В тихих комнатах строгий уют;

Там на кольях развешены сети,
И поморы в бахилах идут.
...Тучи, тучи — сплошная морока,
Воздух даже на ощупь свинцов;
И в пальтишке стоит одиноко
Кто-то грустный, как трезвый Рубцов.
Эта близость студёного моря,
Эти сивых туманов слои...
Храм бревенчатый стойко на взгорье
Держит ржавые шлемы свои.
Он давно уже необитаем.
Лишь в окошке глухом в тёмный час
Жёлтый отсвет дрожит... словно тайно
Кто-то молится. Может, за нас...

* * *

Дорогие поэты, витии,
Изливаячи горе своё,
Не кричите: «Пропала Россия!»
Что ж мы сами хороним её?

Сила Божья сокрыта в поэте.
Если так голосить в темноте —
В безнадёгу срываются эти,
И злорадно хихикают — те.

Посмотрите: трава серебрится
В переливчатых росах утра...
Размечтайтесь — и райская птица
Тихо сядет на кончик пера.

Вы прислушайтесь: музыка льётся,
Из глубинных высот нисходя;
И в два зубика звонко смеётся
На руках материнских дитя!..

Мы приходим лишь раз, вы поймите,
Никого не виню, не учу,
Просто жизнь — это жизнь, а не митинг,
Просто сам я такого хочу!

В поднебесье окно растворите,
В грозовых облаков кутерьму...
Удивляйтесь. Любите. Творите!
...А Россию не дам. Никому.



ВЛАДИМИР ШАВЁЛКИН



Пашина душа

РАССКАЗ

Как-то ходили семьёй на портовское кладбище помянуть Павла. Сын нашёл неподалёку от погоста красивый цветок, не похожий на другие. Подумал: «Он, как Пашина душа, — редкий».

Павел умел играть на гитаре. В молодости, подвыпив, в девчоночьей компании. Некоторым девам нравилось, как он поёт чуть сдавленным негромким голосом. Иным нет.

— Напьётся и сопли пускает! — говорила темнокожая гуранка Таня.

Женщины в зрелости просили спеть его про «Женщину-птицу»... Я просил другую, отражавшую моё настроение, там были такие слова:

*Слишком много до неба ступеней,
И пока я к Богу шёл, как мог!..*

Познакомились мы, когда Валя, подруга нашей семьи, у которой часто отдыхали на Байкале, оставшись без мужа, заметила через некоторое время одинокого

ШАВЁЛКИН Владимир родился в 1963 г. Закончил Иркутский госуниверситет, филологический факультет, отделение журналистики. Рассказы и стихи выходили в коллективных сборниках Союза писателей, а также в газетах и журналах Иркутской области, Красноярска, центральной прессе, за рубежом. Лауреат региональной конференции «Молодость, творчество, современность», дважды входил в шорт-лист фестиваля «Литературная Весна», отмечен на литературном фестивале «Хрустальный родник». Член союза журналистов России.

рыбака Павла. Он по несколько раз на дню, проходя мимо высоких окон её дома-дачи, пронесил то весла, то сети, то что-то наподобие велосипеда. Под берегом у Павла стояла дюралевая лодка без мотора. Ну, раз познакомились с рыбаком — без рыбы не останешься. Какого только потом омуля мы не едали! И холодного, и горячего копчения, и малосольного в растительном масле, и свежего жареного, и в котлетах из рыбного фарша...

Чтобы есть, надо рыбачить. Паша стал брать меня с собой проверять сети. Иногда на вёсла садил, грести. Или крутить педали катушки-велосипеда, куда наматывается белая полипропиленовая бечева километровой длины, потихоньку поднимая сеть со дна. Он сам смастерил сие хитроумие — всё не руками тягать-тащить сети, а ногами, сидя в лодке. Тянуть тяжёлую сеть через пупок из тёмной, даже чёрной в глубине воды Байкала нелегко!

— Маракотова бездна, — говорил про неё Паша.

Странно, что эта темнота и чернота — наверху прозрачна, как хрусталь! И омуль, попавшийся в сеть, когда до поверхности остаётся метров двадцать, — его уже достают лучи солнца — начинает, выгибаясь, взблескивать и серебриться.

В этой маракотовой бездне один раз целый день, на глубине метров в восемьсот, искали три связанные вместе сети при помощи «кошки» с зацепистыми крюками. Накануне мы выставили их с помощью Кирилла, здорового парняги, черноволосого и бесшабашного во хмелю. У Кирилла была лодка с мотором, и он уговорил Пашу на малых оборотах потихоньку стравить бечеву, чтоб потом выбросить сети. Вроде, и обороты были малые, а где-то винтом бечеву всё же перерубили, и три сети длиною с километр канули в бездну. Паша, как всякий суеверный рыбак, вздыхал:

— Не хотел же я с Кириллом ставить! С ним всегда чё-нибудь бывает. Не сети жалко. Рыбу они губить будут на дне, пока сгниют...

Меня Паша стал брать в лодку, когда увидел, что рыбалка со мной не бывает совсем бесплодно-пустой...

Так за целый день кошкой, гребя туда и сюда вёслами, приблизительно там, где выкидывали сети, мы по июльской жаре на небольшой волне ничего не поймали. Три раза цеплялись за что-то на дне, но всякий раз эта зацепка срывалась.

— Скала, наверно, — говорил Паша.

К вечеру меня качало, кожа, итак коричневая, стала красной от загара, усиленного отражённым в воде солнцем. Хорошо, Валя на берегу ждала с вкусным и сытным ужином.

Хоть Байкал — озеро, но у него при такой массе воды существуют подводные глубинные течения, так что сети могло утартать к Ангаре, что вытекает тут из озера. Один раз здесь совсем близ берега, метрах в пятидесяти, перевернулась моторка с пьяными мужиками. Мужики то выплыли, а мальчишка, что был в лодке с ними, нет. Тщетно потом его искали водолазы — сгинул парнишка. Байкал не любит пьяных, а расплатились не пьяницы, а светлая, должно быть, ещё мальчишечья душа. На том месте, где перевернулась моторка, неподалёку старый чёрный из шпал причал. И много лет уже на нём висит поблекший веночек для ненайденного мальчика...

Однажды в пору только начавшегося романа белобрысый, с ёжиком жёстко торчащих волос на макушке, чаще всего в рыбацкой робе — простые грубые штаны и спецуха сверху, — Паша на просьбу цыганистой Вали покатасть её, согласился, хоть и считал, что баба в лодке нехорошая примета. Черноволосая дородная

Валя звонко смеялась, и смех относилось по воде на скалистый, прогретый, белый от камней и жёлто-коричневый от песка и глины берег. Отгрёбся Паша, наверное, с полкилометра вглубь. А тут откуда ни возьмись, задул северо-запад, усиливаясь, и лодку медленно и верно стало сносить ещё дальше в озеро. Мотора Паша не заводил по каким-то своим приметам, да и по небогатству. Он увидел опасность и стал сильнее грести, стараясь свалить лодку ближе к Ангаре, где ему уже поможет течение. А по берегу бегал в тревоге его родной брат Коля, постарше Паши лет на пять. (Потом, когда Коля умрёт, готовясь к похоронам, Паша будет ругать родную сестру Лену за выпивку и небрежение к телу, которое мы укладывали тогда с ним в гроб: «Чё тебе, кутёнок, что ли?») Бояться было чего — до другого берега километров сорок, и в открытом море на волне с вёслами без мотора почти верная крышка. Так однажды отец Кирилла, попав в шторм на «Казанке» с мотором, шёл против волны, чтобы не захлестнуло водой, через всю ширину озера-моря. На том берегу рыбаки удивились, как он выплыл. Многие тогда не вернулись домой...

Коля уже было бросился в порт, где стояли корабли, — спасать братана. На силу Паша выгрёбся, но Валю больше на глубину не катал, так у бережка, где скалистые сопки надёжно защищают от ветра порт-посёлок.

Кстати, до меня Паша рыбачил с деверем Виктором, мужем Лены. И с братом Колей, отчаянным пропойцей. Таких пьянчуг, уходивших в запой на недели, в порту было человека два-три...

У каждого мужика на Руси есть своя философия. Летом, идя по берегу, видел, как сроднички отплывали от каменной стенки парапета, защищавшего от волн прижавшуюся к скале старую Кругобайкальскую железную дорогу. Лодка вспрыгивала на гладких прозрачных волнах. Мужики о чём-то громко бранились, доказывая каждый своё. То ли куда сети ставить, то ли где рыба... Эти споры-ссоры Паши и Палыча, Виктора Павловича, потом я слышал не раз. И о политике, и о географии. Обо всём на свете... Кстати, когда я доказывал Павлу, что в то время, как у нас осень, в южном полушарии, в Австралии, весна, он никак не верил.

Мир так и не взял сродников, так что рыбачить они вскорости стали отдельно. Паша был ещё тот философ. Когда шла война в Чечне, он предлагал отгородиться от чеченцев стальной завесой. А если будут лезть, бомбить их территорию ракетами. Он считал, что не нужно государство, правоохранительные органы и суды, считая, что люди сами могут между собой договориться.

— Ты, как Лев Толстой, — заметил ему. — Всегда среди десяти найдётся один такой, что захочет жить за счёт других, не работать и кусок пожирнее получать.

— Заставить тогда его работать! — горячился Паша.

— Как ты заставишь, если не милиции, ни суда, ни государства нет?! Кто будет заставлять?

Это диссидентство довело Пашу ещё в советское время до психушки. Он работал на оборонном заводе в областном городе, собирал какие-то детали, причём очень быстро. И до того освоил это дело, что стал выполнять нормы две, а то и три за смену. Но платить вместо двухсот рублей четыреста или пятьсот в месяц начальство завода и цеха не захотело, и стало завышать норму. Паша стал спорить. Руководители после очередного скандала вызвали бригаду «скорой помощи» и упекли артачившегося Пашу в психбольницу, где у него расстройства, конечно, никакого не нашли. Но мудрые доктора посоветовали уволиться с завода, а то в следующий раз расстройство может быть и найдено...

Так вернулся Паша не солоно хлебавши в родной посёлок. А тут уж грянула

перестройка, и работы в порту, через который раньше шли водным путём грузы на БАМ, не стало. Начал приторговывать спиртным с братом, дело это было прибыльное в рухнувшем тогда российском государстве. Но не им бы торговать палёным спиртом, когда сами его потом употребляли, уходя в запой.

— Один раз мне чуть крышу не сорвало, — рассказывал Павел, завязав с этим позорным делом. — Все покойники порта, кто недавно помер, прошли перед глазами!..

Вот тогда он и начал рыбачить. Дом его мне напоминал корабль или большую лодку. Чтобы подняться на террасу к дому (порт — посёлок между сопок, и дома лепятся у их подножий, как ласточкины гнёзда), была приспособлена лестница со списанного корабля или катера, состоявшая из четырёх крутых железных ступеней с поручнями. Баба Тоня, тётка Паши, пожилых лет, со сморщенным и уже сжавшимся личиком, часто смаргивающая глазами, жившая в соседнем с ним ухоженном уютном зелёном домике, часто не решалась взобраться к племяннику. Если кто-то взбирался всё же по лесенке в одичалый Пашин двор, — он жил бобылем, грядки, если сажил, едва ли полोल, и всё зарастало буйно крапивой, пылью и другой сорной травой, благо, сырости от Байкала и ручья неподалёку в низине хватало, — то видел слева у полузаваленного забора поленницу дров, покосившийся деревянный туалет без крыши, всегда с открытой дверью, закрывалась та только по крайней необходимости. Вступая на крыльцо сеней, входящий уже чуял густой рыбный запах. Потом гость втискивался в большие полутёмные сени с бетонным полом, загромаждённым разным барахлом — сетями, кадушками, ушатами, тазами с рыбой для кошек. Сей бархатной твари у Паши было штуки четыре-пять. Старшую звали Мотя, и она регулярно приносила приплод, который Паше было жалко топить. Вот и развелась эта полудикая стая-орда кошек, шархающаяся при входе под ноги, едва при этом не сбивая...

И уж затем ты проникал через другую толстую тяжёлую дверь из темноты в избу. Тут тускло горела даже днём жёлтая электрическая лампочка. Справа стоял кухонный стол с неубранными объедками, слева темнела большая русская печь, давно небеленая и некрашеная. Её Паша редко топил, сидя даже зимой на подпольных, в прямом смысле, обогревателях. В подполье у него стояла электроустановка-щиток. Так приворовывал у обнаглевшего тогда в лице новых нуворишей государства Павел.

В горнице был большой диван, телевизор в углу, направленный на диван крупный обогреватель-тарелка, сервант с книгами у стены-перегородки, а на стенах, о чудо, старинные иконы в деревянных окладах и старый медный же крест! Паша не то чтобы был верующим (правда, у Бога ничего случайного нет! — подумал сейчас...), он был коллекционером, собирал антиквариат. Водился в областном центре с подобными ему любителями старины, значков, медалей, марок. Но к вере с годами он стал относиться внимательней, особенно после общения со мной и моей женой.

— Что-то есть, — говорил он, не решаясь всё же идти в храм.

Как-то после очередного запоя почти затащил его на исповедь, но храм, как назло, в этот день не работал...

— Нашкодил, — говорил тогда Паша про себя, — и сразу идти сдаваться! Как-то неудобно, надо хотя бы маленько в себя прийти.

— Да, именно так, нашкодил — и иди грехи сдавай. Все мы шkodим, только по-разному.

Про пьянку всё ведь понимал этот неглупый русский мужик. Как-то Паша заметил: — На коленки-то легко упасть, попробуй с коленок подняться...

Я видел, что это такое — падение в бездну. Тут, действительно, уже в силу вступает нечеловеческая inferнальная сила, по-русски, — бес. Приехали мы как-то с женой в порт на Рождество. Паша с Нового года был с Колей в запое. Когда пришёл в его дом вечером, увидел никакого Пашу. Всё белое его бескровное лицо расплывалось в бессмысленной гримасе, когда он пытался улыбнуться мне. Они с братаном в повал лежали на большом диване, почти одетые, в телогрейках и ватниках, разве что без шапок. Очнувшись от сна, что-то замычав, Паша потянулся к бутылке, она стояла тут же, налил, выпил. На табуретке рядом валялись бычки, стояла закуска — капуста, огурцы, огрызки хлеба. Ничего путного в этот миг не мог добиться от Паши, он мычал что-то вроде, что стыдно, а всё тянулся дрожащей рукой к бутылке. Собравшись кое-как с мыслями, он выдал мне:

— Ты единственное светлое пятно за все эти дни...

Коля, проснувшись, тоже выпил — он уже никого не стыдился. И они опять свалились на диване в дикий беспробудный сон под не выключенный, что-то бормочущий телевизор. Я ушёл с тяжёлой душой и уже в полночь из своего двора видел светящиеся мутным жёлтым светом окна Пашиного дома, когда все в округе спали без света. И знал, что за этими окнами дьявольская сила сковала две души, глумится над ними, и ничего не мог сделать в тот час. Только молился. Свет в Пашином доме горел потом и утром, и днём.

Я позвал сестру Паши Лёну. Она хоть и любила выпить, но не до умопомрачения. С бабой Тоней и Лёной мы уговорились увезти Пашу в город, в отделение наркологии. В полдень Палыч, крепкий ещё и здоровый мужик, войдя в дом, поднял Колю за грудки, тряхнул:

— Ты что тут приклеился?! Знаешь, что у этого деньги есть! Пошёл отсюда! — и вытряхнул Колю за порог.

С Лёной мы кое-как собрали Пашины шмотки, одели его. С Палычем загрузили на коляску мотоцикла и повезли на пристань, к катеру. Паша в катере лёг на скамейку, его трясло. Пришлось купить большую бутылку пива. Он то и дело, очнувшись от полусна-полубессознательного состояния, из бутылки отхлёбывал. Ох, и намучился я с ним в городе! Когда ночью в квартире пытался спрятать бутылку, запах которой мне в тот миг казался поганым, думал, что после этого никогда не буду пить пиво, Паша дрожащей рукой всё тянулся и просил-давил: «Дай, дай!..»

Даже утром перед больницей (боялся, что его не примут с запахом) всё равно отхлебнул и с собой взял. Только когда забрали вещи и его, в отделении отдал бутылку мне. Я вам скажу, что с этой бедой — алкоголизмом, как и с наркоманией — без Бога не справиться. Мне одного дня и ночи хватило, чтобы почувствовать, почувять, что за сила, многократно превосходящая твою, стоит за этими скованными дрожащими руками, давящим шёпотом: «дай, дай», гримасой на лице. Никакое программирование, вшивка ампул тут не поможет, временно всё это. На крючке человеческая душа, а удочка у беса. Только Господь может снять с этого крючка окончательно! Людей с чудовищной силой воли, способных такое самостоятельно сделать, не встречал...

На следующий день, когда пришёл в больницу, Паша уже был обычным, нормальным, даже умным русским мужиком...

Как-то на Пасху мы опять были в порту, с бутылочкой вина. И Павел, посидев с нами, даже немного отпив, под моё предупреждение — смотри, не сорвись —

дальше не развязал. Жена подарила ему книгу о святой Матроне Московской, и он с интересом её читал.

Наезжал зимой к нему на Байкал, бродил в полной глубокой тишине у озера, которое встало только в конце января. По морю после заката шли во тьме звоны, непрерывная канонада! Лед, устаканиваясь, гудел, ухал, трещал, лопался. Похоже было на гул церковных колоколов! А над всем этим в чёрной бездне великолепно сияла звёздная люстра с красными, синими, голубыми, жёлтыми, зелёными звёздами, каких в городском чадающем смоге и не разглядишь!

Байкал непрестанно удивлял. Как-то Паша видел с лодки в море аж четыре радуги! И два солнца!

Интересно было и на подлёдной рыбалке зимой, когда мы тянули бечевой выставленные по малому льду сети...

С утра Паша в робе с самодельными деревянными санками вышагивал вперёд меня по необозримому белому полю Байкала, по одному ему известной тропе. Подвьюживало, мела позёмка. На санях ванна для рыбы, пешня — отдалбливать полынью, сак, мотки верёвки. К толстым ватникам Паши под фуфайкой приторочен на ремне острый нож — не дай бог зацепиться в сеть, может под лёд стащить, тогда только режь. Паша интересно, не утираясь, сморкается на лёд, приложив ладонь в толстой тёплой шубёнке к носу и щеке тыльной стороной. С нами увязался помогать портовской бич-пьянчуга Анатолий. Жрать нечего в его холодной халупе, а Паша даёт порченной рыбы, что не идёт на продажу, и мелочь, голомянок, на фарш. Едал я котлеты из этого бычкового и голомяного фарша — жена моя сготовила — пальчики оближешь!

У Анатолия голубые глаза, широкое, пропитое, как мягкая подушка после ночного сна, лицо. Он быстро говорит, тараторит и немного суетлив. Но бечеву тащит исправно. В километре от берега две полыньи. Одна больше, где сеть. Другая маленькая, с выходом бечевы, в метрах пятидесяти от главной. Рядом пригорки из кусков льда. Полыньи уже настыли тонким слоем после рыбалки. Отдалбливаем их тяжёлой пешней с петлёй на черенке, её надеваешь на руку, дабы не юркнул в чёрную ледяную воду инструмент. Белое образовавшееся крошево из воды вычерпываем металлической сеткой, выкидывая рядом на снежные бугры, — вот отчего они образовались! Боязно ходить у полыньи — под чернотой глубина в сотни метров, откуда уже, если нырнёшь, невзначай поскользнувшись, вряд ли выплывешь. Мы, как бурлаки, втроем тянем бечеву в малое окно проруби, сети поднимаются медленно. Когда они уже почти подходят к поверхности, мы с Пашей бросаем бечеву Анатолию, а сами спешим к большой полынье вытягивать сеть руками. Тяжело из ледяной воды тащить эту капризу. Омуль выщёлкиваем на лёд, где он, ещё живой, трепещет, коченея в серебре из чешуи и снега. Бычки в прозрачной воде похожи на бабочек! То сиреневые, то красноватые, то блестяще-чёрные, с большими пышными плавниками! Когда сеть вытянута, Паша начинает её аккуратно стравливать обратно, чтобы не перекутилась. Анатолию кричим:

— Трави верёвку!

Он опускает в полынью намороженную пропиленовую бечеву, тоже поглядывая, чтобы не перепуталась, не зацепилась и не ушла вся под воду — конец должен остаться неглубоко под водой, на поплавке, чтобы можно было крюком достать. На мотоцикле с коляской по льду к Паше подъезжает покупатель, мужик из порта. К нему приехал родственник — надо угостить свежим омульком. Паша гонтарем отвешивает ему из полной ванны килограмма три добротного омуля. Мотоциклы —

основной транспорт порта. Тут и запах основной, особый на земляной дороге от бензиновых выхлопов мотоцикла. Машинам тут ездить некуда, разве по ледяной трассе зимой. Или на паром летом да на кладбище.

Остальной улов, удачный, если ванна полная, Паша позже разнесёт по старухам, что с пенсии отдают ему деньги за рыбу. Иногда рыбу берут портовские коммерсанты, что коптят омуль и после продают его за Ангарой в Листвянке втридорога. Если б сам рыбак торговал через реку, давно б мотор купил, новые снасти и ещё кое-что. Но у Паши нет жены, как у других рыбаков, что с рыбацких денег даже строят дома. Листвянка связана прямой, самой близкой дорогой с Иркутском — всего-то семьдесят километров до областного центра. Заработок у Паши в месяц выходит тысяч семь, восемь. В городе я получаю десять, с таким же графиком работы, особо не напрягаясь. Паша ведёт журналы, где отмечает, как по годам и месяцам идёт рыба. Кстати, мужичок-то с омулем забуксовал на горке в порту — видим это, когда уже с добычей выходим на берег.

— Не люблю его, хитрый, — кивает Паша в сторону ревающего мотоцикла, что юзит по гололёду.

— Все люди разные, всего у всех намешано, — крещу в спину мотоциклиста. И мотоцикл хватается за землю, вцепляется в неё и всё же взбирается в гору.

Паша мне отваливает полный рюкзак омуля, за работу.

Через два-три дня, если не сильный ветер — хиус или мороз — он опять тронется снимать сети, уже без меня. А меж этими выходами сидит в доме, вытаскивает из брошенных старых вещей всякие блестящие поделки, смотрит телевизор, пьёт сыворотку, что я привёз ему. У Паши язва, он так её лечит, без помощи таблеток пока. В городе он бывает редко. К Вале зимой раза два наведается. Подарил ей шубу со своих небогатых заработков на день рождения. И портрет её в золотистую рамочку, собственного производства, облёк. С коллекционерами появляться опять же надо.

Оказывается, была у него до Вали в городе зазноба. Как-то в порту Паша, расстроенный, рассказал, что вызывала его, сказала, что в положении.

— Хочешь, рожай, — предложил он ей. Но зазноба, видя, что Паша не даёт никаких ручательств на совместное проживание, сделала аборт.

— Женщинам нужно больше гарантий, — заметил ему.

Позже, когда запьёт он в очередной раз, к нему в больницу не придёт и Валя. И он будет вздыхать, выйдя со мной оттуда:

— Да, теперь вижу, на кого можно положиться...

— Паша, ты уж бросай это, завязывай окончательно, — советую. — А то петушок может и не успеть спасти, — напоминаю ему русскую сказку.

Портовских коммерсантов, разжившихся и разжиревших в девяностые, что завели магазины, — в советское время был только один — высокий, деревянный, с большим крыльцом, окрашенный в зелёную краску, — Паша не уважал. Считал, что продукты можно купить самим в городе, дешевле, особенно на оптовке. А тут всего за перевозку с пенсионеров лишку дерут. Но сам тоже пользовался коммерческими, когда государственный сгорел.

Летом у Паши явился ещё интерес. У поржавевшего гаража из шпал на берегу, обитого листами жести, крашенной суриком, где рядом лежит и Пашина лодка, — по пьяни и злым спорам её уже раза два пробивали ломом, Паша заделывал потом пробоины, — он с Митричем, мужем местной учительницы, резался на деньги в шахматы. Плескал хрустально-прозрачный Байкал неподалёку у ног, шумела от

волн галька. А они часами сидели на деревянном приступке гаража, мерились силами и успехом попеременно.

Однажды летом я заночевал у Паши, собираясь ехать за голубикой. Паша чинил сети, опять что-то мастерил за перегородкой у как всегда бормочущего телевизора. И вдруг красиво запел, громко подхватив песню Глызина, зазвучавшую в тот момент с телеэкрана, — «Летний вечер в Сорренто нас погодой не балует...». Я даже проснулся...

Когда он умрёт, эта песня долго будет ранить меня словами: «Вот, и кончилось лето, до свиданья, Италия. Мы с тобою прощаемся, наша песня допета...»

Я не успел, как и говорил, в четвёртый раз увезти его в наркологию. Осенью он запил, но как-то сам выполз. Лукавый хитёр. Он добил его в декабре. Паша звонил мне по городскому номеру, сотовых ещё не водилось. А я переехал в другой дом, где телефона не было...

Целый год после похорон не мог ездить в порт. Тяжело терять друзей...

Уже много лет, как нет Паши. После его смерти очень переживала младшая дочка Вали Тоня, которую он отчасти воспитал, сойдясь с Валею, когда Тонечка была ещё подростком. Однажды, незадолго после кончины, Паша приснился ей и сказал:

— Тоня, я не умер!

Так, чистым, молодым, ещё неопытным, но искренним сердцам даётся утешение — посылаются весточки с того света...



История создания картины «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года»

За годы правления Ивана Васильевича Московское государство превратилось в Великое Царство. Были присоединены к Москве:

— Казанское ханство (ныне территория Чувашии, Татарстана и Ульяновской области). В 1550–1551 годах Иван Грозный лично участвовал в Казанских походах. В 1552 году была покорена Казань. Были освобождены многие тысячи христианских пленников, обеспечена безопасность восточных рубежей. Тогда князь Михаил Воротынский прислал Иоанну гонца со словами: «Радуйся, благочестивый Самодержец. Казань наша, царь её в твоих руках, несметные богатства собраны. Что прикажешь?» «Славить Всевышнего», — ответил Иоанн. Тогда же он обрёл прозвище «Грозный» — «то есть страшный для иноверцев, врагов и ненавистников России»;

— Астраханское ханство (ныне территория Астраханской и Волгоградской областей, а также Калмыкии). Астраханское ханство было покорено в 1556 году;

— заселено северное Черноземье (территория Орловской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей);

— завоёваны Северный и Центральный Урал, а также западная часть Сибири;

— Грозный отправил первую жалованную грамоту донским казакам 13 января (по новому стилю) 1570 года;

— принял под свою власть первые народы Северного Кавказа, чьи князья пожелали служить Царю.

Иван Васильевич провёл важные административные реформы:

— судебную реформу, принял Судебник — первый свод законов Московского Государства, разделённый на параграфы. Сравнение Судебников показывает, что законодательство Ивана IV было более гуманно, нежели предыдущее и последующее. Царь не только стоял на страже закона, но не нарушал и установленные обычаи;

— создал систему местного самоуправления (ввёл земское самоуправление);

— создал регулярную армию (в 1556 году Царь издал общее уложение о военной службе помещиков и вотчинников);

— провёл коренную административную реформу и создал государственные ведомства (первым был Посольский приказ), ввёл наказания для чиновников;

— своим указом запретил употребление спиртных напитков, кроме праздничных дней;

— к эпохе Грозного относится начало казачества;

— основал книгопечатание. Оно появилось в 1563 году в Москве. Первыми печатниками были дьякон Иван Фёдоров и Пётр Тимофеев;

— возвёл более 100 храмов и монастырей, способствовал строительству храма Василия Блаженного на Красной площади. Царь на своих раменах нёс гроб почившего святого, а народ молился ему так: «Преблаженный Василий! Молись усердно Христу Богу нашему за город наш Москву и за все русские города и селения, за христолюбивого Царя нашего, Его благочестивую Царицу и за благородных детей Их, а воинству Его будь пособником в победе и одолении супостатов»;

— издал Четьи-Минеи (Жития святых), Домострой;

— вёл беспощадную борьбу с ересями за чистоту Святого Православия;

— при нём было канонизировано 39 русских святых (до этого чтили 22 святых). В их числе был прославлен в 1547 году святой Благоверный Князь Александр Невский (30.05.1220 — 14.11.1263).

Иван Грозный был поистине великим правителем. За время его царствования прирост населения составил 30—50%. Для сравнения: за время правления Петра I убыль населения составила 40%. И при этом Ивана Грозного называют деспотом, а Петра I — Великим. Взор Петра был обращён, прежде всего, на Запад, взор Ивана Грозного только на Русь, и Русь Святую. Государственный опыт Запада он считал неприемлемым и вредным для России. Он открыл для России свой путь государственного строительства, на века обеспечивший ей силу и славу. И этот опыт является одной из самых выдающихся его заслуг.

Татьяна Васильевна Грачёва,

писатель, публицист, заведующая кафедрой русского и иностранных языков Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, полковник

Царь Иоанн Васильевич Грозный — одна из самых знаковых фигур в русской истории. Родился 28 августа 1530 года в селе Коломенском под Москвой, имя получил в честь Иоанна Предтечи, которого считал своим небесным покровителем, и тезоименитство отмечал 29 августа — в день усекновения главы Иоанна Крестителя.

В декабре 1533 года воспринял от отца титул Великого князя Московского. В январе 1547 года венчался на царство в Успенском соборе Кремля, став первым царём в русской истории. Преставился Иоанн Васильевич 18 марта 1584 года в Московском Кремле, приняв перед уходом постриг с именем Иона, и был погребён в соборе Святого Архистратига Михаила в Кремле в монашеском одеянии. Житие его продлилось 54 года.

Вся жизнь Иоанна Васильевича была тесно связана с православной церковью. Напомним, крещён был будущий царь в Троицком соборе игуменом Иоасафом, впоследствии митрополитом. Это крещение, во время которого младенца опускали в раку преподобного Сергия Радонежского, связало его особыми узами с Троице-Сергиевым монастырём.

Впрочем, благоволил первый русский царь ко всем русским монастырям.

Другой святой — митрополит Макарий — окормлял его в юные года.

С ранних лет великий князь Иоанн Васильевич совершал паломничества по святым местам, бывая в самых древних и досточтимых православных обителях. В четырнадцать лет отправился в Троице-Сергиев монастырь, а оттуда через Ростов и Ярославль в Кирилло-Белозерский монастырь и окружающие его обители.

Ныне почти никто не пишет о том, что в храмах и монастырях он молился

часами и вставал на молитву в два или три часа ночи. И так практически каждый день до самой своей кончины!

Великий молитвенник, он постоянно читал Писание, знал наизусть множество молитв, без труда цитировал многие отрывки и поучения, и даже пел на клиросе.

Потеряв отца в три года, а мать — в неполные восемь лет, он оказался сиротой. Окружённый дальними родственниками и боярами, мальчик видел вокруг алчность, корысть, злобу, интриги, жестокость, потрясающие воображение и рождающие страх и ужас в душе его. Детство великого князя прошло в атмосфере хаоса и фактического распада центральной власти, а следовательно, и государства. С малых лет он возненавидел боярско-олигархическое своеволие, и когда пришёл в полномочие, принялся беспощадно карать за все явные проступки и измену Богу, особенно «первых слуг государя» — самых родовитых и именитых. Царь, если говорить образно, принялся отсекал греховное от плоти России. Именно здесь и коренилась одна из причин той нелюбви и ненависти, которую вызывал Иоанн Васильевич у потомков осуждённых и наказанных им.

Это напоминает историю царствования другого русского государя — Павла Первого, оклеветанного современниками. Её писали его ненавистники, те, кого он после кончины матери удалил из дворца за казнокрадство, аферы, интриги, предательство государственных интересов. Почти вся высшая аристократия потом многие десятилетия лгала по адресу убиенного, изображая его «злодеем», «тираном» и даже «душевнобольным». Да и в советское время, вспомните, нам всячески внушали, что сумасбродней правителя на Руси, чем Павел Первый, не было. Версия о «безумии» Павла в XIX веке внедрялась в общественное сознание с целью оправдания убийц, пресекших «вредное» для государства правление. В советское время версия о «безумстве» Павла как нельзя лучше подошла для подтверждения выдвинутой теории о деградации российских царей.. В этом властям успешно помогали такие писатели, как Юрий Тынянов (достаточно назвать его рассказ «Подпоручик Киже»), киносценарист и кинорежиссёр, создавшие фильм «Суворов». А сколько появлялось сборников анекдотов, связанных с именем Павла Первого! При этом и речи не могло быть о том, что именно император Павел Первый — воспитанник митрополита Платона (Левшина), узаконил порядок престолонаследия в России, открыл новые духовные заведения в разных концах государства, способствовал восстановлению старых и устройению новых православных монастырей. После десятилетий «бабского царствования» именно он, проведя государственные реформы, наметил контуры грядущей России, вследствие чего в конце XIX века Россия поразила мир великими именами писателей, художников, учёных...

Откуда и почему же такая не остывающая ненависть к императору Павлу Первому? Ответ прост, но он редок на страницах научных изданий: «высшие» ненавидели его за то, что он хотел обуздать своеволие чиновников и аристократии, этих новых бояр, уверенных, что Россия — для них, а не они — для России.

Именно в этой среде вызрел замысел убийства императора Павла Первого, совершённого в марте 1801 года на английские деньги и в английских интересах.

Как сродни в данном случае имена государей Иоанна Грозного и Павла Первого!

Не потому ли такой шум был поднят и в наше время либеральными СМИ, когда устанавливали памятник царю Ивану Грозному в городе Орле, и какой вой был поднят теми же СМИ, когда решено было установить памятник первому русскому царю в городе Александрове. Надо ли пояснять, чем были вызваны они, разбуженные одним лишь напоминанием о государе Иоанне Грозном?

Впрочем, есть одно важное событие, совершённое первым русским царём, которое на многое открывает глаза и которое и по сей день не даёт спокойствия врагам его.

Царь Иоанн Васильевич Грозный точно обозначил время «боярского самодержавия». «Со дня кончины нашей матери и до того времени шесть с половиной лет не переставали они (бояре. — Л.А.) творить зло»¹. Если иметь в виду, что Елена Глинская скончалась 3 апреля 1538 года, то указанные «шесть с половиной лет» означают конец 1544-го — начало 1545 года.

Среди важных политических событий 1545 года следует назвать прежде всего одно. Последовала первая опала бояр. Эпоха боярского своеволия начала клониться к закату. Именно в конце этого года великий князь намеревался стать царём. Вот это самое решение — судьбоносное и в биографии Иоанна, и в судьбе России — ключевое в понимании мировоззрения первого русского царя.

Воцарение меняло весь строй жизни Руси и мира; отныне московский правитель становился главой всего православного рода человеческого. Власть он получил по праву первородства, а царский скипетр — по милости Божией. Так мыслил первый русский царь, и в том никогда не сомневался. Он знал, Москве предуготовано место Царьграда, теперь она сама Царьград, следовательно, и все прерогативы «Грецкого Царства», перешли к православному московскому царю. Россия обрела первого монарха.

Русская идея возобладала в мире. Спасение себя и спасение других народов — в вере Христовой.

Эта концепция, высказанная ещё митрополитом Иларионом в знаменитом «Слове о Законе и Благодати», может быть, наибольшее открытие русского народа и является великим вкладом его в мировую цивилизацию.

Главное в жизни — благочестие. И жить надо для Бога и в Боге.

Нестроения и отступления от веры Христовой надо было, по мысли первого русского монарха, удалять и исправлять соборным «разумением». Для этого, по инициативе царя, и собран был в Москве в 1551 году церковный Стоглавый собор.

Надо было обновить и укрепить Русскую Церковь, чтобы начинать новую жизнь и помышлять о будущем, руководствуясь любовью и смирением.

«Возненавидим же дела злые, возлюбим добрые и благоугодные дела», — говорил царь Иоанн, обращаясь к делегатам собора.

Тогда же был представлен Судебник, который «святые отцы» рассмотрели и утвердили.

В истории Стоглавого собора, по справедливому замечанию историка А. Боханова, потрясает степень воцерковлённости и мировоззрения первого царя, его не только преданность делу Церкви, которое являлось и царским делом, но и глубокие и разносторонние знания церковной повседневности, канона и догматов, явленных им в его вопросах.

«Стоглав» охватывал буквально все стороны церковной жизни и явился фактически новым соборным уложением.

В ту же пору духовником и сподвижником царя протопопом Сильверстом был написан «Домострой» — сборник правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы.

Многие столетия по Домострою сверяли русские люди свою жизнь...

¹Первое послание Ивана Грозного Курбскому // Русская социально-политическая мысль XI — начала XX века. Иван Грозный. М., 2002. С. 94—96.

Забегая вперёд, скажем, за время царствования Иоанна Грозного территория государства увеличилась в два раза, Россия утвердилась в Поволжье, в Сибири и на Северном Кавказе. Численность населения выросла почти наполовину.

Царём произведены важные реформы судопроизводства, земская реформа, созданы первые регулярные воинские подразделения (стрельцы), построено более 50 церквей. При нём появились первые типографии, первые печатные книги. Канонизированы десятки угодников Божиих.

Мощное православное государство набирало невиданную силу и не могло не испугать Европу и почитателей европейской жизни, пребывающих в России. Поэтому и начали сыпаться клеветы и наветы на первого русского царя во время его жизни и после его отравления.

Не будем разбирать истоки нападок на Иоанна Грозного историка Карамзина, который, увы, предвзято использовал документы истории. «Первый историограф» заволаживал читателя обилием сносок и ссылок на «первоисточники» и литературным мастерством «поддачи факта». Однако выхватывал, выдёргивал из документов Николай Михайлович только то, что соответствовало его субъективному и недоброжелательному, а по сути дела, русофобскому взгляду². Да и сам отбор, так сказать вивисекция, документального ряда у Карамзина, по точному замечанию А. Боханова, изначально предвзят. Потому главными свидетелями у него становятся предатель князь А.М. Курбский, который, оправдывая собственную подлую измену, лгал на царя без удержу; лифляндские дворяне-перебежчики Иоганн Таубе и Элерт Крузе, английский авантюрист и разведчик Дж. Горсей и т. д.

Не упустим без внимания следующий факт: сам Н.М. Карамзин, во время написания «Истории Государства Российского», увлечённый масонством и связанный с ним, был явно ослаблен в Православной вере.

Хула на царя Иоанна Грозного продолжалась и в последующие времена. И не только в среде историков.

Обратимся к художнику И.Е. Репину и его картине «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года».

Несколько слов о художнике.

И.Е. Репину было двадцать восемь, когда он закончил «Бурлаков» (1870–1873) и стал в одночасье знаменитым. «Бурлаки» блистали светом, яркостью красок, затмевая всё вокруг себя, и производили, по замечанию современника, прямо ошарашивающее впечатление. Художники-современники видели в ней не столько обличение, сколько выисканную не в мастерской, а в натуре палитру. От «Бурлаков» веяло богатством творческих сил.

Было ясно: в русской живописи появился крупный талант.

В перерыве работы над «Бурлаками» И.Е. Репин писал конкурсную работу «Воскрешение дочери Иаира» (1871), очень близкую по духу и настроению картине А.А. Иванова «Явление Христа народу».

Обе картины, надо сказать, вызвали противоречивые впечатления.

Глашатаем «Бурлаков» выступил В.В. Стасов, дождавшийся, наконец, живописца, который «оставил и последние помыслы о чем-нибудь идеальном в искусстве» и «окунулся с головою во всю глубину народной жизни, народных интересов, народной щемящей действительности»³.

Ректор же Академии художеств Ф. Бруни почти по тем же причинам назвал

²См. подробнее: Боханов А. Царь Иоанн Грозный. М., 2015.

³Стасов. В.В. Избранные сочинения. Живопись, скульптура, музыка. М., 1952. Т. I. С. 239.

её «величайшей профанацией искусства»⁴, словно подтверждая слова самого И.Е. Репина: «картиной моей <...> была заинтересована либеральная часть общества, а консервативная ее <...> хаяла».

Не менее важно то, что обе картины, на взгляд особо внимательных зрителей, свидетельствовали о некоем раздвоении характера их автора, его внутреннем споре и духовных поисках.

И, в действительности, они не обманывались.

Воспитанный в соответствии с традициями русской православной семьи (его мать была глубоко верующей и прививала сыну любовь к церкви), он хорошо разбирался в тонкостях религиозного сюжета, религиозной идеи, что подтверждала его дипломная работа, но абсолютно противоположное настроение преобладало в другой картине, где откровенно проглядывал дух бунтарства, протеста против существующего порядка. (Впрочем, он шёл против истины. «Какая нелегкая вас дернула писать эту нелепую картину? Вы, должно быть, поляк? — возмущался министр путей сообщения. — Ну, как не стыдно — русский?.. Да ведь этот допотопный способ транспорта мною уже сведен к нулю»⁵. Искажением сути бурлачества возмущался художник В. Верещагин: «...В моих «Бурлаках» каждую баржу тащило не менее 200–250 человек — целые полки народа, что составляет *всю суть дела*»⁶.).

Возможно, дух бунтарства и неприятия православной монархии передался художнику через отца-кантониста⁷, умевшего креститься, но, похоже, не связанного тесно с церковью (торговые дела отнимали всё его время).

Отношения с религией у художника, надо сказать, были не простые. Тому свидетельство — строки из письма И.Е. Репина к В.В. Стасову от 11 марта 1892 года: «...Да вообще всё христианство — это рабство, это смиренное самоубийство всего, что есть лучшего и самого дорогого и самого высокого в человеке. — Это кастрация...»

О вере в Христа судить можно по его письму к художнику В.М. Максиму от 13 апреля 1881 года, написанному сразу после празднования Пасхи Христовой: «Не могу ответить тебе ходячей фразой «Воистину Воскресе», нет, и до сих пор еще не воскресли к жизни его святые идеи любви, братства и равенства, любезный брат мой по искусству (но не брат во Христе. — Л.А.) Василий Максимович...»

А чего стоят его высказывания в адрес Ф.М. Достоевского: «...Отдавая полную справедливость его таланту, изобретательности, глубине мысли, я ненавижу его убеждения! Что за архиерейская премудрость! Какое-то застрашивание и суживание и без того нашей не широкой и полной предрассудков скучной жизни.

И что это за симпатия к монастырям («Братья Карамазовы»). «От них-де выдет спасение русской земли!!? И за что это грязное обвинение интеллигенции? И эта грубая ненависть к полякам, доморощенное мнение об отживших якобы тлетворностях Запада и это поповское прославление православия... и многое в этом роде противно мне, как сам Катков... А как упивается этим Москва! Да и петербуржцы наши сильно поют в этот унисон — авторитет пишет: как сметь другое думать!.. Ах, к моему огорчению, я так разошелся с некоторыми своими друзьями в убеждениях, что почти остался один. И более чем когда-нибудь верю только в

⁴Цит. по: Лебедев А.А., Согодовников А.В. В.В. Стасов. М., 1982. С. 128.

⁵См.: И.Е. Репин. Далекое близкое. М.: Искусство, 1953.

⁶Цит. по: Лебедев А.К. В.В. Верещагин. Жизнь и творчество. М., 1958. С. 39.

⁷Кантонисты — малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, причисленные к военному ведомству. Часть из них составляли инородцы. — Прим. автора.

интеллигенцию, только в свежие влияния Запада (да не Востока же в самом деле). В эту жизнь, трепещущую добром, правдой и красотой. А главное, свободой и борьбой против неправды, насилия, эксплуатации и всех предрассудков...»⁸

«Стасов делал все возможное, чтобы поднять Репина, — вспоминал скульптор И. Гинзбург, — повесить его кругозор, свести и познакомить его с прогрессивными деятелями культуры.

От такой опеки духовное развитие Репина подвигалось буквально на глазах. Он получил возможность писать портреты выдающихся людей, беседовать с ними, учился у своих новых знакомых, набирался знаний, слушая лекции, посещая и концерты....»

Три года провел Репин за границей — в Италии и во Франции.

Работая по заказу П.М. Третьякова над портретом И.С. Тургенева, Илья Ефимович встречался на квартире писателя с Германом Лопатиным. В 1866 году тот был привлечён по делу Д. Каракозова.

Общение с революционером конечно же привело к новым знакомствам с русскими политическими эмигрантами. Вскоре И.Е. Репин устанавливает дружеские связи со многими из них. Он переписывался с В. Фигнер, а в конце восьмидесятых — начале девяностых годов напишет портрет революционерки Х. Гельфман. И откажет П.М. Третьякову в просьбе написать портрет «ретрограда» (по мысли художника) Каткова, и что особенно удивительно, «ретрограда» Фета.

Оказавшись в 1883 году вместе с В.В. Стасовым в Париже, он не пропустит ни одного собрания у социалистов. А 5(17) июля 1889 года вместе со Стасовым, Г.В. Плехановым и П.П. Лавровым он присутствовал на первом учредительном конгрессе II Интернационала.

Но мы забежали вперёд.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года» впервые была представлена зрителю на передвижной выставке 1885 года. Сенсация была невероятной, такого, пожалуй, на выставке ещё не видели. Одна из дам упала в обморок прямо перед картиной.

Отношение к картине оказалось далеко неоднозначным. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев 10 февраля 1885 года сообщал в докладе государю Александру Третьему: «Стали присылать мне с разных сторон письма с указанием на то, что на передвижной выставке выставлена картина, оскорбляющая у многих нравственное чувство: Иоанн Грозный с убитым сыном.

Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на неё без отвращения. Слышно, что Ваше величество намерены посетить выставку на днях, и конечно сами увидите эту картину (пометка Александра Третьего на полях: «завтра». — Л.А.).

Удивительное ныне художество без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения. Прежние картины того же художника Репина отличались этой наклонностью и были противны. А эта картина просто отвратительна. Трудно и понять, какой мыслью задается художник, рассказывая во всей реальности именно такие моменты. И к чему тут Иоанн Грозный? Кроме тенденции известного рода не приберешь другого мотива. Нельзя назвать картину исторической, так как этот момент и всей своей обстановкой чисто фантастический, а не исторический.

Есть и портрет самого художника на выставке, черты лица его объясняют, что вынуждает его выбирать и рассказывать такие сюжеты...»

⁸Письмо В. В. Стасову от 16 февраля 1881 года. — Прим. автора.

16 февраля И.Н. Крамской представлялся государю императору Александру III по поводу образов картин для копенгагенской церкви и оказался свидетелем следующей сцены. После чрезвычайно милостивого разговора государь и императрица, простившись, удалились. Когда они были уже в дверях, гофмаршал В.В. Зиновьев стал догонять их, говоря: «Ваше Величество! Вы едете сейчас на выставку, увидите там картину Репина «Иван Грозный»... Вы увидите эту ужасную, отвратительную картину... Ваше Величество, это невозможная картина, ее нельзя позволять выставлять... Это отвратительно! Это ужас, что такое... и Третьяков ее уже купил». Государь стоял, повернувшись в дверях, и молча смотрел вниз. При последних словах, взглянул на Крамского и спросил: «Что эта картина поедет в путешествия? И как это у Вас делается?» Выслушав ответ, государь, как бы неохотно, медленно произнес: «Я не желал бы, чтобы эта картина была отправлена в провинцию». Поклонился ещё раз и ушёл⁹.

Картину пришлось убрать с выставки и отправить ее владельцу П.М. Третьякову, но в его галерее она была выставлена лишь много времени спустя.

«Иногда в зале дома, а иногда в галерее стояла только что приобретенная Павлом Михайловичем новая картина, покрытая белой простыней, — вспоминала племянница В.Н. Третьяковой М.Н. Морозова. — Однажды, когда мы находились в галерее, Павел Михайлович подозвал нас и открыл простыню, покрывавшую картину, и показал нам ее. Мы онемели от ужаса: Это был Иван Грозный, убивший сына, работы Репина. Впечатление было страшное, но отталкивающее. Потом эту картину повесили в маленькой комнатке, примыкавшей к большому залу, и перед ней положили персидский ковер, который был как бы продолжением ковра, изображенного на картине, и, казалось, сливался с ним. Казалось, что убитый сын Грозного лежал на полу комнаты, и мы с ужасом стремглав пробежали мимо, стараясь не смотреть на картину».

Искусствоведы рассказывают, картина И.Е. Репина была создана под впечатлением программной симфонии Н.А. Римского-Корсакова «Антар», вернее, второй её части под названием «Сладость и месть».

В недатированном черновом отрывке И.Е. Репина, хранившемся в Научно-библиографическом архиве Академии художеств и опубликованном только в 1956 году, есть следующие строки: «...Впервые пришла мне в голову мысль писать картину — трагический эпизод из жизни Ивана Четвертого — уже в 1882 г. в Москве. Я возвращался с Московской выставки, где был на концерте Римского-Корсакова. Его музыкальная трилогия — любовь, власть и месть — так захватила меня и мне неудержимо захотелось и в живописи изобразить что-нибудь подобное по силе его музыки».

Из приведенного текста выделим слово *мечь*. Кому и за что хотел отомстить Репин?

Не упустим при этом немаловажную деталь: в одном из интервью, данном впоследствии, и разысканном писателем С.В. Фоминым¹⁰, художник делает оговорку: вопреки документально известной дате концерта в Москве (15 августа 1882 года), художник называет другую дату — 1881 год.

Во второй половине февраля 1881 года И.Е. Репин выехал из Москвы в Петербург на открытие Передвижной выставки. Она открывалась 1 марта, и именно в

⁹См. письмо И.Н. Крамского к А.С. Суворину от 7 марта 1885 г. — Прим. автора.

¹⁰См.: Фомин С.В. Правда о первом русском царе. М., 2010.

этот день на одной из петербургских улиц прогремел взрыв. Неизвестный бросил бомбу в проезжавшую мимо карету, в которой следовал Александр II. Мгновенно по северной столице разнеслась весть об убийстве государя.

Ученик В.А. Жуковского окончил свой земной век.

«Взрывом прошлого воскресенья был нанесен смертельный удар прежним принципам, и никто не мог отрицать, что будущее не только Российской империи, но и всего мира зависело теперь от исхода неминуемой борьбы между новым русским царем и стихиями отрицания и разрушения», — писал современник.

И.Е. Репин возвратился в древнюю столицу, но уже в апреле он снова в Петербурге, успев к казне первомартовцев.

«Ах, какие это были кошмарные времена, сплошной ужас... — скажет он впоследствии одному из знакомых поэтов. — Я даже помню на груди каждого дощечки с надписью «Цареубийцы». Помню даже серые брюки Желябова, черный капор Перовской...»

К политической подоплёке картины «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года» следует, пожалуй, добавить один существенный штрих.

Ко времени учёбы художника в Академии художеств относятся два его эскиза «Видение Иоанна Грозного» и «Митрополит Филипп, изгоняемый Иоанном Грозным из церкви 8 ноября 1568 года».

Последний из эскизов был одобрен Советом Академии художеств. Работа над ним датируется 20 мая 1866 года. Напомним, чуть ранее, 4 апреля, Д. Каракозовым было совершено покушение на императора Александра II. Преступника казнили 3 сентября. Репин присутствовал на публичной казни. Он даже сделал рисунок с натуры.

Имя царя Ивана Грозного, возможно, ассоциативно могло связаться с пережитым в этот день.

Таким образом, само противостояние царь/самодержец и революционная борьба против него — засели в голове художника давно и, похоже, крепко.

Отношение к царю Иоанну Грозному определилось у художника окончательно. Иначе как мерзавцем он не называл его. «...Да, наконец, и этот мерзавец Иван IV сидит неподвижно, придавленный призраками своих кровавых жертв...» — писал 8 ноября 1881 года И.Е. Репин В. Стасову, обсуждая скульптуру первого царя, выполненную Антокольским.

О предмете раздумий в то время И.Е. Репина свидетельствует, между прочим, изображение императора Александра II на смертном одре, помещённое художником на стене комнаты в его картине «Не ждали». По времени работа над этим последним полотном совпала с картиной «Иван Грозный и сын его Иван...».

После октябрьского переворота 1917 года Илья Ефимович, беседуя с советскими художниками, приехавшими к нему в усадьбу «Пенаты» в местечке Куоккала, уже ничего не опасаясь, заявил: «Картина направлена была против монархизма». Об этом главном смысле картины у нас говорить не принято. Помазанник Божий был «разоблачён» Репиным и показан как тиран и сыноубийца. Такова его месть.

Свою картину Репин называл в частной переписке «Сыноубийца». Третьякову, купившему её, И.Е. Репин в августе 1887 года советовал её переименовать: «Я думал предложить Вам подписать под картиной «Иван Грозный», так: *Трагическая кончина Царевича Ивана, сына Ивана Грозного. 1581 г. 16 ноября*».

В сознании людей, однако, запечатлелось другое название: «Иван Грозный убивает своего сына».

Прервав ненадолго повествование, скажем, как-то, выйдя из Исторического музея, Репин с Суриковым направились на Красную площадь. У Спасских ворот, как обычно, шла торговля книгами, открытками, фоторепродукциями.

— Илья Репин! — кричал офеня. — Грозный убивает сына Ивана!

Именно через эту картину миф, созданный в своё время Н.М. Карамзиным, был вброшен в народное сознание, превратившись в *неподлежащий сомнению факт русской истории*.

Удивительно, созданный великим мастером кисти художественный образ оказал влияние даже на профессиональных историков.

Так, академик М.Н. Тихомиров писал в одной из работ: «Все знают известную картину Репина: обезумевший отец держит в объятиях обгащенного кровью сына. Это Грозный Царь, убивший в порыве гнева Своего наследника. Но действительность может быть еще страшнее».

А вот академик С.О. Шмидт: «...<царевич> Иван... был убит Грозным в 1581 г., об этом напоминает знаменитая картина Репина».

Но откуда же всё-таки желание мести у Репина? Где её истоки?

Здесь можно говорить и о влиянии европейских художников, склонных в ту пору к созданию «картин крови», заполонивших художественные салоны Европы. Такие картины имели большой успех у зрителя. И пребывая за границей, Репин не мог этого не отметить. Но была одна картина, которая вскрывает, по сути, многое, если не главное в творчестве художника. Речь идёт о картине «Крестный ход в Курской губернии». В ней, по справедливому замечанию репиноведов, «ничего не осталось от патриархальной непосредственности и добродушия «Крестного хода в дубовом лесу» — предыдущей картины, написанной в благодарную память о детской поре, когда мальчиком, вместе с матерью, принимал он участие в сельском крестном ходе.

Чтобы понять причину случившегося, почему исчезла добрая память о прошлом, стоит упомянуть, на наш взгляд, в первую очередь, два имени: отца художника, предки которого, судя по словам самого Ильи Ефимовича, презирали Россию¹¹, и известного критика Стасова, оказавшего немаловажное влияние на сознание талантливого, если не сказать, гениального художника.

Стасов, известный своим радикализмом, был доволен картиной «Крестный ход в Курской губернии» и писал о ней как о новом великом явлении в русском искусстве. Изображение крестного хода, надо сказать, вызвало у него ассоциацию с... буддистской процессией в Индии.

Многие, однако, понимали неправду, лживость, карикатурность, нерусскость всего изображённого на полотне.

«Как можно утверждать, что на картине есть непристрастное изображение русской жизни, — писал в «Новом времени» православный писатель Дмитрий Иванович Стахеев, — когда они в главных своих фигурах есть только лишь одно изобличение, притом несправедливое, сильно преувеличенное... Нет, эта картина не беспристрастное изображение русской жизни, а только изобличение взглядов художника на эту жизнь».

¹¹См. письмо И.Е. Репина к В.В. Стасову из Рима от 4 июня 1873 г. (Репин И. Избранные письма в двух томах. 1867—1930». М., 1969. С. 67): «...Я чувствую, во мне происходит реакция против симпатий моих предков: как они презирали Россию и любили Италию, так мне противна теперь Италия с её условной до рвоты красотой...»

Недоволен был и П.М. Третьяков: «В прежнем «Крестном ходе» была одна единственная фигура — благообразная девушка, и ту Вы уничтожили; мне кажется, было бы очень хорошо на месте бабы с футляром поместить прекрасную молодую девушку, которая бы несла этот футляр с верою и даже восторгом (не забудьте, что это прежний ход, а и теперь они еще есть глубоко верующие); вообще избегайте всего карикатурного и проникните все фигуры верою, тогда это будет действительно глубоко русская картина».

Но русской картины не получилось

О взгляде самого автора на неё можно судить по дневниковой записи К.И. Чуковского (июнь 1913 года): «И.Е. встал и образными ругательными словами стал отделять эту сволочь, идущую за иконой. Все кретины, вырождающиеся уроды, хамье — вот по Ламбросо — страшно глядеть — насмешка над человечеством...»¹²

Так негативно высказываясь о народе, мог ли Репин разделять глубоко его Веру в Бога, в царя? Да ещё при таких советчиках, как Стасов, который знакомил с нелегальной литературой, самими революционерами и одобрял написание полотен, подобных таким, как «Отказ от исповеди» (1879–1885), «Арест пропагандиста» (1880–1889), «Не ждали» (1884), «Сходка».

Не трудно представить, о каком будущем России мечтали оба. И чтобы закончить тему, скажем, ни одна русская летопись не упоминает о факте убийства царевича Иоанна отцом. Царевич, как и сам царь Иоанн Васильевич Грозный были отравлены.

Проведённое в советское время вскрытие их гробниц, о чём писал антрополог М. Герасимов, показало, что наличие ртути в останках царя и сына превышало норму в десятки раз.

Известно, 16 января 1913 года на картину было совершено покушение. Иконописец-старообрядец Балашов ударами ножа порезал холст в трёх местах. Вязавшие его зрители слышали его бормотание: «Кровь! К чему кровь! Долой кровь!»

Совпадение этого события с начинающимися в России торжествами по случаю 300-летия Дома Романовых многим казалось совпадением не случайным, как, впрочем, и нам.

Силой гения Репина историческая ложь стала приниматься за истину.

И, думается, стоит ли утверждать в этой лжи сегодняшнего зрителя постоянной экспозицией картины¹³?

Но это моё личное мнение.

¹²См.: Фомин С. *Правда о первом русском царе*. М., 2010. С. 66.

¹³Картина находится в одном из залов Третьяковской галереи. — Прим. автора.

«Заметки на белых полях...»

Качуг

Мы в повседневности своей не вдумываемся в происхождение и изначальный смысл многих слов, повторяя их вслед за другими, и слова теряют для нас своё первобытное значение и лишь изредка, споткнувшись на какой либо фразе, на каком-то имени, вдруг задумаешься. Так было у меня с названием посёлка Качуг. Я всегда сомневался, что слово это имеет эвенкийские корни, не знаю почему, я даже сам этого не понимал, но каким-то внутренним чутьём протестовал. Алексей Георгиевич Белоусов в своей книге «Верхнеленье. Качуг. Страницы истории» приводит точку зрения М.И. Мельхеева: *«Качуг от эвенкийского «кочо» — излучина, изгиб реки, мыс. Действительно, река Лена на этом участке не только имеет множество излучин, но и делает изгиб, поворот с западного направления на север»*¹. Но в разговоре на эту тему тоже высказал сомнение. Для начала я решил обратиться к сокровищнице нашего языка, к волшебной шкатулке, которую открываю с некоторым волнением, — к Толковому словарю живаго великорусскаго языка незабвенного Владимира Ивановича Даля. самого слова, я, естественно, там не обнаружил, потому что это географическое название, но нашёл много интересных созвучий. Приведу некоторые:

КАЧА ж. арх. род мореходного судна; Сиб. кочевье, кочёвка инородцев.

КАЧАГА ж. сибир. квк. шайка разбойников; самый набег, наезд.

Казалось бы, ничего больше искать не надо, вполне точное, конкретное, не нуждающееся в дополнениях объяснение.

Качугцы ещё в недавние времена в разговорной речи называли посёлок — *Качик*, на старинных картах встречается — *Качик, Качуг*. На иных — *Качуга*, как кованым кольцом соединённое с другим русским словом — *кольчуга*.

Все наименования образуются от корня КАЧ. Эвенкийское КОЧО притянута бездоказательно, видимо, поэтому изначально я не поверил Мельхееву. Переход гласных объясняется различностью артикуляции в тех или иных языках. Но переход двух гласных О в А и У — это не объяснимо законами трансформации, здесь явная, мягко говоря, натяжка. Если учесть, что колонизация русскими Сибири происходила, особенно в начальный период, жителями Русского Севера, со схожими погодными условиями, то происхождение названия КАЧУГ, думал я, надо искать там, в Беломорье, и оно может быть связано с мореходным делом. Потому что именно от Качуга начиналось торговое судоходство в Якутск, и именно в Качугском районе для этого строили карбазы, а в дальнейшем возникла Качугская судоверфь.

И ещё два примера значений сибирских и северных (арханг.) слов из В.И. Даля: КОЧИ ж. мн. прм. сиб. — салазки, для катанья с горки, с катушки.

КОЧА ниж. — кочка; *Коча, кочь* или *кочмара* ж. арх. палубное двумачтовое мореходное судно, поменьше ладьи.; Сиб. Большое палубное, речное судно, с вёслами и парусами.

¹Мельхеев М.И. Географические названия Восточной Сибири. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1995.

КОЧ как плавательное судно встречается в сказочных книгах и других исторических документах. И второе значение: *кочевье, ночёвка инородцев*, тоже может иметь отношение к происхождению названия посёлка. Место очень удобное для рыбалки и добычи зверя, поэтому кочевавшие здесь эвенки могли останавливаться в этих местах, русские обнаруживали следы их временного пребывания. Но эта версия казалась мне маловероятной.

Название КАЧУГА находим мы и у И. Гончарова в «Фрегате «Паллада», когда он описывает возвращение из кругосветного путешествия через Якутск до Иркутска: *«От с лободы Качуги пошла дорога степью; с Леной я распрощался. Снегу было так мало, что он не покрыл траву; лошади паслись и щипали ее, как весной»*. Выходит, что в середине девятнадцатого века посёлок назывался Качуга.

М. Фасмер в своём Этимологическом словаре приводит значение слова КАЧА-ГА: «шайка разб. и т. д. (Даль). Тур., азерб., чагат. Касак «бегство, побег» (Радлов). Кстати, в Крыму есть речка Кача, что подтверждает, скорее всего, тюркский корень.

Есть у Фасмера и одно странное значение слова Кач. «КАЧ «похлёбка из толчёной осиновой коры с примесью муки, арханг. (Подв., Даль) перм. вологодск. печорск.» Фасмер ссылается на Даля, но у Владимира Ивановича (я пользовался изданием М.О. Вольфа, 1881 г.) этого значения нет. Пришла озорная мысль: хотел бы я натолочь осиновой коры, сварить похлёбку, жаль, что Фасмер её не сможет попробовать, автору, вероятно, не было известно о невыносимой горечи осиновой коры, которую едят только копытные животные и зайцы, а человек использует иногда исключительно в медицинских целях в малых дозах. Я не смог найти Словарь областного архангельского наречия А. Подвысоцкого — неужели там есть такой странный рецепт?

Алексей Георгиевич Белоусов, в упомянутом мною разговоре, сказал, что встречал в какой-то книге название деревни Качуг в Европейской России за Уральским хребтом, даже сделал выписку, но она потерялась.

Я призвал на помощь Интернет. Но поисковая система дала только один населённый пункт Качуг в Иркутской области, с цитатой из книги А.Г. Белоусова «Верхоленье. Качуг. Страницы истории». Круг, как говорится, замкнулся.

В начале марта этого года в Галерее современного искусства В. Бронштейна я встретил своего давнего товарища Александра Ивановича Голованова, бывшего директора Иркутской студии телевидения. Говорили об Отечественной войне, он сказал, что Москву защитили русские северяне, имея в виду Русский Север и Сибирь, в разговоре возникло имя Леонида Гунина, уроженца нашего Качуга. Разговор перешёл на Качуг, я изложил Александру Ивановичу свою версию. Голованов, улыбаясь, поведал мне историю, услышанную от Леонида Гунина: однажды в Ярославле тот увидел через улицу натянутый баннер: «Приезжайте на рыбалку в Качуг». Душе стало хорошо. Он подумал: какие молодцы его земляки, предприимчивые мужики, аж до Ярославля добрались. Но когда стал выяснять, оказалось, что Качуг, упомянутый на растяжке, находится в Вологодской области. А ведь именно с Русского Севера в основном были первопроходцы в Сибирь.

Вот так случаются этимологические открытия местного масштаба.

Мне осталось только зайти в Интернет, но уже с уточнением поиска. Деревню Качуг я обнаружил в Вологодской области. В 2002 году там проживал 31 человек, и все русские. И как ни странно, ни одного эвенка или бурята. Деревня эта входит в состав Милофановского сельсовета Никольского района. Кстати, в Николе родился знаменитый русский вологжанин поэт Николай Рубцов.

Вообще у нас в Сибири ощущается «синдром аборигена», и некоторые авторы такие турысы нагромождают на торосы, а торосы на турысы, что пробиться к правде бывает не просто. Но можно. Главное, надо помнить поговорку: *случай работает на того, кто работает*.

2016 г.

Куржумова²

Случайно мне в руки попала книжонка, не помню ни автора, ни названия, а в ней рассказывалась легенда о возникновении села Кимельтей Зиминского района. Заинтересовала меня эта легенда потому, что я служил в армии с ангарчанином Володькой Смоляниновым, у него мать в то время жила в Кимельтее, когда мы вернулись из армии, я неоднократно бывал там. Суть легенды такова: жили на берегу речушки два брата буряты Ким и Тей. Из-за выпасов они ссорились между собой, проезжающие иногда интересовались, чьи это гурты, а им отвечали: Кима или Тея. Деревня, возникшая на том месте, стала называться Кимельтей.

Забавная легенда, если взять на ум, что имён Ким и Тей у бурят никогда не было. Ким — это корейская фамилия. А есть ли у какого-нибудь народа имя Тей, я не знаю, может быть, и есть.

Сибирского писателя Кима Балкова, моего доброго старшего товарища, жившего долгие годы в Бурятии, родители назвали Кимом, это расшифровывалось как Коммунистический интернационал молодёжи, была такая в стране Советов мода. Особенно мне нравится из постреволюционной коллекции женское имя Даздраперма, переводимое на русский язык как Даздравствуетпервоемая. Но сегодняшняя мода переплонула вчерашнюю.

Эта присказка для того, чтобы мы вдумчивее и бережнее относились к нашему родному языку, к нашим древним традициям.

«Сохранилась версия, что название деревни Куржумова произошло от названия местечка, где стояли юрты буряты Куршума (Куржума), на берегу протоки Лены. Фамилия Куршум встречается в книге Фишера «Сибирская история», а также у И.И. Серебrenникова в его книге «Покорение и первоначальное заселение Иркутской губернии», — пишет Алексей Белоусов в книге «Верхнеленье. Качуг. Страницы истории». Можно догадаться что юрты Куршума стояли во многих местах, где кочевник считал выгодным останавливаться со своим стадом, где были условия для хорошего прокорма, и деревень с таким названием должно быть немало. Но деревня одна и называется не Куршумова, а Куржумова.

Боярин Василий Куржумов служил в Верхоленском остроге, его родство с бурятом Куршумом не прослеживается. Может быть, он имел большее отношение к происхождению названия деревни Куржумовой? Тем более, что слово это прочно запечатлелось в русском языке, и если заглянем в Словарь В.И. Даля, то найдём его значение: КУРЖУМ м. астрх. — *киржим, персидская лодка*. Куржумные деньги, могарычи, на чай, на водку от путников, за перевоз на судах вообще.

Вот и вся недолга, как говорится. Несомненный ответ. Но пойдём дальше.

В этом же ряду расположено слово КУРЖУХА арх. — *иней, опока*.

И здесь возникает какая-то мистическая связь: по утрам в деревне Куржумо-

²Деревня в Качугском районе Иркутской области.

вой зимой постоянно возникал удивительно пышный иней, или куржак, о котором до сих пор помнят качугские старожилы... Но даже если предположить, что *Куршум* стал основой для наименования деревни, переход в Куржум естественен для нашего языка, трансформирующего чуждые звуки в родные. Удивительно другое, русское значение слова возвращает нас к лодке, к перевозу, и вероятнее всего там, где располагалась деревня, была в давние времена переправа через протоку Лены. А то, что в 1933 году рядом с деревней Куржумовой возникла Качугская судовой верфь, ещё одно подтверждение русской версии происхождения названия деревни.

От начальной своей истории до нынешних времён Лена — единственная судоходная река, не перегороженная плотинами ГЭС, а значит, и остаётся надежда на возрождение судоходства по нашей великой реке.

Будет путь — будет и ходок.

«Ленинский расстрел...»

В Государственном архиве Иркутской области находится список сельхозартелей Качугского района с 1928 по 1934 год³, но в самой таблице они названы колхозами. В пяти колонках расположены названия колхозов, сельских советов, к которым они приписаны, почтовые адреса местонахождения, годы организации и земельная площадь. И больше никаких сведений. Но как свидетельство времени этот документ имеет не только историческую, но и лингвистическую ценность, так как показывает систему образования названий в большевистской России в тот период, а если говорить шире, то показывает степень примитивизма управляющего класса, когда идеология вторгается в сами понятия жизни, разъедает и обезличивает их.

Всего в списке 73 сельхозартели. Названия можно разделить условно на две части: идеологические и прочие, т. е. не связанные с революцией, со съездами партии и советов, с коммунистическими деятелями и т. д.

Приведу эти названия, отражающие дух времени, ниже. А для сравнения с революционной новизной, надеюсь, читателю будет интересно, приведу названия сельсоветов, к которым относились эти коллективные хозяйства. Располагаю их по алфавиту:

1. «Бурпрогресс», Чектыхойский
2. «Вершина Куленги», Чарайдовский
3. «Вершина Манзурки», Седовский
4. «Добролёт», Седовский
5. «Кооператор», Большеулунский в д. Буредой
6. «Наран», Чернорудский
7. «Организатор», Полосковский
8. «Передовой бурят», Чернорудский
9. «Северный охотник», Больше-Улунский
10. «Труженик», Исетский
11. «Ударный охотник», Больше-Улунский
12. «Урожай», Тарайский
13. «Хлебороб», Большеголовский

³ГАИО, ф. 147, оп 1, д, 596, л. 1-4.

Если исключить из этого списка три названия, которые имеют, если не идеологический, но всё же смысл некоторого направленного преобразования («Бурпрогресс», «Передовой бурят», «Ударный охотник»⁴), то окажется, что названий, не связанных с революцией, всего десять. Возникает предположение, что большинство названий были заготовлены в Центральном аппарате ЦК ВКП(б) и разосланы на места. Творчество народных масс в этот процесс допущено не было. Этими названиями («Знамя труда», «Путь Октября», «Заря социализма», «Новая жизнь», «Путь Ленина», «Новый путь», «Красный Октябрь») была опутана вся страна, по всей стране так называли газеты, колхозы, предприятия и т. д. и т. п., даже женские духи, как будто не было простых и ясных, с добрым и глубоким смыслом слов и выражений, определений, вызревших в народном сознании. До сих пор эти сочетания остаются в названиях улиц и городов, ещё более обесмысливаясь, так как идеология, породившая их, давно утратила в нашем государстве ведущую и направляющую силу.

Названия улиц и городов, пароходов и самолётов, предприятий и столовых влияют на сознание и воспитывают человека в определённой системе ценностей, а если они лишаются смысла, обесмысливается и сам человек. Потеря первоначального значения словосочетаний под давлением идеологии приводила к искажению понятий, так эпитет *красный* в русском языке с древнейших времён означал *красивый*. Но после Октябрьской революции это слово обрело кровавый революционный оттенок и стало обозначать только цвет: «Красное знамя», «Красная звезда», «Красная заря», «Красный Октябрь», «Красный лётчик», «Красный самолёт», «Красный Басай». («Красный лётчик» и «Красный Басай», на мой взгляд, в этом ряду самые удачные, если взглянуть на них с иронией.)

Стоило вождю сказать: «Верной дорогой идёте, товарищи», как появились правильные направления движения: «Путь Ленина», «Путь Сталина», «Путь Октября». А дальше и «Новый путь», и «Верный путь», и «Путь крестьянина», но чем дальше мы шли, тем больше все эти пути расходились в разные стороны, пока окончательно не затерялись в пространстве и не привели к печальным последствиям.

Кстати под № 34 колхоз (в с. Протасово) обозначен чудовищным названием «Ленинский расстрел» (наверное, всё-таки Ленский). Конечно, работать на берегу Лены в колхозе «Ленинский расстрел» было, надо полагать, не очень комфортно, но это, по замыслу «назывателей», вероятно, должно было стимулировать ударный труд. Под № 37 колхоз назван «им. Емельяновой». Я не нашёл этой женщины ни в одной из советских и российских энциклопедий, предполагаю, что это Емельянов Ник. Ал., из-за опечатки превратившийся в женщину, «во время оно» укрывавший Ленина в Разливе, а с 1917 года на сов. хоз. работе. Может, под этим женским именем колхозникам работалось легче? А скорее всего, никто не задумывался над тем, как назывались колхозы. Обезличивание приводило к равнодушию. Шли годы, никто не замечал и не вдумывался в смысл.

Носили колхозы имена Когановича, Ворошилова, Будённого, Кирова, Калинина, Молотова, Фрунзе, Крупской, и даже Емельяна Ярославского, ненавистника и русского крестьянства, и русского православия. Этот безбожник, сын безбожника, возглавлял Союз безбожников. Интересно, что после Ленина, на долю которого приходилось больше всего колхозов, второе место в Качугском районе занимал

⁴Последнее название особенно интересно по странности смысловой раздвоенности, так как в ружьях и карабинах, которыми пользуются не только охотники, тоже есть ударный механизм.

не Сталин, а Ворошилов, его именем было названо четыре сельхозартели, тогда как Будённый, Молотов, Фрунзе и товарищ Сталин были удостоены такой чести только дважды. Не знаю почему, но, похоже, уже тогда идеологическая машина давала сбой.

В этом документе есть имена, связанные с Качугской землёй.

Вячеслав Михайлович Молотов был сослан в 1915 году в с. Манзурка, работал грузчиком на Качугской пристани. В вышеназванном списке мог оказаться и Лейба Троцкий (Бронштейн), отбывавший в Верхоленске свой срок. Но к 1928 году троцкизм в СССР был разгромлен, Троцкий изгнан из страны, и ранее названные именем Троцкого улицы, в том числе и в Иркутске, пришлось срочно заменять другими пламенными революционерами. Троцкому подошло бы имя Дзержинского. Разница только в фамилиях, а по сути, и у того и другого руки по локоть в крови. Интересно рассмотреть названия колхозов и со стороны национального вопроса, который по замыслу большевиков не должен был существовать в стране победившего интернационализма. Но каким-то странным был этот интернационализм в нашем крае. Два названия убеждают в этом: «Бурпрогресс» и «Передовой бурят». Первое говорит о том, что буряты больше нуждались, по своей технической отсталости, в прогрессе, чем русские, потому что колхоза «Руспрогресс» не было. Но, с другой стороны, «Передовой бурят» опять-таки говорит о том, что он передовее русского, иначе был бы «Передовой русский». Но это могло обидеть бурята, и потому подобного сочетания не было.

Замечу, что против *русского национализма* (в современном значении — патриотизма), или по обозначению большевиков «великодержавного шовинизма», война идёт и сегодня Власть боролась с русским великодержавным шовинизмом и поэтому само упоминание слова *русский* в колхозном движении было преступным. Но и к бурятам, судя по этим двум названиям, относились не лучшим образом.

И всё же душа великоросса может порадоваться: и в той цензурной зоркости посланников центра был изъян, через который каким-то образом проскользнуло великое имя и не большевика, и не французского революционера, а русского государственного и военного деятеля, руководителя строительства Черноморского флота, после присоединения Крыма получившего титул светлейшего князя Таврического, главнокомандующего Русской армией в Русско-турецкой войне 1787–1891 годов Григория Александровича Потёмкина (1739–1791), в его честь броненосец Черноморского флота был назван «Князь Потёмкин Таврический». Может быть, тот, кто предложил назвать «Броненосцем Потёмкиным» колхоз, относящийся к Карлукскому сельсовету, подумал, что это грозное сочетание — псевдоним пламенного революционера?

Но хочется верить, что это был простой советский русский государственный, который в 1931 году тайным образом отметил 160-летие победного завершения Русско-турецкой войны. И сегодня это особенно важно, когда русский Крым вернулся к родным берегам.

«Во поле берёза стояла...»

Братчанин Максим Орлов в стихотворении «Выставка. Береста» (*Верхний бьеф. Братск, 2013*) пишет:

*Я спросил у смотрительниц зала:
— Береста — не с живых ли берёз?
Мне одна из них так отвечала
На поставленный мною вопрос:*

*— Топором её сняли с берёзки,
Что стояла в лесу, не таясь...
Побежали берёзкины слёзки,
Ветки дрогнули, будто молясь.*

*Летом ей не кудрявиться боле
И листвою не шуметь на ветру.
Только сохнуть и сохнуть, доколе
Не падёт, птах спугнув поутру.*

Такие стихи невозможно читать *без слёз сквозь смех*, потому что в них явное незнание музейными работницами, как говорится, обсуждаемого предмета. И я бы не советовал в дальнейшем доверять одной из смотрительниц, той, которая отвечала. Для пользы дела, может быть, нужно было спросить ещё раз у второй, которая в данном стихотворении отмолчалась, глядишь, и не было бы конфуза, а было бы другое правдивое стихотворение.

А лучше бы попытаться автору снять топором берёсту с берёзки, которая *стояла в лесу, не таясь*, остальные, вероятно, увидев мужика с топором, разбежались, спрятались, а эта так испугалась, что ни с места. Да и не было, скорее всего, никакого музея, просто *экологический* бес дёрнул за рифму, сегодня престижно быть зелёными, модно защищать природу, скоро и человеку в этой природе места не останется.

Надеюсь, автор извинит мой шутливый тон. Тем более, что у нас с Максимом Орловым товарищеские отношения. Да и он в своём стихотворении тоже взял не совсем серьёзную ноту.

Я использую данный повод, чтобы высказаться в защиту берестянщиков, создателей удивительно прочной и изящной посуды в течение многих и многих веков. Существует массовое незнание этого процесса.

Для начала хочу посоветовать защитникам природы на деле попробовать содрать берёсту с сухого, а не живого дерева. Для этого не надо ходить в лес, а попросить на время берёзовую чурку у жителей деревенских домов, где по старинке топят печи дровами, в том числе и берёзовыми, с возвратом, конечно, чтобы кроме дезинформации читателя не нанести ущерб хозяйству. Уверен по своему опыту, что ничего не получится. Те, кто промышляет туесками и прочей замечательной всячиной из берёсты, знают это свойство и дерут, когда берёста ещё не присохла и легко отстаёт от ствола.

Есть два способа заготовки берёсты. Первый, когда берёзу не спиливают, а надрезают ножом берёсту вдоль на метр-полтора, и поперёк вниз, и вверх по кругу. И пласт легко отделяется целиком. Эти заготовки идут на рубашки к туесам, буракам и т. д. С годами эти «раны» на берёзах темнеют, покрываются не сплошной, но плотной чешуйчатой корой и стоят десятилетиями до естественной гибели, и в лесу вокруг селений встречаются часто.

Второй способ, это когда берёзу спиливают, выбрав наиболее гладкоствольную без шероховатостей, сучков и задоринок, разрезают её на сутунки — чурбачки необходимой длины, и при помощи сочалки, специального металлического плоского прута, отделяют берёсту от луба, вытряхивая древесину из цилиндра,

который будет использован для внутренней цельной рубашки, чтобы в туесе можно было хранить и переносить жидкости.

Уместна ли здесь жалость? Тот, кто связан работой своей с лесом, кто бывает в тайге, видит, сколько засохших трухлявых гнилых берёз встречается на пути. А сколько берёзовых дров заготавливают на зиму в России, а особенно в Сибири? Сергей Есенин говорил о России как о стране берёзового ситца. Наша страна издревле была берёзовой страной, и не потому, что леса наши, как и родина наша, *светлы и украсо украшены* этим поистине светоносным деревом, и не в поэтическом смысле, а в самом что ни на есть практическом. Много что делалось из берёзы — от детской кровати до домовины, от ложки-плошки до ковшика банного, от столов и стульев до топорищ, черенков к лопатам, рукояток к ножам, стамескам и прочему мелкому инструменту, от скамьи до саней и телег, от оглобель и полозьев до колёс, от игрушек до банных веников и всего прочего, чему нет числа и названий нынче не упомним, потому что берёзовый век, каким бы долгим и прекрасным он ни был, заканчивается под натиском пластмассовой цивилизации. Но ещё живёт в душе народной песня о ней, о берёзке нашей ненаглядной, кормилице и поилице нашей, о красавице и помощнице в труде. Нет другого дерева в нашем быту, имеющего такое необъятное применение. А берёзовый сок? Был ли в далёком русском деревенском детстве напиток более сладостный, полезный и чудесный по своему происхождению? А берёзовые серёжки, бруньки, мы ели в голодном детстве, лазая по матёрым деревьям.

И, конечно же, дёготь, который гнали из берёсты, прокаливая её огнём в железной посудине, в ведре ли, в бочке, в зависимости от объёма нужды. А без него и колёсную ось нечем смазать, и показательный урок нравственности на воротах не проведёшь.

Начали мы со стихотворения Максима Орлова, поэтому не лишне посмотреть на поэтические воззрения наши на природу, в частности, на берёзку, которая находится в центре народной нашей культуры, как древо жизни в библейской истории. «Во поле берёзка стояла, во поле кудрявая стояла...» Помните, о чём там речь? Там, если я правильно понял, герой или героиня песни думают о том, что некому берёзу *заломати*, и в этом можно усмотреть древнее поклонение пред живым деревом, не каждый осмелится его срубить, это было мистическое действие, и идёт в лес, естественно с топором, берёт на себя, так сказать, ответственность: я пойду берёзу *заломая*. А может быть, приближался православный праздник Святой Троицы, когда все храмы украшались, и ныне украшаются, берёзовыми ветвями.

А сколько тысяч храмов на Руси великой! И для убранства каждого храма *заламывают* не одну берёзоньку.

А сколько берестяниц? Зайдите в любой магазин сувениров — и вы восхититесь немыслимым разнообразием мастерства наших древоделов. А изделия из берёзового капа, из этих причудливых наростов неповторяющихся объёмов, множества цветов и оттенков текстуры, радуют глаз после обработки мастера драгоценным лаковым сиянием. Я могу говорить об этом долго, потому что сам занимаюсь этим промыслом, но слова словами, а лучше наберите в поисковой системе Интернета ключевые слова «изделия из капа» — и вы окажетесь в музее редкостной красоты и невообразимых нашим сознанием форм.

А дерево, с которого срезаются эти наросты, по опыту знаю, продолжает жить как ни в чём не бывало, годы и годы научая нас восхищаться подаренной Создателем красотой.

А берёза как стояла, так и стоит. И будет стоять, пока стоит мир, являясь символом нашей родины

Возвращение к смыслу

В советской действительности библейская история не была запрещена, но ограничивалась идеологией. Можно было упоминать те или иные тексты Священного Писания, но, как правило, в критических статьях. Упоминание имени Господа нашего Иисуса Христа было недопустимо, и слово *Бог* печаталось в книгах даже русских писателей, живших до революции, с прописной буквы или исключалось вовсе.

В конце шестидесятых я служил в армии, писал стихи, начинал стучаться в газеты и журналы. Из «Молодой гвардии» от Геннадия Серебрякова, заведующего отделом поэзии, я получил положительный отзыв на свои стихи, но он предлагал в одном из стихотворений убрать слово *Бог*, больше претензий не было. Я отказался это сделать, и по юношеской запальчивости ответил в резкой форме. Позднее я сожалел только о грубости, допущенной в письме, не надо было упрекать человека в том, в чём он не был виноват: господствующая идеология не оставляла выбора для человека при должности. Геннадию Серебрякову я и по сей день благодарен за его светлое слово о моих юношеских потугах в поэзии.

В восьмидесятые годы нашего времени возник интерес к Православию, совпавший с 1000-летием крещения Руси. В поэтическом творчестве христианская символика и церковный лексикон стали не только модой, но и пропускным билетом на публикацию в определённых журналах. Упоминания слов, имён, сюжетов, связанных с православной историей, открывали двери в различные объёмные сборники и антологии стихам не только малохудожественным, но лишённым даже неяркого поэтического проблеска.

Христианство проповедано по всей Земле. В России многие православные праздники вошли в жизнь. И Рождество, и Крещение, и Пасха стали не только церковными, но и народными, а некоторые из них, скажем Крещение, превратилось в массовые экстремальные забавы с погружением в ледяную купель и выставлением многочасовых очередей за водой к освящённым иорданиям. Верят люди в целительные свойства крещенской воды, не щадят ног своих, чтобы наполнить алюминиевые бидоны, канистры, пластиковые бутылки.

И это наша реальность.

«Не поминай имени Господа своего всуе». И дело не только в тиражировании общих мест, которые становятся бессмысленными от частого употребления, страшнее искажение смыслов, понятий и значений, используемых в православной символике.

Православие модно. Модно освящать роскошные рестораны, дорогие автомобили, самолёты и поезда. Стало правилом хорошего тона писать стихи, упоминая Христа Спасителя, Богородицу, святых мучеников и т. д. Появился термин *православный писатель*. И в этом нет ничего предосудительного, народ возвращается к своим истокам, к русским традициям.

«Взошёл на ступени»

Один автор⁵ в своих биографических заметках пишет: «Полчаса, которые подарил мне день Успения Пресвятой Богородицы в общении с Валентином Распу-

⁵Я не упоминаю имени только потому, что мне важна ситуация, а не личность автора.

тиным, вещь, несомненно, знаковая. Думаю, что встреча стала для меня поистине сакральной. Говорю такие слова без какого-либо лукавства и честолюбия, имея в виду, что именно в день Успения (шестьдесят лет назад!) я мальчишкой-пятиклассником приехал из своего села в кузове полуторки за тридцать километров в райцентр в Воронежской области. Встал перед открытыми воротами действующей церкви, снял пионерский галстук, взошёл на ступени, принял у алтаря причастие от батюшки и попросил его окрестить меня. Произошло это именно 28 августа, как и нечаянная встреча с Валентином Григорьевичем, не иначе промыслом Самой Богородицы. Мне показалось, что я принял теперь второе крещение».

Повезло человеку, звёзды сошлись на земле все сразу в одной точке над его восторженной головой. Что я могу сказать на это? Просто здорово! Можно поздравить.

Но давайте разбираться. Без возвышенного стиля здесь обойтись, конечно же, было нельзя: автор, естественно, «взошёл на ступени». Хотя, точнее было бы сказать «взошёл на крыльцо» или «взошёл по ступеням»). Пионеру, тем более бывшему, должно быть известно, если он об этом пишет, что ворота храма и в праздничный день, и в любой другой, хотя у православных всякий день праздник, не бывают открытыми, разве что в недействующей, полуразрушенной церкви, где привратник ветер.

Сомнительно, что в райцентре сохранилась церковь, но допустить можно. Автор не говорит, зачем он снял галстук, чтобы войти в храм, а по выходе надеть, или решил порвать с пионерским прошлым.

В православной традиции вначале принимается обряд крещения, а потом — причастие, в дальнейшем причастие возможно только после исповеди. Исключение делается только детям, не достигшим семи лет. Но крестить детей без согласия родителей невозможно и сегодня. К тому же в обряде крещения, к которому предварительно готовятся, учат Символ веры, молитвы, должны участвовать и крёстные родители, на которых, в случае смерти или болезни кровных родителей, ложатся обязанности по воспитанию крещаемого.

Есть понятие «промысл Божий», но не Богородицы, как у автора. Я не хочу ни в чём его обвинять. Прошло шесть десятков лет, и человек, глубоко не погружённый в Православие, единственный раз в детстве зашедший в храм, мог что-то и забыть, и перепутать. Это естественный процесс.

Но лёгкость и вольность, с которой многие пишущие люди обращаются с величайшими и глубочайшими духовными вопросами, безответственность, мне кажется, недопустимы красного словца ради.



АЛЛА БОЛЬШАКОВА

Память слова и время памяти

О ПРОЗЕ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

Валентин Распутин — один из ярчайших представителей того литературно-философского направления, которое наши критики и литературоведы то извинительно, то пренебрежительно и даже язвительно называют «деревенской прозой». Момент извинительности заключается во всяческих оговорках и приседаниях: мол, термин это рабочий, необязательный и т. п. Момент уничижительности исходит из подхваченной нашими смердяковыми от науки и литературы формулировки Маркса об идиотизме деревенской жизни. Сразу оговорюсь: оба представления не несут в себе какой-либо серьёзной теоретической аргументации и совершенно неверны. Якобы неточный термин «деревенская проза» абсолютно точно схватывает суть обозначенного им литературно-философского феномена и абсолютно точно указывает на ту социально-историческую почву, из которой произросли наши выдающиеся прозаики и поэты второй половины XX века. Впрочем, не только наши, если иметь в виду, может быть, не в полной ещё мере осознанное значение таких писателей, как Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Василий Белов, Евгений Носов, Василий Шукшин...

«Что стало с нами после»? — задаётся Распутин вопросом в рассказе «Уроки французского». Сказанное, кажется, так и звучит в ряду классических вопросов XIX века: «что делать?» и «кто виноват?» Но вслушаемся в этот вопрос попристальней. Не вчитаемся, а именно вслушаемся. И мы уловим несколько иное: «что стало **с нами** после»? — т. е. что ушло в сновидения, грёзы, в область мифов и преданий о былом. Ведь главная особенность прозы Распутина состоит в том, что его слово является поэтическим в подлинном смысле. А поэтическое слово в первую очередь обращено не к зрению, а к слуху. И вот здесь это качество проявляется в соответствии с той эмпирической данностью, в которой жил Распутин — человек, не заставший ни коллективизации, ни царских времён, а мог услышать лишь их эхо. И сам стал эхом русского народа, эхом трагедии русского крестьянства.

Отсюда жёсткий распутинский императив: «живи и помни». Без памяти нет жизни, а без жизни нет памяти: нет того духовного мира, который составляет смысл нашей жизни. Этот императив («живи и помни») и этот вопрос («что стало с нами»? или «что стало **с нами**»?) прослеживается буквально во всех произведениях писателя: «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Последний срок», «Дочь Ивана, мать Ивана»...

Как отмечалось в мировой русистике, русская деревенская проза, «войдя с конца 1950-х гг. в основное течение русской литературы, породила одни из самых значительных произведений XX в.» и стала «наиболее убедительным свидетельством ее выживания в многонациональном СССР в период застоя». Относясь к

деревенской прозе как к прямой наследнице русской классики XIX века, мировая русистика искала именно в ней (и в творчестве Распутина как самого переводимого на Западе писателя) разгадку русской души в её устремлённости к идеалу — в противовес ощущению бесцельности, абсурдности бытия.

Однако в последнее время усиливается противоположная тенденция. Ещё недавно мы сетовали на угасание интереса к деревенской прозе как предмету якобы познанному, идеологически и художественно исчерпавшему себя. Теперь всё наоборот — хотя далеко не лучше!

Удивительно, но факт. Проза Распутина и его единомышленников, прочно занявшая своё место в учебниках и хрестоматиях на правах русской классики второй половины XX века, неожиданно всколыхнула умы и стала предметом острых споров на страницах нынешней периодики. Ожесточённая полемика развернулась недавно в «Российском писателе» и «Литературной России». Одна из центральных статей, обличающая деревенщиков как «разрушителей», носит знаковое название: «В тени Распутина». Покушение на авторитеты? Ради чего?

Думается, и отрицание великих, и их героическая защита — весь этот неожиданный взрыв любви и ненависти, поместивший хрестоматийные тексты в эпицентр страстей, — есть показатель неких потаённых процессов, исподволь движущих нашим обществом, нацией, историей. Показатель поисков нашей нацией, нашей Россией самоопределения во взвинченном, катастрофически неустойчивом мире...

Были ли русские «деревенщики» разрушителями?

Нелепо читать про якобы воспевавшуюся Распутиным и ему подобными «отсталыми» классиками XX века гибель деревни. Мы забыли или никогда не осознавали, что движут нами не правительство, не экономика или политика, но — корнящиеся в национальном бессознательном архетипы: хранители нашей культурно-исторической памяти; врожденные установки, определяющие наше мировосприятие. Центральный и древний из них — архетип Деревня, превративший нашу исконно аграрную нацию в Русь-Россию. Исчезновение традиционной деревни не искоренило русской тяги к земле, возрождение которой — залог выхода из кризиса! Тяга к земле заложена в нас предками и неискоренима! Наши огромные пустующие пространства ждут своего хозяина. Невозможно представить, что Россия так и останется страной пустынных, заброшенных земель! Если это случится, — нас ждет саморазрушение.

Не устаю повторять: никакие реформы не будут успешными, если они не опираются на архетипы — исконные установки национального бессознательного. Самодвижение народной жизни, как уже не раз показала историческая практика, идёт тогда вразрез спускаемым сверху изменениям. Так началось с времён церковного раскола, разделившего русский мир в XVII веке, и длится с тех пор, отзываясь в XX веке новыми расколами нации в 17-м году и гражданской войне, в переломных 90-х...

На значение архетипа Раскол для духовной жизни России и всего человечества, а также на особенности его актуализации на русской почве настойчиво обращал внимание В. Распутин — в частности, в статье «Смысл давнего прошлого»: «Религиозный раскол, который потряс Россию, подобно землетрясению, в XVII веке и продолжался до века XX, сам по себе явление настолько же русское, на-

сколько и общечеловеческое. Он возник на русской почве, произошёл из русского характера и, в свою очередь, повлиял на развитие этого характера, протекал так, как нигде больше, ни в каком другом народе не мог протекать. Но выражал он собой такие общие понятия и причины, какими руководится при движении и тормозится духовная цивилизация».

Впервые во всю мощь прозвучав в «Житии» протопопа Аввакума, идея сопротивления Расколу стала набирать силу в последующей русской литературе, став наиболее актуальной в деревенской прозе и далее. К примеру, у В. Личутина — автора исторической эпопеи «Раскол» и романов о современной России «Беглец из рая», «В ожидании Бога». В мировоззренческой системе Личутина Раскол — трагическая болезнь национального древа жизни, что издревле подтачивает его корни и жизнеспособные силы. Из романа в роман кочует тревожный лейтмотив: «Всякое царствие, разделившись, опустеет. И всякий дом, ополовиненный, не устоит».

Гордость нашей великой литературы — В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов, В. Шукшин и др. — не «воспевали» гибель деревни, как это теперь пытаются доказать безграмотные критики, именую их «разрушителями», но запечатлели (через художественную индивидуализацию одного из ведущих национальных архетипов) преддверие нового Раскола, обозначившего конец крестьянской цивилизации в завершении советской эпистемы. Они действовали по закону эстетизации явления на пороге его исчезновения, перенося тем самым уходящий из исторической реальности идеал — в возможное будущее. По закону исторической инверсии, открытому М. Бахтиным. Очевидно, эти законы литературного творчества не известны безграмотным обвинителям!

Возьмём для примера упомянутое антираспутинское выступление, изобилующее хлесткими, но бездоказательными обвинениями. Мол, деревенщики, подобно протопопу Аввакуму (?!), звали к смерти и всё разрушали. Мол, именно деревенская проза повинна в «смерти России» (но до этого ещё далековато!). Ярлык разрастается до неузнаваемости. И вот уже Распутин и иже с ним становятся создателями рыночной экономики («Гнали из парткома к храму — вытолкнули на рыночный мороз») и, по сути, теневым правительством, которое якобы привело нашу многострадальную страну к гибели («своими руками народ загубили», с них начался «крах нашей русской жизни»?!). Дальше больше: цитирую один из контрпунктов полемики. «"Выйти России из состава Союза". Это Валентин Григорьевич Распутин. Народный депутат. Потом поправлялся и оправдывался: "Не так поняли". Нет, поняли верно. Выйти».

Когда-то писатель-эмигрант В. Максимов, оглядываясь на своё диссидентское прошлое, с горечью признал: «Целили в коммунизм, а попали в Россию». В отличие от таких ниспровергателей, В. Распутин в своей речи на Первом съезде народных депутатов в 1989 году, как и в своём художественном творчестве, вовсе не культивировал архетип Раскола, ставший бичом для России и русских на века. Слова о выходе России из состава Союза были у него риторической фигурой со знаком вопроса, дабы отрезвить представителей советских республик, помочь им урегулировать отношения с Россией и прекратить начавшуюся уже тогда вражду:

«О стране. Никогда ещё со времён войны её державная прочность не подвергалась таким испытаниям и потрясениям, как сегодня... Шовинизм и слепая гордыня русских — это выдумки тех, кто играет на ваших национальных чувствах,

уважаемые братья... Но играет, надо сказать, очень умело. Русофобия распространилась в Прибалтике, Грузии, проникает она и в другие республики... Антисоветские лозунги соединяются с антирусскими... Не мне давать в таких случаях советы. Вы, разумеется, согласно закону и совести распорядитесь сами своей судьбой. Но по русской привычке бросаться на помощь, я размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете её и если её слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления? А лучше всего вместе бы нам поправлять положение. Для этого сейчас, кажется, есть все возможности».

Ни Распутин, ни Астафьев, ни Белов, ни другие представители деревенской прозы никогда не призывали к распаду СССР¹. Да, они были зачинщиками перестройки, они мечтали о перестройке — но не о той, которая сделала богатых более богатыми, а бедных более бедными. О той перестройке, которая бы сделала всех нас (и прежде всего крестьянство!) счастливее, богаче, свободнее.

Неудивительно, что у разрушающего наши идеалы очернителя, пытающегося укрыться «в тени Распутина», о «деревенщиках» как таковых речи вроде и не идёт. В упомянутой статье названы лишь несколько общераспространённых фамилий (распутиных и беловых ведь много!) и не приведено ни одного названия их произведений, а вместо имён героев небрежно предложен «список» из трёх прозвищ. Невежественный критик открыто расписывается в своём нежелании читать канонические тексты: «Можно ли читать и почитать Распутина и Белова после этого бесконечного потока Анисий, Ильичей, Петровн?...» О чём же речь? Весьма смутно: о неких текстах неких подражателей и эпигонов (согласно ярлыку критика) деревенской прозы, имеющих к ней весьма косвенное, нередко дискредитирующее отношение.

Буду точной. Разоблачаемые «эпигоны» в статье не совсем безымянны. На самом деле вскользь упомянуты имена современных писателей А. Байбородина и Д. Ермакова (за их старообрядческие корни!) для иллюстрации ретроградства «теневого» направления и А. Тимофеева (с его слов почему-то цитируется М. Лобанов). Его соратник А. Антипин здесь вообще не упоминается. Из художественных текстов выдраны две краткие цитаты: одна анонимная, а в другой под видом цитирования выдана искажённая версия исходного дивного эссе Байбородина. Сравним же два образца его прозы. Первый — придуманный бездарным критиком, заключившим в кавычки собственное нелепое измышление: ««Счастье, что били меня, счастье, что не было телевизора, счастье, что Бог отвратил меня от техники, и был я дворником». В этой формуле, выведенной Анатолием Байбородинам «Счастье, или нет худа без добра», не квинтэссенция ли всего современного теневого почвенничества?»

На самом деле речь в автобиографическом эссе известного писателя идёт о том, что, в отличие от лелеявшей младшего сына матушки, отец сызмальства приучал его к труду и аккуратности, и если сын разбрасывал драгоценные в бедной крестьянской семье инструменты, «мог захлестнуть вожжами, коль подвернётся под горячую руку. Это привадило меня к порядку». Где же здесь искомый злобным критиком мазохизм?

¹В дискуссии в «Российском писателе» 2016 г. в выступлении с красноречивым названием «Валентин Распутин не призывал к распаду СССР» группа иркутских писателей уже выступила в защиту Распутина, как и затем А. Тимофеев в статье «Почвенничество как будущее России». Считаю, однако, уместным ввести свои комментарии для прояснения вопроса.

Теперь о преимуществах жизни без телевизора: «Смалу и до зрелости не ведал я телевизора... Зубрил стихи при керосиновой лампе, читал волшебные сказки... сызмала и по сивую бороду люблю Бажовское “Серебряное копытце” и стихи Пушкина, навеянные поэту крестьянской няней Ариной Родионовной. Вижу сквозь сумрак лет: в теплую, ласковую избу с воем скребется пурга, и дивно при сказочно мерцающем, чарующем, желтоватом язычке пламени сказывать, метельно завывая: “Вьюга мглою небо кроет...”». Вспомним о беде нынешнего детского здоровья: поголовное ухудшение зрения и оскудение духовного мира из-за замены чтения литературы уходом в телевизионно-интернетную версию реальности. Нелишне таким «последним из могикан», как Байбородин, напомнить нам, чего лишилось подрастающее поколение!

И, наконец, о дворничестве, которым, кстати, вынуждены были заниматься многие писатели в силу необходимости. И что в том плохого, если нужная работа по очищению нашего быта ещё и давала молодому писателю время и силы для литературного творчества? К тому же аксиома жизненного успеха гласит: надо любить свой труд, в какой бы области ни приходилось работать. И если завравшемуся критику труд дворника кажется унижительным, мы попросту имеем дело с дефицитом уважения к человеку!

Отмечу ещё, что в качестве «либерального» образца ретроградства и «нового луддизма» (якобы весьма близкого Распутину, который, по сведениям критика, негативно высказался об Интернете 10 лет назад (?) взято... выступление президента Пушкинского музея изобразительного искусства И. Антоновой о судьбах искусства и книги в современном мире, где нет и намёка на деревенскую прозу. С таким же успехом нелепый очернитель мог обвинить «деревенщиков» в падении Пизанской башни или вирусных интернет-атаках. Вот она — подмена предмета дискуссии!

Притом совершенно не учитывается, что деревенская проза — явление, относящееся к определенному историческому периоду и имеющее чёткие хронологические рамки: 1960–1990-е, в которых различаются несколько периодов — ранний, канонический и постпериод. Об этом написаны сонмы исследований у нас и за рубежом. Однако нынешние как-то промахнулись. В упомянутой статье опять же не названо ни одного имени исследователя деревенской прозы — свой эклектичный коллаж «разоблачитель» создаёт на пустом листе, словно до него ничего и не было².

Критика же постдеревенских (как я определяю последователей «деревенщиков» в новом столетии) писателей с тенденциозным разбором текстов двух талантливых их представителей, А. Антипина и А. Тимофеева, вынесена очернителем в отдельную статью, как бы предваряющую «В тени Распутина», — очевидно, чтоб безнаказанно (словно это уже само собой разумеется!) топтать их ногами, не утруждая себя доказательствами. Однако в той предваряющей статье с нарочито нафталинным названием «Дедушкина литература» критик всё-таки вынужден был оторвать дискредитированные им фигуры от классиков деревенской прозы: «Этой очевидной неоригинальности, отсутствия живого поиска правды не было ни у Белова, ни у Распутина». Но если не было, так что тогда разоблачать-то «в

²Опять же уточню: одно имя всё-таки названо — критика М. Лобанова, хотя его высказывание: «Форма — не главное» воспроизводится со слов А. Тимофеева — опять же без всякой ссылки, лишь для подкрепления автором статьи своей разоблачительной линии. Но это ли метод цитирования? И при чём тут деревенская проза? Или точность вообще не в чести у зарвавшегося полемиста, который, очевидно, и такого ведущего исследователя деревенской прозы, как Лобанов, не удосужился почитать?

тени Распутина»? Живой поиск правды «деревенщиками»? Или как-то подзабылось зарвавшемуся автору, спешащему выдать очередную скороспелую статейку, своё же положение, отделяющее «неоригинальные» попытки разоблачаемых им «теневых» писателей от самобытного слова Распутина и иже с ним? Не понял он, что сам себе стал противоречить, выстраивая зыбкую версию «теневой» деревенской прозы?

Притом замечу: что такое деревенская проза как литературное направление второй половины XX века, здесь, само собой разумеется, и вовсе не объясняется. Но разумеется ли? Распространённая ошибка былых лет, несмотря на все мои попытки исправления, укоренилась! Деревенская проза по-прежнему понимается лишь как литература О деревне. Как будто не было таких великих произведений о войне, как «Живи и помни» В. Распутина, «Пастух и пастушка», «Прокляты и убиты» В. Астафьева, «Красное вино победы» Е. Носова. Или о жизни городской — «Дочь Ивана, мать Ивана» В. Распутина? Значит, нельзя судить деревенскую прозу сугубо по тематическому признаку — суть её в чём-то ином. В чём же?

Творчество Распутина и вся деревенская проза есть логическое продолжение и своего рода завершение одной из магистральных линий в движении русской литературы XVIII–XX веков. Я имею в виду прежде всего литературный архетип Деревня, впервые сформировавшийся у Пушкина (в стихотворении «Деревня», деревенских главах «Евгения Онегина», в «Барышне-крестьянке» и пр.), но проявившийся ещё в творчестве Карамзина, Радищева и др. Дальнейшее его развитие видим мы у Гоголя, Тургенева, Гончарова, Л. Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова и Бунина, и далее — в веке XX. В разных произведениях проявились разные грани этого архетипа: лики поместно-крестьянской Деревни — между идиллией и жестокой реальностью³. Деревенская проза 1960–1990-х — прощальный поклон русской земледельческой цивилизации — стала мощным завершением этой линии. Отрицать её, значит, отрицать всю русскую классическую литературу!

Однако память литературы, побуждая идти ещё дальше, возвращает нас к первоисточкам: в древнерусскую литературу, когда только появились те архетипы, которые с невиданной силой раскрылись через столетия в деревенской прозе: в произведениях классика XX века В. Распутина. Уже обозначенный нами архетип Раскол, впервые мощно проявившийся в «Житии» протопопа Аввакума, прорезает всё пространство распутинской прозы, вступая в противоборство с хранителями вековых ценностей — архетипами Мир, Родная Мать-Земля.

Память и время

Характерным для В. Распутина и других представителей деревенской прозы стало ретроспективное постижение русской души: того, что дорого сердцу каждого русского. Возросла роль внутренних, психологических параметров времени — с опорой на память как высшую субстанцию народного бытия. *Память Слова*, в первую очередь.

Вот заглядывает в хранилище народного Слова — книгу пословиц русского народа и церковнославянский словарь — герой повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». И... оживает растревоженная память, в своих бесконечных анналах хранящая культурно-генетический код нации.

³Об этом я не раз писала, и моя концепция вошла в литературоведческий оборот. См., к примеру, мою книгу «Деревня как архетип: от Пушкина до Солженицына» (М., 1999).

«Все эти слова, все понятия эти в Иване были, их надо было только разбудить... все-все знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки... Это что же выходит? Сколько же в нем, выходит, немного и глухого, забитого в неведомые углы нуждается в пробуждении! Он как бы недорожденный, недораспустившийся, живущий в полутьме и согбении. “Душу мою озари сияньми невечерними”, — пропел Иван, заглядывая в словарь и опять замирая в восторге и изнеможении.

Нет, это нельзя оставлять на задний план, в этом, похоже, коренится прочность русского человека. Без этого, как дважды два, он способен заблудиться и потерять себя. Столько развелось ходов, украшенных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые результаты, что ими легко соблазниться, еще легче в случае разочарования из одного хода перебраться в другой, затем в третий и, теряя порывы и годы, ни к чему не прийти. И сдаться на милость иссуша заведенной жизни. Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далёко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил <...> когда есть в тебе это *всемогущее родное слово* рядом с сердцем и душой, напитанными родовой кровью, — вот тогда ошибиться нельзя. Оно, *это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета*; с древнейших времен оно само по себе *непорушимая клятва и присяга*. Есть оно — и все остальное есть, а нет — и нечем будет закрепить самые искренние порывы».

«Странная, поздняя гордость отпущена русскому. Поздняя гордость, позднее сожжение и любовь к прошлому», — с привкусом печали признаётся деревенская проза в своих ностальгических прозрениях. На страницах Распутина, Абрамова, Астафьева, Белова, Шукшина, Носова, Екимова, Лихоносова звучит сожаление о том, чего не вернуть или возможно вернуть лишь в воображении: в воспоминаниях о том, что не ценилось, будучи настоящим, со-временным. Усилиями литературы «последнего поклона», «последнего срока» воссоздаётся особый строй восприятия времени русскими: с их культивацией «светлого прошлого», тяготением к вечным формам и идеалам, мифическому правремени. Такая воображаемая «поездка в прошлое» связана, однако, не только с возвышением этого прошлого, но и — переоткрытием исторической правды: правды частного времени (духовной биографии) героя, какой бы горькой она ни была.

Инверсия времени в деревенской прозе — её движение от настоящего к прошлому, в даль памяти — направлена на поиск национальных первоначал, неких исходных точек в самодвижении русской души, истории, мира. Туда, в глубь веков, «в тёмные годы» курных изб и теремов, где «началось русское летоисчисление» (В. Лихоносов). Туда, где и теперь, уже «в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроены здесь изначально, что нет им никакой меры» (В. Распутин «Изба»).

Миф остаётся мечтой, погружением в бездны вечности — непреходящим состоянием поэтической души. Но темпоральная инверсия открывает возможности прошлого как настоящего и настоящего как прошлого, предугадывая пути будущего. Воспроизводимые Распутиным в «Последнем сроке», «Век живи — век люби», «Дочери Ивана, матери Ивана», Астафьевым в «Оде русскому огороду», «Затесях», Лихоносовым в «Люблю тебя светло», «Осени в Тамани», Личутиным в «Домашнем философе», «Фармазоне», «Беглеце из рая» потоки сознания выводят на первый план субъективное восприятие времени. Повествовательная динамика развёртывается вне традиционно линейной хронологии, подчиняясь «пространству сознания», памяти воображения.

Приведу образец подобного письма из распутинского эссе «Видение», где возникает «прощальный пейзаж» души одинокого старого человека, медленно перебирающего нить своих воспоминаний, впечатлений, обольщений и прозрений...

«...Теперь-то я знаю, что обман в бесконечность кончился, никого из оставшихся в нашем корню старше меня нет, и глаза мои все чаще обращаются внутрь, чтобы различить *прощальный пейзаж* <...>

Я вижу себя в небольшой, вытянутой к окну комнате с двумя боковыми стенами <...> Это не комната воспоминаний; да и я словно бы лишен возможности оглядываться назад. Я нахожусь здесь для какой-то иной цели. И внутри комнаты, и за окном, и человеческими руками, и нечеловеческими. Все обставлено с печальной и суровой однозначностью; продолговатая, суженная обитель для одного переходит в суженный, вытянутый вперед мир, окружающий уходящую дорогу.

Но нельзя наглядеться на этот мир — точно тут-то и есть твои вечные отчие пределы».

В ностальгических повествованиях «Прощание с Матёрой» и «Последний срок» Распутина, «Последний поклон» и «Ода русскому огороду» Астафьева, «Плотнические рассказы» Белова, «Осень в Тамани» Лихоносова, в прозе Личутина используется приём «перевернутой» композиции: движение от настоящего к прошлому — в отличие от привычного течения линейного времени от прошлого к настоящему. С погружённости повествователя в воспоминания начинаются не только «Уроки французского» Распутина, но и «Пастух и пастушка» Астафьева («Думала, вспоминала...»), «Письма из русского музея» Солоухина («Помнится...»), «Память лета» Екимова («...Особенно ясно вспоминается лето»), «Проводы солдата» Яшина («Я долго верил, что запомнил, как...»).

Поиск точки отсчёта «русского летоисчисления» деревенской прозой рождает авторскую ориентацию на летописное восприятие времени, вовсе не ушедшего безвозвратно. Времени не столько «потерянного» или «утраченного», сколько ушедшего в глубь народной памяти. Занявшего своё — предопределяющее дальнейший ход событий — место в глубинах национальной памяти. Можно предполагать, что время в мире В. Распутина и других представителей деревенской прозы находится в противоречии с привычным представлением, согласно которому прошлое (как более ранний период) находится сзади, а будущее — впереди.

«Сейчас мы представляем будущее впереди себя, прошлое позади себя, настоящее где-то рядом с собой, как бы окружающим нас. Летописцы говорили о “*передних*” князьях — о князьях *далекого прошлого*. Прошлое было где-то впереди, в начале событий, ряд которых не соотносим с воспринимающим его субъектом. “Задние” события были событиями настоящего или будущего», — отмечал Дм. Лихачёв в «*Поэтике древнерусской литературы*».

Сходная ориентация во многом объясняет экскурсии деревенщиков в «даль памяти», их мысленные «поездки в прошлое», увлечённость воспоминаниями, намеренную ретроспективность и явное упорство в освоении уходящей — в бытие исторических мифов — крестьянской Атлантиды.

«Пышно, богато было на матёринской земле — в лесах, полях, на берегах, буйной зеленью горел остров, полной статью катилась Ангара. Жить бы да жить в эту пору, поправлять, окрест гляючи, душу, прикидывать урожай — хлеба, огородной большой и малой разности, ягод, грибов, всякой дикой пригородной всячины» (В. Распутин «*Прощание с Матёрой*»).

Исчезновение этого Золотого века, вроде бы соотносясь с авторским настоя-

щим, на самом деле уже состоялось: стало фактом прошлого. Но пора расцвета, традиции и стабильности остаётся жить в национальном сознании как нечто предшествующее (расположенное впереди) по отношению к следующему (печальному распаду, который должен случиться позже).

«Что случилось с нами после»? **Расколотое время**

Ещё социолог Касьянова в 90-х предупреждала о тяжких последствиях небрежения к национальным архетипам — особенно оборачивающихся своей негативной стороной. Проза Распутина и других деревенщиков не воспевала начало нового Раскола и гибели Деревни, но с болью и тревогой запечатлела эти процессы в своих произведениях, справедливо названных литературой предупреждения! О том, чем обернулся на переломе веков новый Раскол, подавивший традиционный для нашей исконно аграрной страны архетип Деревня, поведал нам Распутин в своей последней повести «Дочь Ивана, мать Ивана», запечатлевшей другую часть исконной антиномии Город-Деревня.

Нелепо потому звучит вопрос печально известного нам очернителя, пытающегося укрыться «в тени Распутина»: «Чего хотели “деревенщики”?» И вновь невежественный критик разводит руками: «Сказать трудно. Даже в последней повести Распутина “Дочь Ивана, мать Ивана”, виден лишь обзор ситуации, *осторожная проба* всего того, что предлагают в качестве ответа на вопрос “куда идти?” другие» (выделено мною. — А.Б.). Ничего себе «осторожная»! Да и кто эти опять же не названные «другие»?

Итак, вынесенная в название повести Распутина идея родовой преемственности, по мере развития сюжета, обретает статус национальной, державной. Дочь Ивана, мать Ивана — это ведь сама Россия: на заданном названием эмблематическом уровне — двуглавый орёл, точнее орлица, обращённая одновременно в разные стороны света. Одним ликом — в прошлое, которого «как будто и не было», но которое постоянно присутствует в размышлениях и поступках героев; другим — в насильственно обрубленное будущее. А что ж настоящее? Может, его тоже нет? И городской рынок, подмявший под себя заводские цеха, автобазу, где работал муж героини Анатолий (сфера трудовой деятельности); школу, где учились их дети (сфера воспитания и образования); милицию, прокуратуру, суд, приторговывающие «справедливостью» (сфера правопорядка), — вся эта искажённая действительность нынешнего города тоже всего лишь наваждение, сон?

К сожалению, наваждение, но не сон.

Понятно, что писатель не идеализирует прошлое — неслучайно его героиня всё-таки «убежала» из родной деревни (потом точно так же убегает из постсоветской школы её дочь Светлана). Понятно и то, что будущее, несмотря на жизнеутверждающую вроде бы концовку повести, представляется писателю отнюдь не в розовом свете, скорее, продолжением того же рынка, где по одну сторону прилавка властвуют новые господа, «сознающие свою силу», а по другую — толпится «не понимающий, что с ним происходит... народ». Но столь же ясно и то, что пока из этого народа, из его массово-добровольного рабства будут выламываться такие люди, как Тамара Ивановна — главная героиня повести; её сын Иван; не растерявший себя в новых условиях справный мужик Дёмин или честный служака закона следователь Николин, — Россия не иссякнет!

Кажется, их мало, очень мало таких людей, способных на решительный поступок. Да и сами они чувствуют себя порою песчинкой в неумолимых жерновах «судьбы и рока». Однако и «песчинка» способна разладить однажды заведённый механизм. Повесть Распутина — не о способности «песчинки» к бунту, а о готовности к осознанному действию. Неизбежность схватки не на жизнь, а на смерть нации, по своей природе неторгашеской, с экспансией торгашества и насилия, — для него очевидна. И тут возникает другой вопрос: на какие духовно-нравственные ценности может опереться в этой схватке русский народ?

В ответе на этот вопрос и заключается значение В. Распутина. В «Прощании с Матёрой» мы видим древний земледельческий мир, словно застывший на пороге своего исчезновения, — и все усилия автора направлены на сохранение его в нашей памяти: «Пышно, богато было на матёринской земле...», говоря вещими словами одной из его героинь, старой крестьянки Дарьи: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни».

Это национальное культурное наследие, которое должно всегда быть с нами — как и имя, и творчество великого русского писателя Валентина Распутина!

Будучи голосом насильственно уничтожаемой крестьянской цивилизации, он раскрыл всему миру её непреходящие духовные ценности. И, выявив несправедливость и корыстолюбие властей по отношению к этой цивилизации, отдал все свои силы для сохранения правды памяти!

ЭДУАРД АНАШКИН

Золотистый золотой!

О ПРОЗЕ НИКОЛАЯ ИВАНОВА

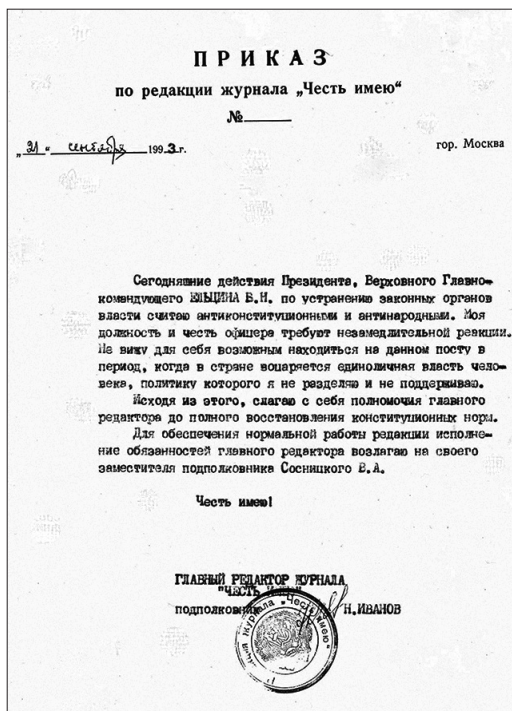


Николай Иванов

Есть писатели, чья биография захватывает читателя не меньше, чем произведения. Потому что их произведения — это не только предмет литературы, но и продолжение авторской судьбы. Таких писателей не много, и к таким принадлежали из зарубежных прозаиков Джек Лондон и Эрнест Хэмингуэй, а из русских писателей XX века можно назвать того же Владимира Карпова, автора уникальной военной, и не только, прозы. Таким писателям не надо искать своего героя, потому что герои их произведений живут в них и находят писателей сами, в процессе их насыщенной жизни.

Современный замечательный прозаик Николай Фёдорович Иванов из этой категории редких писателей, заложников и создателей своей уникальной судьбы. И дело даже не в боевых наградах Иванова, среди которых такие почётные, как орден «За службу Родине» и медаль «За отвагу», не говоря уж о множестве других военных и литературных наград. Дело в судьбе, в которой отразилась непростая наша эпоха. И судьба этого писателя, этого человека сложилась так, что вполне может стать сюжетом отдельного романа о нём. Она, судьба, благоволила к Николаю Иванову настолько, что ставила его в такие безвыходные и трагичные ситуации, что, видимо, Николаю Фёдоровичу ничего не оставалось, как применить этот же метод к своим литературным героям.

Любит, ой любит, Николай Иванов ставить своих героев в поистине страшные безвыходные ситуации. Но это и делает его в прозе драматургом. Ведь такие ситуации и выявляют суть человека. У самого Иванова таких ситуаций в жизни было предостаточно, придумывать особо ничего не надо. Причем происходили эти ситуации как на театре военных действий, так и в мирной жизни. Начать с того, что в предательские девяностые годы он, офицер, дававший присягу верности стране, не изменил данной присяге и не стал орудием исполнения указаний предательских прорабов перестройки и рынка. Отошёл от зла, что ставило под вопрос честь офицера. Он оказался единственным в Центральном аппарате Министерства обороны Российской Федерации, кто подал рапорт с просьбой об отставке. Вот, к примеру, два приказа: один подписан в сентябре месяце, а другой — в ноябре, после кровавых событий в октябре 1993 года.



Всю жизнь, куда бы ни бросала Иванова его прихотливая и щедрая на перипетии судьба, он оставался верным воином России. Неслучайно многие годы руководил журналом Министерства обороны Российской Федерации «Советский воин». А бывших воинов, как и воюющих атеистов, как известно, не бывает. Николай Иванов прошёл горячие точки Афганистана и Чечни, был в Южной Осетии — Цхинвале. Перед референдумом в Крыму, в Севастополе — собрали с известным поэтом Александром Бобровым писателей Крыма и на Сапун-горе подняли копию Знамени Победы. Сказали: «Россия с вами!» Много раз Николай Фёдорович был в Донбассе, прорвался даже в Сирию.

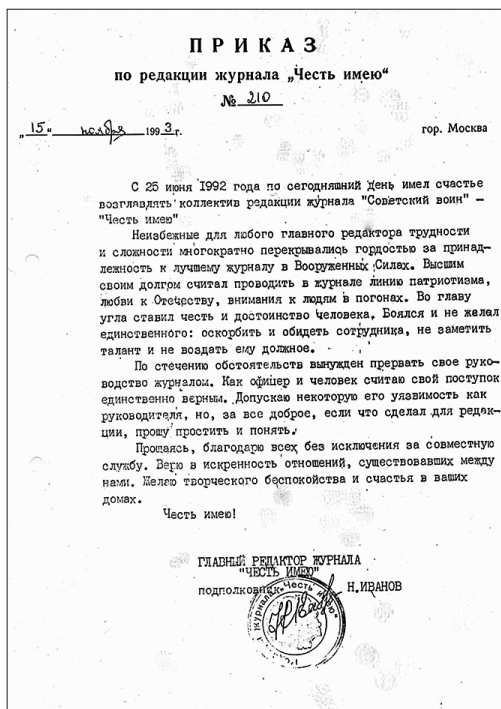
Иванов написал министру обороны России письмо, в котором есть

такие слова: «К бойцам летают чечёточки, частушечники, балалаечники, и ни одного писателя не посылаете. А завтра будете на коленке сочинять историю нашего сирийского похода?..»

В течение многих месяцев томился в чеченском плену, где боевики прозвали его Полковник Чехов. Знали, что Иванов по званию полковник, а по призванию — писатель. От расстрела Николая Фёдоровича спасло только чудо и... успешная спецоперация по его освобождению... В общем, чем больше узнаешь биографию этого человека, тем больше складывается впечатление, что жизнь Николая Иванова сама, похоже, пишет роман, избрав его в главные герои.

Не прекословя жизни, Иванов-прозаик и героев своих книг ставит в безвыходные ситуации. И уже потом вместе с ними ищет выход, как правило, заранее сюжет не выстраивая и финал не планируя. Потому-то его проза оставляет впечатление того, что действие творится здесь и сейчас, и читатель сам является его соавтором и участником.

Я всегда считал, что главная работа писателя — работа за письменным столом. И от слов своих не отказываюсь. Но Николай Иванов — редкое исключение из правил. Его основное рабочее место — сама жизнь. До того



как садиться за произведение, Иванов словно проживает его. Известный в литературных кругах как автор суровой военной прозы, он в не меньшей степени и лирик в этой прозе, человек, который, познав тяготы войны, особенно ценит радости мирной жизни. Об этом свидетельствует новая книга прозы Николая Иванова «Спецназ. Офицеры. Тот, кто стреляет первым», подаренная мне автором в 2017 году с автографом:

«Моему собрату по творчеству — Эдуарду Анашкину, обладающему внутренним зрением и способным за строчками увидеть автора.

С поклонением, Н. Иванов»

Когда я имел возможность, то частенько приезжал в Дом творчества «Переделкино» — поработать, встретиться с друзьями-коллегами по перу.

Однажды здесь, в Переделкино, гуляя по аллеям, разговорились с Николаем Фёдоровичем о литературе, о радостях мирной жизни. И он мне сказал так:

— Эдуард Константинович, когда Вы говорите о радостях мирной жизни, я бы здесь провёл мысль о том, что, по моему мнению, военная литература, настоящая литература о войне, — самая жизнеутверждающая! Ненавижу километры стреляющих книг на сегодняшних книжных полках, где очередная стрельба, очередной бой — это стрелялки, обесценивающие жизнь солдата, а не показывающие его крутизну. Поэтому о войне надо писать без наркоза. Как только отстранился — обезопасил себя, свои нервы, потратил время на строчки, но не создал произведения.

Иванов в это время проводил совещание с молодыми военными писателями. Семинар проходил в новом корпусе, на первом этаже, около бильярдного стола. Большинство писали первые рассказы именно о стрельбе, выпячивая грязь, мат, дурачества командиров.

— Три дня не мог втолковать, — рассказал затем Николай Фёдорович, — что не надо надевать белые манишки и мантии судей, чтобы свысока говорить о своих боевых друзьях столь пренебрежительно и унижающе. Твердят, «это правда войны». Доказываю, что правда войны — это когда воробей прыгает по колючей проволоке. Когда по крыше землянки бежит ручей... Не вникают. На третий день принёс на семинар бутылку водки и одно яблоко. Молча разлил водку на всех, разделил по кусочку яблока. Пригласил всех к бильярдному столу, у которого вели семинар. И сказал, давайте поднимем сразу третий тост. За погибших наших друзей. И подумаем, как и что о них, находящихся на небесах, пишем и сочиняем мы, оставшиеся в живых. Будет ли им приятно, что их дети будут думать о своих погибших отцах? И хотели бы вы, чтобы о вас были написаны такие книги? Третий тост.

Долго не выпивали. Стояли погружённые в себя и свои строчки. И гробовая тишина. И всё словно перевернулось в сознании.

Я очень рад, что на семинаре Николая Фёдоровича Иванова были такие молодые писатели, потому что одиннадцать человек ныне члены Союза писателей России.

Думаю, никакого особого внутреннего зрения не надо, чтобы увидеть то, что зримо любому! Очевидно, что военная проза Николая Иванова, помимо её художественных достоинств, ещё и документ эпохи. Ведь она существует в очень редком жанре, где за художественностью угадывается документальная конкретика. Прочитав, как мать русского солдата, обезглавленного в плену чеченскими боевиками, приезжает в Чечню, чтобы забрать тело сына, мгновенно понимаешь, что речь идёт о вполне конкретном событии и вполне конкретных людях. О русском великомученике, солдате Евгении Родионове, который даже в чеченском плену не

снял православного креста, за что был зверски обезглавлен. О солдате, под пером Иванова ставшем символом и образом одновременно. Как и его самоотверженная мать, которой циничные чеченские боевики предложили забрать тело сына, пройдя по минному полю... И мать, ни на минуту не задумываясь, пошла по минному полю, словно ведомая свыше. И ни одна мина не посмела сдетонировать под ногами этой женщины, словно это шла святая, не касаясь земли ногами. Да, только такая женщина могла родить и воспитать такого героя-солдата! Этот эпизод в книге поражает одновременно трагизмом и эпическим лиризмом. Вот какие книги надо читать нашей молодёжи, чтобы не возникало желание каяться за победы своего народа!

Конечно же, взгляд Иванова на войну — это взгляд того, кто воевал. Для всяческих миротворцев и предателей заведомо неприемлемый взгляд изнутри. Конечно, этот взгляд военного человека бывает жёстким. Но взгляд писателя Иванова шире взгляда офицера Николая Иванова. А потому он, бывший пленный и настоящий офицер, показывает войну не только сплошной чередой ужасов и крови, какой она, конечно же, является. Николай Иванов остаётся не только человеком дела, но и художником слова. И к чести его, офицерской и писательской, этим словом Иванов умеет владеть как табельным боевым оружием.

И на войне, как показывает нам Иванов, жизнь, во имя которой война ведётся, продолжается. И люди так же, а может, даже сильнее, чем в мирной жизни, хотят любить и быть любимыми, презирают приспособленцев, хотя таковых в местах, где свищут пули, много не наберётся. И хотя смерть ходит рядом, они сквозь вой пуль и стоны раненых думают о жизни мирной. Две молодые женщины санитарной части обсуждают свою непростую женскую судьбу. Молодые военные, понятное дело, не только ходят в атаку и бьются с противником. В редкие спокойные часы они не против того, чтобы улыбнуться женщинам, даром, что санчасть называют «тридевятым царством», т. е. заповедной зоной. Жизнь и тут оказывается сильнее смерти, что караулит всех.

А какие прекрасные речевые характеристики даны писателем своим персонажам! Они говорят каждый своим языком, они не унифицированы, несмотря на то, что военная форма и война — самый страшный унификатор. Они такие, словно мы их давно знаем, встречаем этих людей. Да мы и сами в каких-то жизненных ситуациях похожи на героев книг Николая Иванова. Потому так естественно примеряем на себя судьбы его героев, как бы ставя себя на их место. За эти читательские прозрения я и хочу поклониться автору книги.

Несмотря на свою человеческую и писательскую открытость, Николай Фёдорович очень неохотно рассказывает о своей семье. Жена Мария Алексеевна у Иванова первая и единственная, как Родина у офицера. Дружил с будущей супругой Николай Фёдорович ещё со времён суворовского училища. Такие семейные тандемы даже браком назвать язык не поворачивается. Это именно союзы. Всю жизнь с мужем по гарнизонам — судьба жены офицера. Мария Алексеевна по профессии агроном. А вот благодаря скитаниям с мужем по военным гарнизонам освоила много других профессий: машинистки, секретаря секретного делопроизводства, воспитателя детского сада. У Марии Алексеевны и Николая Фёдоровича двое детей, которые подарили им уже троих внуков. Сын Александр — юрист. Дочь Надежда возглавляет пресс-службу лесного хозяйства Московской области...

С творчеством Николая Фёдоровича Иванова я знаком ещё с тех пор, как друзья прислали мне «Роман-газету» с повестью «Вход в плен бесплатный, или Рас-

стрелять в ноябре». Читая, я изумлялся мужеству автора и одновременно радовался, что открыл для себя нового талантливое писателя. Личным знакомством с Николаем Фёдоровичем Ивановым я обязан ответственному секретарю приёмной комиссии Союза писателей России, прозаику Светлане Васильевне Вьюгиной. В мой очередной визит в Москву на Комсомольский проспект она привела меня в кабинет Иванова. Кофе Николай Фёдорович меня тогда угостил, а вот книгу свою «Семь нот о любви» подарил позже, на Всемирном Русском народном Соборе в 2012 году.

Спустя ещё несколько лет моя домашняя библиотека пополнилась ещё одной книгой Николая Иванова, изданной в Брянске, «Новеллы цвета хаки». Подарок случился в день Крещения Господня 19 января 2015 года: *«Эдуарду Константиновичу — человеку Слова, Дела и Мысли. Искренне. Николай Иванов»*.

И вот новая книга, новая высота, новый виток судьбы... Непростой, но счастливой и насыщенной судьбы замечательного писателя Николая Иванова, вполне заслуживающей, чтобы стать книгой.

Театр и смыслы — это соединимо?..

ЭХО ВАМПИЛОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Избежим на сей раз подробного перечисления театров-участников Международного фестиваля современной драматургии им. Александра Вампилова, прошедшего в сентябре минувшего года — программы и буклеты сохраняются в музее драмтеатра, библиотеках, на сайтах и т. д., скажем только, что спектаклей было девятнадцать, три из них — московских, два из Санкт-Петербурга, шесть зарубежных, остальные из разных городов восточной части России.

80-летие со дня рождения Александра Вампилова было отмечено семью спектаклями по его пьесам. Остановимся на двух из них, что прошли на основной сцене, — с точки зрения раскрытия замысла драматурга. Это «Старший сын» Московского драматического театра «Сфера», режиссёр-постановщик — народный артист России Александр Коршунов, и «Прошлым летом в Чулимске» Государственного академического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, режиссёр — заслуженный деятель культуры России Сергей Афанасьев (Санкт-Петербург).

Первый оставил впечатление более глубокого погружения в мир Вампилова, более точной передачи взаимоотношений и характеров в семье «чудных людей» Сарафановых. Единственное — исполнитель роли Бусыгина излишне сосредоточен и угрюм, остро переживает, очевидно, свой обман, и потому выглядел тускло-вато на фоне раскованного и обаятельного Сильвы.

Спектакль петербуржцев вместо драмы в двух частях был загадочно обозначен как «опрокинутая комедия в двух действиях». От этого драма «Прошлым летом в Чулимске» комедией не стала, но характеры действительно «опрокинуты». Валентина — статная, жизнерадостная, чувственная девушка, она поёт и танцует возле палисадника; Шаманов — предельно расслабленный, скучающий и безвольный. Их первое объяснение с Валентиной заканчивается поцелуями — чего и близко нет у Вампилова. Пашка, вопреки всем обстоятельствам, сформировавшим его характер и судьбу, смотрится вполне симпатично — ловкий, опрятный, никаких признаков грубой натуры. Он всего лишь жертва измены матери Дергачёву, и то, что он содеял с Валентиной, к его благопристойному виду не очень-то вяжется. Зачем же тогда возвращён из архива первый, из черновиков, вариант финала: самоубийство Валентины? Выходит, «опрокинутая комедия» на самом деле — трагедия? Но известно давно, что Вампилов отказался от трагического конца, оставив свою героиню жить, причём отказался сам, без всякого нажима со стороны и с чувством большого облегчения (есть свидетельство его друга Валентина Распутина), и потому обращение театра к предыдущему варианту — прямое нарушение воли драматурга.

Вдобавок финал до правки в этом спектакле частично соединён с финалом после правки, что психологически не оправданно. По прежнему финалу, когда прозвучал роковой выстрел, все действующие лица были повергнуты в шок и в этом состоянии просидели на крыльце чайной остаток ночи. Утром Шаманов нашёл в себе силы лишь поправить оставшийся без Валентинино пригляда палисадник. В полном молчании, на тягостном осознании общей вины

пьеса и заканчивалась, что вполне логично для такого развития событий. Но театр двинулся дальше по пути перекройки драмы Вампилова и присоединил к черновому финалу фрагмент из окончательного варианта. И что получилось: в острейший момент трагедии, когда каждый потрясённо замер на своём месте, Шаманов вдруг направляется к телефону и твёрдым голосом заказывает на завтра машину, чтобы ехать в город и выступать на суде, на что раньше у него не хватало духа. Быстрее всех выйдя из прострации, — что само по себе удивительно, следовательно почему-то не подумал, что теперь у него есть более срочное дело: разбираться в обстоятельствах самоубийства молодой девушки! Какой город! Какие другие дела!

Совершенно очевидно: «новая редакция» режиссёра Афанасьева получилось хуже, чем обе прежние драматурга Вампилова.

Так много ныне заботы о правах человека, но почему драматург не имеет никаких прав?! Почему классика превратилась в сырьё для режиссёра, и нет покоя даже черновикам?! Ну на афишах пишите хотя бы: «по мотивам»!

К слову, и у москвичей в «Старшем сыне» тоже поставлен предпоследний вариант пьесы, где Бусыгин сам называет себя сыном Сарафанова, а не Сильва, которого вдруг осенила авантюрная идея, навеянная словами Бусыгина о «брате страждущем». Да, в этом случае правка была внесена Вампиловым под влиянием А. Симукова, о чём тот пишет в своих воспоминаниях (А. Вампилов. «Дом окнами в поле», 1982). Но если драматург согласился и вместе с режиссёром Владимиром Симоновским именно в этом варианте в 1969 году выпустил «Старшего сына» на сцену Иркутского драмтеатра, и спектакль считается лучшим до сих пор, то опять же зачем брать отброшенное, тем более что после правки сцена с признанием стала острее и интереснее?

В год 80-летия со дня рождения Валентина Распутина Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова представил спектакль «Прощание с Матёрой». Не вдаваясь в подробности режиссёрской работы Геннадия Шапошникова, отметим главное: зал внимательно и чутко вслушивался в слово Распутина, а это значит, что актёры сумели донести это слово до зрителя. Кстати, то же самое было на мартовском вечере-посвящении «Земля у Байкала» в Иркутском ТЮЗе им. А. Вампилова, где режиссёром-постановщиком — заслуженным работником культуры РФ Виктором Токаревым — в композицию были удачно включены не только сцены из спектаклей по прозе Распутина, но и отрывки из его публицистики.

* * *

Теперь о том, что более всего потрясло на этом фестивале.

Сначала со знаком минус — по ходу программы.

Как только актёры Театра эстрады им. Аркадия Райкина (Санкт-Петербург) вышли на сцену в спектакле «Шуры-муры» по рассказам Василия Шукшина, сразу стало понятно: зрителя будут сильно смешить. Лица грубо накрашены, телодвижения уродливо изломаны, наряды нелепые, речь маловразумительная. Близок ли такой юмор шукшинскому изображению деревенских чудиков — людей простых, но своеобразных? Не близок, а очень далёк.

Избран жанр клоунады, больше подходящий для цирка, где клоуны обыкновенно неуклюжи и глуповаты, чем особенно смешат маленьких детей. Но перед

нами Театр эстрады, носящий имя выдающегося артиста, который, пользуясь приёмами гротеска и сатиры, вскрывал нерадивость, тупость, хамство, имевшие место быть в разных слоях современного ему общества. Если же рассказы Шукшина увидены сугубо сатирическим оком режиссёров — заслуженного артиста России Юрия Гальцева и Владимира Глазкова, — то на кого направлена сатира? На народ? Но Василий Шукшин не писал сатиру на своих земляков!

В зале смеялись. Но не все. Некоторые зрители в антракте театр покидали, в том числе и критики.

Теперь со знаком плюс.

Тот, кто прочитал перед спектаклем Минусинского драматического театра «Колыбельная для Софьи» первоисточник — «Наводнение» Евгения Замятина, то наверняка подумал: зачем театр выбрал такую страшную историю и каким образом он её поставит?! Её невозможно рассказывать простым человеческим языком в рамках традиционного реализма, потому что это фантастический реализм. Это общее помрачение людей, слом, обрыв, наводнение зла, подобное выходу Невы из берегов, когда жизнь отдельного человека теряет всякую цену. Написано в 1929 году, при обрушении всего, в том числе и церкви, и простому человеку некуда было приклонить голову.

...Женщина, жаждущая материнства, совершает жестокое убийство девочки-подростка, сироты, которую привела в дом после похорон соседа. Девочка оказалась развращённой и не стала дочерью, а стала наложницей приёмного отца. Зло, помноженное на зло, разрослось как раковая опухоль, затмило сознание, пробудило древние инстинкты.

Режиссёр спектакля заслуженный деятель искусств России Алексей Песегов в условиях вполне понятного онемения находит другие изобразительные средства. Он обращается к приёму немого кино, пришедшего в ту эпоху на экран. Текст сведён к минимуму, оставлен только по необходимости для передачи сюжета. Есть язык пластики, есть язык музыки Ирины Беловой и Евгении Терёхиной, здесь-то и заключена драматургия то нарастающей, то спадающей волны безысходности, перед которой бессилён человек.

На заседании круглого стола прозвучало мнение, что в спектакле есть преступление, но нет раскаянья, и это уходит в будущее как оправдание жестокости. Но в то же время мысль Достоевского не отменена: нет преступления без наказания. И в самом деле, оно неизбежно: убивая приёмную дочь, Софья убивает в себе мать. Потому её признание выговаривается так хладнокровно. Выжить для неё вовсе не означает жить. Права московский критик Лана Гарон: спектакль сложный, но он отвечает традиции русского психологического театра, так как говорит о главном.

* * *

Круглые столы фестиваля с участием критиков, столичных и сибирских, уже давно дают возможность (редкую для наших дней) обмениваться мнениями о современном театре. В нынешнем году фестиваль обозревали:

Гарон Светлана Александровна (псевдоним Лана Гарон) — театровед, критик, эссеист, постоянная участница отечественных и международных театральных фестивалей (Москва);

Погосова Наталья Вартановна — театровед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры сценической речи РУТИ (Москва);

Сенаторова Ольга Валентиновна — критик, аналитик театра, менеджер высшей квалификации в сфере культуры (Москва);

Игнатюк Ольга Троадиевна — театральный критик, кандидат искусствоведения, постоянный член жюри российских, региональных и международных театральных фестивалей (Москва);

Бураченко Алексей Иванович — кандидат культурологических наук, театровед и театральный критик (Кемерово).

Из иркутских критиков принимали участие Светлана Жартун, Арнольд Беркович, Валентина Семенова.

Первая тема — «Традиции Вампилова и современный театр». Наталья Погосова отметила такое противоречие: нет театра Розова, театра Арбузова, но почему-то есть театр Вампилова, хотя развития не заметно. Поствампиловский театр — это другое. Уникальность в том, что драматургия Вампилова впитала в себя такие смыслы, которые не постигают современные режиссёры. В ней сошлись традиции и русской литературы, и зарубежной: Чехов и Ибсен, театр абсурда — в горниле духовной печи всё переплавилось.

Человек отринут от ценностей, он теряет ориентиры. Остаются инстинкты: страсть, преступление. Мы утрачиваем чистоту, которая есть у Вампилова, его жажду общения, дружбы...

Лана Гарон назвала ещё одну приметку времени: изменился предмет удивления. Чем театр сегодня может удивить? И театр, и зрители — не на уровне материала вампиловских пьес. В итоге «Утиная охота» дала простор чернушной пьесе.

Алексей Бураченко выразил уверенность, что Вампилов может вернуться через много лет, как Чехов, который исчезал со сцены после «Вишнёвого сада», а потом явился снова. Но надо определиться по отношению к советскому прошлому. Вампилов интересен критику тем, что исследовал провинцию, которая есть понятие условное. Он показал цельных людей, теперь провинциалы так не воспринимаются.

Светлана Жартун заметила, что к Вампилову уже возвращаются: если в начале зарождения фестиваля спектаклей по его пьесам почти не было, то теперь их всё больше.

Ольга Игнатюк сделала обзор современных постановок Вампилова, начав с «примера классического подхода» к его творчеству в провинции.

Так, в Омске в 2003 году театр «Галёрка» поставил все пьесы драматурга под названием «Пять вечеров с Вампиловым». По мнению критика, мир Вампилова предстал в полном объёме как наш эпос, миф — слёзно, страстно, душевно. Что в столицах? Большой разброс. Это и саунд-драма В. Панкова по «Утиной охоте», где много музыки, и если не знать текста, не поймёшь о чём речь; весь спектакль утопает в воде. Ирина — бурятка, в национальной одежде, с крыльями за спиной. Она пытается своими мантрами поднять Зилова из гроба, весь спектакль — затянувшийся зиловский бред. Но по-своему красиво...

В антрепризном театре «Свободная сцена» «Старший сын» поставлен в эстрадно-цирковой манере. Главный клоун — артист В. Сухоруков, исполнитель роли Сарафанова. В театре «Около дома Станиславского» Ю. Погребничко поставил уже три варианта «Старшего сына» — нежное, тонкое представление, но с изменениями. Сарафанов погружён в воспоминания, является девушка из военного времени, а пишет он пьесу «Чайка»...

Показательна реплика Ланы Гарон, завершившая тему (из разговора в театре двух подруг):

— Ты что такая грустная?

— Ничего не поняла...

— Так надо привыкнуть!

* * *

Не впервые на фестиваль приезжают Марина Меркулова и Александр Мягченков, представляющие на ТВ медиаканал «Артист» (Москва). На этот раз они показали свой телефильм «Эдип в Эпидавре» — о спектакле «Царь Эдип» в постановке Римаса Туминаса Московского театра им. Е. Вахтангова. Спектакль ставился в Греции, участвовал греческий хор. Театр под открытым небом, на 12 тысяч зрителей — было трудно вписаться в пространство. Несмотря на волнения, спектакль удался, хотя выступавшие из числа видевших «Царя Эдипа» в Москве отмечали, что «слишком много формы»; по общему мнению, удался и телефильм о спектакле, работа вахтанговцев была увидена изнутри, с их поисками, переживаниями, сомнениями. Всем понравилось, что режиссёр Туминас — а он сегодня признан фигурой номер один в театральном мире — ставил перед собой сложные задачи: «Мне не нравится репетировать, мне нравится понимать».

* * *

Круглый стол «Театр в зеркале критики: кривое зеркало или другая реальность?» был посвящён проблемам современного театра. Уже не впервые говорилось о кризисном состоянии культуры. Не впервые критики возражали против слова «услуга» в применении к высокому искусству, свидетельствовали о жесточайшей борьбе за выживание репертуарного театра и о том вреде, который наносит выход экспериментального направления и денежного подхода на первое место.

На этот раз, рисуя общую картину, ведущая заседание Лана Гарон подчеркнула имитацию глубины, случайные ассоциации, вызывающие размывание смысла, допинговые приёмы типа «Ночь в театре», «Ночь в музее», подмену живого театра мультимедийными технологиями, тусовочность критики, когда зритель не понимает, что он должен смотреть; Ольга Игнатюк напомнила о достижениях отечественного театроведения во второй половине минувшего века, о журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Театральная Афиша», «Современная драматургия», имевших большое просветительское влияние. К сожалению, теперь такой системы нет, критикам печататься негде.

Алексей Бураченко высказал мысль, что помещение театра в сферу услуг — это предлагаемые обстоятельства. Но всё зависит от директорского корпуса, поэтому кому-то удаётся удерживать лучшее, и чаще в провинции, хотя, конечно, нельзя маргинальный экспериментальный театр превращать в основной.

Анатолий Стрельцов, директор ИАДТ им. Н.П. Охлопкова, заметил, что с «услугой» всё непросто: она встроена законодательно: налог, статистика, бюджет. В законодательной базе отсутствует понятие театра. Серебренникову дают экспериментировать, нашему театру — нет. Гранты получают известные столичные теа-

тры. Есть много крепких периферийных, но мы не знаем подходов. Когда театр переходил в автономное учреждение, Александр Калягин убеждал: это лучше, торгов (тендера. — *В.С.*) не будет. Перешли — торги остались.

Нам нужны патриоты страны. И ещё есть «не убий», «не укради» — вот на чём надо строить работу. Но для этого необходимо, чтобы принималось решение: вот будет юбилей Куликовской битвы — вот к нему и грант. Почему бы по итогам этого разговора нам не обратиться с письмом в Общественную палату?

Ольга Сенаторова поддержала предложение, выразив надежду, что на другой трибуне вдруг оно и прозвучит. Но всё рождается на принципах. Надо ответить на вопрос: какова концепция человека сегодня? Нельзя быть сосредоточенными только на театральной сцене. И находятся люди, которые умеют пробивать стены. В Московской области принят закон о театре. Мы семь месяцев трудились. Тюмень — первая среди регионов, принявшая такой закон.

Наталья Погосова частично согласилась с Бураченко, но обратилась к другой стороне вопроса: театр выживает трудно, наблюдается умирание телевидения — есть Интернет. Он даёт возможность выбора, и это его роднит с театром. Но Интернет ведёт к отчуждению от живого общения — такое противоречие. В современном театре всё зависит от режиссёра. Свобода, цензуры нет, есть право на самовыражение. Зритель уже не нужен, даже актёр не нужен. Раньше для режиссёра зеркалом были публика и критика. Теперь режиссёру неинтересно, как они реагируют. И критик стал подыгрывать режиссёру. Идут подмены. Но ведь есть право говорить правду друг другу — в этом направлении надо двигаться. Будем надеяться, что такое право будет восстановлено.

Раздавались предложения: усиливать работу советов по культуре, привлекать школьников в театр, работать с родителями. К молодым были обращены призывы служить театру, а не искать лишь одного успеха. Молодые, в свою очередь, спрашивали: как быть, если после училища нас нигде не ждут, если попадёшь к режиссёру, который ставит секс? Создавать свой театр? Опять же посредством «услуги» привлекать в него зрителя?

Вопросов было больше, чем ответов, но разговор не прошёл бесследно. Предложения для Общественной палаты по проблемам театра вскоре были высказаны на Днях Иркутской области в Москве, в Малом театре, на заседании круглого стола после спектакля «Прощание с Матёрой» ИАДТ им. Н.П. Охлопкова. В обсуждении наболевших вопросов приняли участие художественный руководитель Государственного Академического Малого театра, режиссёр, государственный и общественный деятель Юрий Соломин, президент кинофорума «Золотой Витязь», первый заместитель председателя Общественной палаты Николай Бурляев, директор Иркутского драмтеатра Анатолий Стрельцов, московские театроведы и критики Ольга Сенаторова, Капитолина Кокшенёва и др. В декабре многое из этого прозвучало на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры.

* * *

Обсуждение спектаклей — не главная часть Вампиловского фестиваля, но и они бывают. Нетрудно заметить: в них больше заинтересованы актёры провинциальных театров, чем столичных, хотя оценивают спектакли в первую очередь столичные критики, имеющие большой опыт работы на фестивалях.

Разговор Ольги Сенаторовой с коллективом Камчатского театра драмы и комедии по пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас» и режиссёром Егором Чернышовым не задался сразу, и это можно считать блестящей иллюстрацией к теме недавнего круглого стола. Едва критик, которому важны «смыслы и обоснования», стала говорить о замеченных противоречиях — например, в определении жанра спектакля, в развитии действия, как последовали энергичные возражения режиссёра, не пожелавшего дослушать до конца ни единой фразы. Было совершенно ясно: такое общение ему не нужно, и он его не допустит. Разыгрался ещё один спектакль под лозунгом: «Руки прочь от режиссёра!»

Так что владычество режиссёрской эпохи продолжается, общественное мнение ему не указ, государство в лице чиновников неуклюже пытается вмешаться в процесс. Вместо того чтобы просто поддержать критический цех в СМИ. Но прежде нужно не только продекларировать «Основы культурной политики», а выработать общую стратегию государства, что жизненно необходимо для всего народа, а не только для театральной среды. Без такой основы никакие отраслевые «Основы» работать не будут, что и происходит.

В отличие от режиссёра Чернышова многие согласятся с критиком Сенаторовой: «Мы устали от отсутствия смыслов, от смыслов, которые нас разрушают».

Но театр — не создатель смыслов, театр — зеркало.

Радоница



К 105-летию со дня рождения писателя Алексея Зверева

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

С болью и верой, честно и талантливо

...И ещё одно качество привлекает в прозе А. Зверева: она проста и незаметна, бесхитростна и скромна настолько, что у тебя нет ощущения чтения, труда от чтения, а есть ощущение движения вместе с автором и его героями, видения, слышания, участия во всём том, что делают они. Так, читая и словно не читая, радуясь, ненавидя, сокрушаясь, печалась, соглашаясь и не соглашаясь — проживая, одним словом, ту же самую, что и они, жизнь, подвигаешься потихоньку к концу повествования... Чувство прочности и надёжности прозы, какой-то особой важности её в жизни охватывает всякий раз меня, когда я читаю повести и рассказы Зверева. Чувство полного доверия к автору, ко всему тому, *что и как* он пишет, хотя письмо его, лишённое всяких литературных ухищрений, напоминает порой устный рассказ — со всем удивительным богатством народной речи, но и со всевозможной неприглаженностью.

Я помню, какое большое впечатление произвела на меня, когда я в первый раз прочитал повесть «Раны», фигура Гневышева. Мы много рассуждаем о русском национальном характере, начиная от Платона Каратаева и кончая героями и Василия Белова, и Фёдора Абрамова, и Виктора Астафьева. Но говоря об этом национальном характере, ощущение, что чего-то всё-таки не хватает в нём. И вот тут, когда я увидел фигуру Гневышева, я понял, чего не хватает. То есть она как бы дополняет те необходимые черты, которые отсутствовали в этом русском национальном характере. Ведь посмотрите, какая действительно трудная жизнь выдалась этому герою, Гневышеву. И пришлось ему помытариться, пришлось пройти войну от начала до конца и пострадать на этой войне, и раны принять, и всё что угодно, все тяжести, которые выпадают человеку в жизни, достались ему. И всё-таки не растерял он и сердца, и души, не растерял мягкости, и терпения, и добросклонности, и всего того лучшего, что отличает русский национальный характер. И вот эта-то фигура, этот человек как раз — а тут можно говорить о герое, черты которого совпадают с чертами человека, — и есть как бы живой человек, и принимаешь его как живого человека — когда встречаешься с таким героем, когда встречаешься с таким человеком, то твёрже уверенность и в народе нашем, в том, что сохранит он всё-таки свои национальные черты и сохранит своё богатство, и сохранит всё, что нажил он за века своей истории.

Алексею Васильевичу повезло в том, что он рос в деревне и с детства впитал тот великий, могучий русский язык, который стал для него не просто средством общения, но и средством выражения, выражения тех красок, и жизни, и природы, и движения как внешнего, так и движения характеров. Но этого, очевидно, было мало, и опыта, и языка, потому что тысячи прошли не менее сложный жизненный путь, и миллионы впитали с детства тот же самый могучий русский язык. Но тут необходимо было нечто, объединяющее вот эти два фактора, нечто скрепляющее. И вот таким объединяющим фактором явилась, очевидно, духовность. Алексей Васильевич не позволил, чтобы пропаганда извратила как-то его взгляды на человека в нашей стране, на духовность и нравственность в вечном смысле, и, конечно, это помогло ему сказать то, что в конце концов он и написал в своих книгах.

Критика наша, надо признать, довольно неповоротлива. Она как в святцы заглядывает в одни и те же имена, по которым и судит о состоянии всей литературы. Литература между тем и полнее, и глубже, и при всей несвежести сравнения её с айсбергом, оно, однако же, остаётся достаточно верным: то, что попадает в поле критического внимания, есть лишь малая часть действительной мощи нашей литературы. Там, в глубинах и на просторах России, многие и многие писатели чутко и верно улавливают происходящие в обществе духовные и нравственные движения и говорят о них с болью и верой, говорят честно и талантливо. И дело тут не в похвалах, которыми они обделены, а в том, чтобы высокую и чистую проповедь их книг знал и понимал наш так называемый большой читатель. Конечно, несправедливо, что Алексея Васильевича не знают очень хорошо и что большая критика его замечает мало. Вот это несправедливо. Он достоин, конечно, чтобы его читали по всей стране и издавали по всей стране, чтобы правду, которую он говорит, впитывало большое количество читателей. И всё-таки дело не в оценках, а в том, что делает писатель сам, как он работает, и, в конце концов, я считаю, что сделанное не останется втуне и всё равно дойдёт до читателя. Это гораздо лучше, если сравнить с судьбой тех писателей, которые делают мало и хуже, а славу имеют большую.

*К 115-летию со дня рождения
поэта Ивана Молчанова-Сибирского*

ВЛАДИМИР СКИФ

Осиянный немеркнущим светом

Среди известных литературных имён Сибири имя Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского, несомненно, занимает одно из выдающихся мест. Ещё в начале прошлого века он формировал и создавал писательскую гвардию Иркутска, а затем возглавлял её долгие годы. Как поэт Иван Иванович Молчанов-Сибирский оставил большое, ещё не до конца опубликованное и изученное литературное наследие — стихи и поэмы, публицистику, детские стихи и рассказы, дневники и записные книжки. Он вёл большую общественную работу, искал и воспитывал юные и молодые таланты и оставался таким до конца своих дней.

В 1985 году Георгий Марков, лауреат Государственных и Ленинской премий, первый секретарь Союза писателей СССР, бывший иркутянин, вспоминал об И.И. Молчанове-Сибирском: «У него был редкостный талант находить людям полезное дело, вовлекать их в общественную жизнь. Он был неистощимым на добрые выдумки, которые порой превращались в радостные события для многих... вспомните знаменитую «Базу курносых».

А вот воспоминания другого писателя, тоже иркутянина: «Исключительно душевное расположение к людям, благожелательность, внимание к заботам близких и малознакомых, соединенные с ярким и оптимистическим настроением...

...Писательской организации мы не можем представить без Ивана Ивановича потому, что он выпестовал эту организацию, был многолетним и почти бессменным ее руководителем, взвалив на плечи свое нелегкое дело воспитания литературной смены.

...И если в Иркутске на долгие годы создался особый микроклимат в литературной среде, то начало его идет от «дяди Вани» Молчанова-Сибирского». Так писал о Молчанове-Сибирском поэт Марк Сергеев — один из его прилежных учеников.

А что до «дяди Вани», то так дружески, доверительно и с большой любовью называли его «курносые», пионеры-школьники иркутской школы № 6, которые под его руководством написали книгу «База курносых», а затем нередко — его друзья и коллеги.

Даже Алексей Максимович Горький, подписывая Молчанову-Сибирскому свою книгу на Первом съезде советских писателей в 1934 году, оставил на ней полушутливую, полусерьезную дарственную надпись: *«Дяде Ване Молчанову-Сибирскому. Хорошее дело делаете, дядя»*. И позже, когда Горький переписывался с иркутскими школьниками и давал им совет относительно написания новой книги: *«Я предлагаю вам: когда дядя Ваня прочитает весь материал, пошлите рукописи ко мне, я бы тоже посмотрел...»*

Иван Иванович Молчанов-Сибирский родился 1 мая 1903 года во Владивостоке, в семье военного моряка, баталера героической канонерской лодки «Кореец». Помните песню «Гибель «Варяга» на стихи Якова Репнинского:

*Мы пред врагом не спустили
Славный Андреевский флаг.
Сами взорвали «Корейца»,
Нами потоплен «Варяг».*

Начало жизни Ивана Ивановича прочно связано с военно-морской славой Иркутска. Именно Иркутск стал форпостом зарождения и развития Тихоокеанского флота. снаряжение петровских экспедиций — Беринга и других, Российско-Американская компания, открытие и присоединение к России Алеутских островов, Аляски, первое посольство в Японии, первая навигацкая школа, первое Адмиралтейство, проект реформ российского флота, разработанный иркутским губернатором Корниловым (отцом знаменитого адмирала Корнилова, героя Севастополя).

Так что маленький Ваня Молчанов появился на свет в морской колыбели восточной российской окраины, которая за три века была создана в основном силами иркутян. Не случайно его отец Молчанов Иван Николаевич на морскую службу был призван из Иркутска.

В 1905 году Молчановы вернулись в Иркутск, и вся последующая жизнь и судьба И.И. Молчанова-Сибирского связана только с Иркутском. В семнадцать лет Иван Молчанов работает помощником слесаря в иркутском железнодорожном депо, учится в железнодорожном техникуме. Работая в депо, он заканчивает курсы рабкоров, сотрудничает в газетах, вступает в комсомол.

В те годы на железной дороге работали будущие писатели: Павел Нилин — в котельной, Костя Золотовский и Михаил Скуратов — в депо. Здесь, среди рабочей молодежи, в комсомольской среде и зазвучал голос молодого поэта Ивана Молчанова.

В 1923 году в Иркутске возникает Иркутское литературно-художественное объединение — первая в Сибири писательская организация. И это опять же не случайно. В Сибири только Иркутск имеет в историческом арсенале почти десяток летописей, отражающих историю города и края. В Иркутске появилась первая публичная библиотека. В Иркутске написан первый сибирский роман «Дочь купца Жолобова» Ивана Калашникова. В Иркутске родилась первая в Сибири женщина-писатель — Авдеева-Полевая, здесь же написан первый советский роман — «Два мира» Владимира Зазубрина.

Михаил Скуратов, поэт, чалдон и сибиряк, жил в Москве, но не забывал своей родины. Его душевная приязнь к другу юности сквозит в строках воспоминаний:

*«Иван Молчанов-Сибирский! Мой друг и обратим по писательскому руко-
меслу. Мы оба с ним служили одному делу — русскому поэтическому Слову, рус-
ской советской Поэзии... Мы с ним оба взростели в былом Глазковском предме-
стье Иркутска, и даже сражались в мальчишеских уличных драках, — когда ули-
ца шла на улицу».*

И уже в ту пору мы с ним оба стали «илховцами» — и вошли в пятерку-шестерку юных тогда поэтов... Напомню и перечислю имена: Иосиф Уткин, Джек Алтаузен, Иван Молчанов, Валерий Друзин, Василий Томский (Скрылев) и аз многогрешный — тогда выступавший под псевдонимом — Михаил Бельский... Ох, уж эти псевдонимы!.. Иван носил псевдоним, ничего не говоривший ни уму ни сердцу — Олег Имов... Я восстал против этого...

— Надо же мне отмежеваться от моего московского однофамильца и тезки Ивана Молчанова!..

Когда в книжный магазин города и в киоски приходили московские журналы со стихами Ивана Молчанова, то иркутяне лезли с поздравлениями, а наши скромняга — Иван Молчанов краснел — потуплял глаза — это была его всегдашняя природная особенность, и весь он был — как красная девица... Он бормотал:

— Да нет, это не мои стихи, это не я напечатался в Москве. У меня в столице, на мою беду... тезка, и однофамилец — Иван Молчанов.

Ну, а я — как «столбовой и кровный сибиряк» шибко погорячился:

— Иван!.. Какого черта тебе укрываться за этим... Олегом Имовым. Ведь ты же — сибиряк!.. Вот и ты припиши себе — Сибирский, — и станешь — Иван Молчанов-Сибирский. Чем худо, паря Ванча?.. И сразу отмежуеться от московского тезки и однофамильца.

Он призадумался...

— Лады! Давай пожмем руки на том...»

Да, действительно, у Ивана Ивановича в Москве был тезка по имени-фамилии — поэт Иван Молчанов, — который написал известную песню «Прокати нас, Петруша, на тракторе».

Первые стихи Молчанова-поэта посвящены родному городу, родному краю, родному Глазковскому предместью:

*Гора, за ней опять гора
Сплотили тесно плечи,
И мчится, стонет Ангара,
Совсем по-человечьи.*

*И каждый день, и каждый год
Упрямо камни гложет.
И синих вод упрямый ход
Скала сдержать не может.*

В 1932 году выходит первый сборник стихов И.И. Молчанова-Сибирского «Покоренный Согдиондон», где автор рисует широкий образ пробуждающейся Сибири и чувствует себя её верным сыном:

*В тайге глухой голец Согдиондон
Вонзился в небо голою вершиной.
Его изрезали со всех сторон
Глубокие и резкие морщины.*

*Он сед, он стар. Давным-давно оглох.
Крутые скулы топором не бриты,
Как борода косматый белый мох,
И склоны пихтою обвиты.*

Стихи поэта отражают эту сыновнюю любовь:

*Милый край... Тишина... Тишина.
Милый край, где привольно и дико,
Под ногами бадан и брусника,
Милый край молодого вина.*

Первая книга Ивана Молчанова стала добротной заявкой на творческое будущее:

*Догорел осенний вечер,
Укатилось солнце прочь.
Даже собственные плечи
Не видать в такую ночь.*

Иван Молчанов входил в сибирскую литературу вместе со своими друзьями-одногодками — Иосифом Уткиным, Михаилом Скуратовым, Львом Черноморцевым, Валерием Друзиным, Анатолием Ольхоном, Гавриилом Кунгуровым — и чуть ли не все они одного, 1903 года рождения. А ещё его литературные сверстники и друзья: Иннокентий Луговской, Павел Маляревский, Джек Алтаузен, Елена Жилкина, Константин Седых, Василий Непомнящих.

С писателями старшего поколения у молодого Молчанова также дружеские отношения: с Аполлоном Тороевым, Исааком Гольдбергом, Александром Балиным и особенно с Петром Поликарповичем Петровым.

В 1933 году Иван Молчанов ведёт литературный кружок в иркутской школе-интернате № 6. Он знакомит детей с русской и советской литературой, преподаёт им азы журналистики и публицистики, и, под впечатлением литературных познаний и рассказов наставника, они пишут первую в советской России коллективную книгу о времени и о себе «База курносых».

Юные иркутяне и не знали, что продолжили давнюю традицию, начатую ещё в 1835 году, когда иркутские гимназисты из собственных сочинений составили книгу «Прозаические сочинения учащихся иркутской гимназии», и их наставник, преподаватель изящной словесности Поликсентьев сумел издать её в Петербурге. В книге ребята описывали берега и воды чистой Ангары, затенённую и поэтичную речушку Каю, сверкающую и гремющую на камнях Ушаковку и, конечно, легендарный Иркут, приносящий к Ангаре отражение и прохладу Саян.

«База курносых» прогремела на всю страну, и руководство Иркутска наградило ребят поездкой в Москву. Иван Иванович получил в это же время приглашение на первый съезд советских писателей — и в Москву поехали все вместе. Уже в дороге дети прочитали в «Известиях» отзыв Алексея Максимовича Горького об их книге и приглашение на I съезд советских писателей. После съезда ребята вместе с Иваном Ивановичем побывали в гостях у Горького в Горках, где он пожелал им творческих удач. Вернувшись, дети решили писать книгу о том, как ездили в столицу, как гостили у главного писателя страны. И, конечно, вместе с ними работал и помогал им их любимый дядя Ваня.

И это не единственный пример творческого общения Ивана Ивановича со школьниками и молодёжью тех лет.

Вот строки письма одной из многочисленных поклонниц творчества Молчанова-Сибирского Лины Белковой:

«Кажется, давно ли это было, когда в Красноярском техникуме путей сообщения, будучи пионеркой, я слушала его горячие выступления на комсомольском собрании.

Как потом, в Иркутске, в бывшем Глазковском предместье, мы — комсомольцы — слушали его чудесные стихи.

Память о нашем сибирском поэте всегда будет жить в сердце советского человека. Его жизнь достойна подражания, и я горжусь, что в молодые годы мне довелось слушать Ваню Молчанова. Его пламенные речи и стихи многим дали направление в жизни. Я была в числе этих многих.

Лина Белкова (из многочисленной семьи Яковлевых), г. Ленинград»

А вот строки известного журналиста, ученика и друга Ивана Ивановича, соратника по работе в газетах военного времени, собственного корреспондента ТАСС в Иркутске, Александра Иовича Гайдая, поэта, написавшего две книги стихов. Леонид и Александр Гайдаи, как и Молчанов, — глазковчане. Все они ходили по одним улицам, в одни годы, жили по соседству, и их творческий потенциал возрастал и питался соками одной и той же земли — в сосновых и берёзовых рощах над Иркутом, Ангарой и Каей. Здесь рождались не только поэтические образы у Ивана Молчанова и у Александра Гайдая, здесь обозначались и переходили в потенциал творческой реальности реплики, ситуации и эскизные черты будущих героев всемирно известных комедий Леонида Гайдая «Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука».

Воспоминания Александра Гайдая в некотором сокращении:

«На страницах «Восточно-Сибирской правды» и «Восточно-Сибирского комсомольца», в журнале «Будущая Сибирь» я часто встречал стихи, подписанные такой необычной, двойной и, как мне представлялось, весьма романтической фамилией — Молчанов-Сибирский. Почему «Сибирский»? Ответ на этот вопрос у меня, в ту пору еще подростка, влюбленного в литературу и пробующего сочинять стихи, не вызывал никаких сомнений. Сибирский потому, что родом сибиряк и пишет о Сибири.

Весной 1935 года на встрече литкружковцев школ города с иркутскими писателями мне впервые довелось увидеть и услышать И. Молчанова-Сибирского. Встреча проходила в городском доме художественного воспитания, который размещался в старом двухэтажном особняке по улице Степана Разина (позднее в этом здании находилось музыкальное училище).

Иван Иванович Молчанов, рослый, широкоплечий и еще совсем молодой, был одет в темно-синий шевитовый костюм и светлую сорочку с галстуком. Голубые, почти синие глаза смотрели в зал внимательно, с неподдельным интересом, словно спрашивали: «А ну-ка, что вы за народ? Чем увлекаетесь?..»

Подходя к трибуне, застенчиво улыбнулся... Беседовал с нами, в основном 15–16-летними ребятами и девушками, серьезно, как со взрослыми. Он говорил о том, что литература — один из самых сложных видов искусства и тот, кто хочет стать литератором, писать стихи или прозу, должен быть всесторонне образованным человеком, конечно же, в совершенстве владеть родным языком, знать творческое наследие мастеров...

Почти за четверть века, когда Иван Иванович Молчанов возглавлял Иркутскую писательскую организацию, в Иркутске писались и вышли в свет первые романы Константина Седых, Георгия Маркова, Франца Таурина, повести и рассказы Гавриила Кунгурова, Агнии Кузнецовой, Валентины Мариной, Леонида Огневского, Льва Кукуева, Вячеслава Тычинина, Владимира Козловского, Николая Чаусова, Игнатия Дворецкого, Анатолия Шастина, поэтические книги Иннокентия Луговского, Елены Жилкиной, Льва Стекольников, Марка Сергеева, Петра Реутского, Анатолия Преловского и других прозаиков и поэтов.

...Конечно, писательский труд — дело сугубо индивидуальное, и своими успехами, художественными открытиями авторы обязаны прежде всего самим себе, своему дарованию, но немаловажное значение имеет и та обстановка, то окружение, в котором работает литератор. Атмосфера доброжелательности, товарищеской поддержки и одновременно строгой взыскательности, какая сложилась в Иркутской писательской организации в пору работы на посту ответ-

ственного секретаря И. Молчанова-Сибирского, помогла выявить и вырастить новые таланты, способствовала росту творческой активности и молодых, и уже сложившихся опытных литераторов».

Александр Гайдай подружился с Иваном Молчановым и никогда не терял связи с ним и его семьёй, даже тогда, когда Ивана Ивановича уже не было в живых.

В тридцатые годы у Молчанова-Сибирского выходят сборники: «Стихи», «Синие Саяны», «Граница на Востоке», а также книжки для самых юных читателей: «Милая картошка», «Лисёнок Тумай», «Лыженьята» с иллюстрациями иркутских художников. Голос поэта крепнет, набирает силу и звучит чище, образнее, ярче.

Имя его обретает не только региональную, но и всесоюзную известность, и это видно из писем со штемпелями Москвы, Ленинграда, Владивостока, Хабаровска, Якутска, Красноярска, Новосибирска. Поэту пишут, к нему обращаются писатели, известные всей стране, — Александр Серафимович, Эдуард Багрицкий, Владимир Зазубрин, Самуил Маршак, Илья Сельвинский, Ефим Пермитин, Борис Полевой. Кроме просто дружеских и приветственных слов это еще и рецензии, и отзывы на его творчество, и многочисленные просьбы.

«Уважаемый тов. Молчанов! Ваши стихотворения «31-н» и др. производят впечатление: звучны, литературны. Вы будете расти. Стихи передал тов. Полетаеву в «Октябрь». Он читает стихи. С приветом Александр Серафимович. 16.V.28.»

«Внутренняя лиричность резко отделяет Молчанова от поэтов, у которых, кроме штампа, нет ничего. Сибирская экзотика для Молчанова не только эстетическое украшение, она также быт, она страна, которую нужно освоить. Он знает прошлое этой страны, он с ней в настоящем, он явственно видит её будущее. Эдуард Багрицкий. Москва. 1930 год».

«В песнях Ив. Молчанова-Сибирского есть и разлив, и язык, они увлекают и полны теми приятными неожиданностями, которые являются первыми признаками поэтического дарования. В них автор весь в обаянии своей темы — он поёт и не думает о том, чтобы это было похоже на то, как принято в «хороших домах». Илья Сельвинский. 15.IX.1937 г.»

В 30–40–50-е годы XX столетия Иван Иванович был в глазах современников светлой, неординарной личностью, известным поэтом, которого знали и читали не только в Иркутске и в Сибири, но по всей стране, совершающей прорыв ко всеобщей грамотности, к знаниям, издающей самые большие в мире тиражи книг.

Можно сказать, что Ивану Ивановичу Молчанову-Сибирскому повезло не только с верными друзьями, среди которых были писатели, офицеры, рабочие, пионеры, ему повезло и с необычайно широкой, отзывчивой и чуткой читательской аудиторией, которая признала и любила его. Но аудитория одна на всех, а потому главное, в чём ему повезло, — это с родиной Сибирью, восторгаться которой и воспевать которую он никогда не устал. Названия его стихов говорят сами за себя: «Весна на Байкале», «Золотоносная тропа», «Костёр», «У таёжного ключа», «Избушка на Ичене», «Озерцо», «На берегу», «Затёсы», «Голубой дым», «Мунку-Сардык», «Безымянный ручей», «Подбрось в костёр немного веток», «Хорошо на Байкале вечером».

И не менее важным, чем родина в судьбе, стало то, что не обнесла та же судьба Ивана Ивановича до краев наполненной, светлой чашей личной жизни — на протяжении всего жизненного пути, полного трудов и забот, был он счастлив с женой

Викторией Станиславовной Молчановой, в девичестве Прушинской, и с детьми, которых в семье было шестеро. Да, он был востребован временем, уважаем коллегами по литературному цеху, которым помогал и сумел взрастить целую плеяду известных и даже выдающихся писателей. А ещё был он осиян немеркнущим светом родной, любимой и любящей души, согрет её теплом и заботой.

Не только литературой и работой с молодёжью и школьниками был занят поэт. В довоенные годы И.И. Молчанов-Сибирский несколько раз призывался в армию, где также была высока потребность в правдивом и честном слове, в подбадривающем и поддерживающем оптимизме, в устойчивой вере в общее дело, в правоте идей и устремлений целого народа. А что может быть нужнее и справедливее защиты своей земли, своего отечества? И его отправляли то на командирские сборы, то на тревожные рубежи, где вела сложную провокационную игру японская военщина, не желающая смириться с результатами давно отгремевшей гражданской войны, с господством России на Курилах, на Сахалине и на Камчатке. Ну и само собой, годы, когда гремела Великая Отечественная и у восточных границ стояла огромная Квантунская армия. Здесь, в полевой и часто боевой обстановке, росло и крепчало уже не литературное, а военное мужество и братство сильных и испытанных в боях людей.

Небезынтересно в этом смысле письмо генерал-лейтенанта в отставке Анатолия Александровича Никифорова, присланное 23 февраля 1965 года из Москвы в Иркутск:

«В 1934 г. командный состав запаса погранвойск в полевых условиях проходил переподготовку в 1-й пограничной школе (г. Новый Петергоф). На переподготовку был направлен и поэт Иван Иванович Молчанов-Сибирский.

Я в это время командовал курсом переподготовки и не могу не вспомнить этого высокого, стройного и подтянутого, с большой белокурой шевелюрой и выразительными добродушными глазами, человека. Иван Молчанов был всегда примером на курсе, как при обучении, так и в повседневной лагерной жизни. Он был не только редактором стенной газеты, не только интеллектуальным кладезем подразделения, но и активным спортсменом, организатором серьёзных диспутов и участником многочисленных дружеских бесед.

Вспомнив его, я раскрыл пожелтевшие от времени страницы с написанными им и подаренными мне на память стихами (по-видимому, нигде не опубликованными и мало кому известными) о тех днях, которые мы вместе проводили в напряжённой учебе в лагере «Приморский хутор».

1 июля 1934 года на 45-й день сборов мы решили организовать прощальный вечер... Когда выступала наша самодеятельность, я получил «боевое донесение» на листках, вырванных из полевой книжки, предназначенной для таких донесений:

*«Кому: т. Никифорову А.А.
Лагерь: Новый Петергоф
Время: 11. 00. 1.VII.1934 г.
Донесение № «Прощальный вечер»*

*Окончены речи, играет туш.
Товарищи, слушайте друга!
И вот запекает смущённый Вануш
Про солнце далёкого юга.*

*И тут же является солнце из туч
Над сумрачным Финским заливом,
Умытый дождинками солнечный луч
Искрится цветным переливом.*

*И песне навстречу — другая встает,
Высокая песнь Закавказья.
Сегодня для нас эту песню поёт
Наш друг Тадеоз Сагарадзе.*

*Подхвачена вмиг голосами друзей,
Под облако песня взовьётся,
И в песне волнуется горный ручей,
Лоза виноградная вьётся.*

*Стремительным шквалом ворвался оркестр,
По сцене поплыл Карахалин,
Танцует Шамиль, а природа окрест,
Как будто у нас на Байкале.*

*Быстрей и быстрей, как полёт колеса,
Стремителен танец кавказский.
Вот так бы и мне искромётно плясать,
Да нормы не сдал я по пляске.*

*Товарищ Шумаев, есть просьба к тебе,
Зови на подмогу флейтиста,
Чтоб грянул свой марш о любви и борьбе
Наш хор и наш тенор Денисов.*

*Мы с маршем победным пройдем до конца
Единым не дрогнувшим строем
Под грохот снарядов и посвист свинца...
Да будет здесь каждый героем!»*

Прочитав это «донесение», я не удержался, чтобы тут же не огласить его всем присутствующим на вечере. Долгие, не смолкающие аплодисменты закончились возгласами «Качать Молчанова!» Это было достойной наградой за его тёплые, проникновенные слова о своих товарищах и за тот призыв, который прозвучал в концовке стихотворения. Время было, действительно, героическое, и многие из нас в будущей войне с фашистами стали настоящими героями своего времени.

Его стихи светло и правдиво показывают ту обстановку, ту удивительную дружескую атмосферу, которая окружала нас, молодых командиров. А «Песня командиров запаса» стала нашим гимном. С ней мы направлялись в походы, на охрану государственной границы, с ней мы возвращались в наш учебный лагерь.

Память о поэте Иване Молчанове-Сибирском сохранится у пограничников на долгие годы, и хотелось бы, чтобы земляки-иркутяне знали его не только как поэта, но и как воина в зелёной пограничной фуражке.

Генерал-лейтенант в отставке А. Никифоров»

А вот воспоминания Анатолия Срывцева, которые относятся к тем же далёким, довоенным годам («Свидание». Кемеровское книжное издательство, 1972 г.):

«Однажды небольшая группа литераторов Иркутска решила выехать в летние лагеря, где проходил тогда военные сборы командир запаса поэт Иван Молчанов-Сибирский. Из темноты, качаясь, плывет на нас желтоватый пучок света. Он то исчезает, то, внезапно приближаясь, ярко вспыхивает, выхватывая из сумрака станционные постройки, крышу низкого сарайчика, пестрый киоск. Обогнув вокзал, свет гаснет, скрипят колеса по гравию. И звонкий голос пререзает тишину ночи:

— Товарищи писатели здесь?

Потом пучок света несется впереди нас, освещая мачтовые сосны, белую дорогу, и, наконец, упирается в деревянный забор, полосатую будку и часового с винтовкой. Выходим из машины, минуем часового и идем по мягкой дорожке.

— Здравия желаю, товарищи писатели! — раздается громкий, с легким перекатом командирский голос, но в нем почему-то слышатся знакомые шуточные нотки.

— Это же Ваня! — кричит Константин Седых, встряхивая густыми кудрями.

Мы со всех сторон окружаем подтянутого, широкоплечего командира в лихо надвинутой на брови пилотке. Ольхон берет в руки планшет, проводит пальцами по новеньким скрипучим ремням, которые крест-накрест перехватывают грудь Молчанова, и протяжно тянет:

— Вот это да-а! — и в комическом удивлении: — Товарищ старший политрук, неужто мы с вами цапались две недели назад на литературной пятнице?.. Непостижимо... — Все хохочут».

В 30-е годы в Иркутск приехали Агния Кузнецова и Георгий Марков. Однажды Марков принёс Молчанову объёмистую рукопись и попросил посмотреть. Иван Иванович начал читать и не смог оторваться от рукописи, читал всю ночь. Наутро он, усталый, но с какой-то спокойной уверенной радостью сказал жене: «Витя! Ты знаешь, Готя написал выдающийся роман! Его надо срочно издавать!» Так, первым читателем и редактором книги Георгия Маркова «Строговы» стал Иван Иванович. Об этом с теплотой вспоминает и сам Георгий Мокеевич в предисловии к книге «Моё предместье»:

«В 1936 году я приехал в Иркутск с твердым намерением обосноваться здесь надолго. Позади была комсомольская работа, учеба, служба в Красной Армии, впереди — надежда посвятить себя литературе... В чемодане лежала простая канцелярская папка, а в ней страниц двести, исписанных убогим почерком: главы романа. Роман не имел еще точного названия...

Иркутск поразил меня интенсивностью культурной жизни: работали два театра, филармония, постоянный городской лекторий, зазывали к себе три прекрасные библиотеки, а самое главное — газеты печатали литературные страницы из произведений местных авторов, регулярно сообщали о проводимых писателями литературных вечерах.

Чаще всех упоминалось имя Ивана Ивановича Молчанова (Сибирского). Позже я узнал, что это не было случайностью: Иван Молчанов-Сибирский был уполномоченным недавно возникшего Союза советских писателей СССР, первый съезд которого и здесь, вдали от Москвы, вызвал огромный интерес...

Роман мой был еще не готов, а без него мне не хотелось идти к И.И. Молчанову...

ву. Наконец в начале 1937 года первая книга моего романа, окончательно названного «Строговы», была в основном завершена. В один из ярких дней ранней весны, преодолевая большое волнение, мешавшее мне дышать, я поднялся на третий этаж Дворца труда и осторожно постучал в дверь с табличкой «И.И. Молчанов (Сибирский)».

— Войдите, пожалуйста, — послышался приветливый голос. Я открыл дверь и увидел за столом в пяти шагах от себя необыкновенно красивого, высокого, с ласковым прищуром ясных сине-голубых глаз молодого человека. Это и был поэт, руководитель писательской организации Иван Иванович Молчанов-Сибирский. Мягкая, осторожная манера общения с людьми, всегда отличавшая Ивана Ивановича, быстро расположила меня на откровенную беседу.

— А до этого вы что-нибудь писали? — листая машинописные страницы, спросил Иван Иванович.

— Все, что писал, не выходило за рамки газетного жанра...

— Сколько же вам лет?

— Двадцать шесть.

— Молодой!

Кстати, замечу: Ивану Ивановичу самому было только тридцать четыре...

Молчанов закрыл папку с моей рукописью и, положив ее к себе на стол, пообещал в течение двух недель прочитать.

Точно в назначенный срок я вновь посетил Ивана Ивановича. Рукопись моя была тщательно прочитана, замечания, которые возникли у читавшего, выписаны острым карандашом на отдельный листок. В конце беседы Иван Иванович предложил мне:

— Отберите листов пять-шесть, и эти главы из романа опубликуем в альманахе «Новая Сибирь». Я уже разговаривал кое с кем из членов редколлегии, они поддерживают это намерение.

— А какие главы, по-вашему, отобрать? — спросил я.

— Смотрите сами. Я взял бы линию Матвея — Анны Строговых.

На этом мы и договорились».

«Политработнику запаса, аттестованному в звании старшего политрука, И.И. Молчанову-Сибирскому довелось служить в Советской Армии во время боев у озера Хасан в 1938 году и событий на реке Халхин-Гол в 1939 году. ...Приобщение к воинской службе, знакомство с армейским бытом, доверительная дружба с бойцами и командирами не могли не отразиться на его творчестве», — напишет в 1983 году Александр Гайдай.

Уходить мне на работу надо,
У дверей из стульев баррикада,
А за нею дочка — пальчиком грозя,
Говорит мне ласково:
— Нельзя!

Медленно идут переговоры,
Я иду, и смотрит дочь с укором.
Я иду и слышу позади:
— Не ходи!

*Солнце плыло в пелене тумана.
Уходить собрался нынче рано.
Бушевала ненависть во мне:
Я слышал вести о войне.*

*И спросил я: — Доченька, отрада,
Я пойду на фронт?
Сказала: — Надо!
Потеплело у меня в груди...
Помолчав, добавила:
— Иди.*

Прототипом этой маленькой и такой серьёзной девочки, несомненно, явилась Света, Светлана Ивановна, дочь поэта и будущая жена великого русского писателя Валентина Распутина.

Период службы в Монголии — бесконечные дороги, заставы, бои с японцами и подкупающе мирные картины тревожного времени — всё видит, всё отмечает поэт.

*Трубила труба: по вагонам!
Трубе отвечал паровоз.
И травы шатались по склонам,
И ветер летел от колес.*

*На горных лиловых отрогах
Маячил далекий дымок.
Пред нами лежала дорога
На Дальний советский Восток...*

.....
*И песня гремит по вагонам,
Синеет небес глубина,
И ждет нас в конце перегона
Суровое дело — война.*

А война никогда не заставит себя ждать.

*Мы вспоминали, как играют дочери,
И задремали беспокойным сном...
Вдруг в тишине хлестнула очередь
Ручного пулемета за бугром.*

.....
*Чертили небо молнии зигзагами
И в горы ударяли вкривь и вкось.
Враги бежали в панике оврагами —
Нет, нападение их не удалось.*

*Еще хлестала по бегущим очередь
И гром глушил врага последний крик...
И, может быть, в кроватках наши дочери
Во сне отцов увидели в тот миг.*

А вот и мир посредине войны — его всегда больше, и он понятен каждому.

*Подходит к Керулену караван,
К просторным дымным юртам Ундурхана.
Как путники, покинув океан,
Еще несут дыханье океана,
Так караван доносит зной пустынь,
А в бурдюках — остатки терпкой влаги.
В осенний холод ворвалась теплынь.
Верблюды медленно вступают в лагерь,
Несет старик-погонищик от майхана
Бойцам в подарок тучного барана.*

Стихи Молчанова-Сибирского тех лет — это вообще редкое в нашей литературе широкое полотно предвоенной дальневосточной грозы: бои у озера Хасан, бои у Халхин-Гола, где фактически рождалась и закалялась в боях та армия, которая потом, в сорок первом, пережив первые разгромы, выстояв и набрав силы, неудержимо двинулась на запад, чуть ли не до Ла-Манша.

Подарочное издание «Бои Халхин-Гола» (Москва: Воениздат, 1940), и в обойме имён, кто готовил это издание: Герой Советского Союза, генерал армии Георгий Жуков, генеральный секретарь СП СССР Владимир Ставский, писатель Константин Симонов, Евгений Петров, Всеволод Вишневский и другие — стоит скромное имя молодого офицера Ивана Молчанова, выступившего в этом издании с очерком «Экипаж Михаила Рыбкина».

Уже в 1942 году и позже, после всех сражений в Отечественную, в 1948 году, выйдут книги Молчанова-Сибирского, обращённые к тем дням и годам: «Полевая почта» (Иркутск, 1942) и «Мои товарищи» (Иркутск, 1948), из которых всегда будут доноситься до нас знойное дыхание монгольских степей, пулемётные очереди, артиллерийская канонада и грохот танковых гусениц.

НАТАЛЬЯ ДУЛОВА

КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Молчановы и Распутины в моей жизни

У меня сохранилось письмо матери отцу (он в командировке), что нянька бросила наш дом, а ей надо на работу. Куда же девать двухлетнюю девочку? Витя Молчанов идёт по нашему двору от своего друга. Мама в окно: «Витя, забери Наталку, а?» Витя: «Ну, давайте вашу Наталку». Мама, видимо, знала, что с Викторией Станиславовной Молчановой можно без переговоров. Дом на улице Богдана Хмельницкого я помню так хорошо, как родительскую квартиру. Брат учился, отец тоже вечно учился и учил, мама работала. Нельзя было представить, что у Молчановых были закрыты двери. Всегда там семья или половина семьи, ещё и гости какие-нибудь. В семье поэта, секретаря Иркутской писательской организации, и «тёти Вити» было шесть детей — старшая Нина заканчивала мединститут. Я даже помню, как она осматривала меня в своём белом халате, когда я болела. Светлану, как мне кажется, я в детстве видела реже. Ей было лет восемнадцать, и она была занята в своём прекрасном возрасте. Младшая Женя ещё просто относится к малышне, представителем которой я являюсь. И мы с ней играем. Максим — старшеклассник, поэтому он меня не очень интересовал. С Витей и Володей я пытаюсь играть в мяч. Можно бегать, прыгать, шуметь — никого здесь не раздражают дети. Квартира большая, но весьма скромная. Никаких там гарнитуров, ковров...

Ивана Ивановича помню. Он уважительно провожал меня в свой кабинет и расспрашивал про выдуманных мной тайных подруг Дюдьки и Продобыбы. Своими вопросами он содействовал моим фантазиям, которые я не всем раскрывала. У него не было снисходительности к ребёнку. Добрый, голубоглазый, внимательный слушатель. Разговаривая с ним, я испытывала какую-то свою детскую значимость, хотя слово такого, конечно, не знала. В его кабинете были замечательные шкафы, сделанные глазковским мастером Степаном Ячменёвым. В них удобно расположились книги разных размеров, так как полочки специально создавались для книг хороших и разных.

На портрете, написанном художником Жибиновым, Иван Иванович был изображён со стаканом чая. Очень живописна была цветная скатерть, постеленная на столе, за которым сидел сибирский поэт. Портреты детей Молчановых и зелёный пейзаж были развешаны в квартире. Опального Жибинова, как думаю, Иван Иванович поддерживал в тяжёлый период жизни художника.

Иван Иванович умер 1 апреля 1958 года. Мне передали его последнюю книжку со следующей надписью: «Славной Кисунилке (так называли меня в молчановском доме. — *Н.Д.*) — ревностному ценителю поэзии. С уважением и любовью. Дядя Ваня». А мне было всего три с половиной года. Всё это так далеко и нереально, как в кино.

Тётя Витя осталась только с детьми и стихами. Семья Молчановых напоминала мне семью Ростовых: гостеприимство, жизнерадостность, любовь к людям... но только бедность была не «ростовская». Сыну Виктору было девятнадцать лет, когда он умер от саркомы лёгких. Но мать горе горюет, а думать надо об остальных детях.

Я была уже взрослой, когда спросила маму, где она познакомилась с Викторией Станиславовной. Я предполагала, что это было у общих знакомых. Каково же было мое удивление, что они с В.С. познакомились во время войны в очереди за хлебом.

* * *

Однажды (скорее всего это начало или конец 1961 года) мы с мамой пошли в гости к Молчановым. Как я понимаю, с чем-то поздравляли (не с рождением ли Серёжи, сына Распутина?). Я знала, что у них теперь в доме новый человек. Мы сидели в гостиной, которую я любила за то, что там был необычный эркер, что там было много праздников. За столом были только Молчановы, да и то не все. И один незнакомый мне человек. Незнакомые люди вызывали у меня приступ застенчивости, а иногда и не нравились. Но тут я поняла, что муж Светы пребывает в куда большей застенчивости. Он молчал, впрочем, окружающие были деликатны и вовсе не тормозили его. Я рассказывала что-то, спрашивала, но всё же говорила меньше и тише, чем обычно. Пусть кто-то великий сказал, что в воспоминаниях мы репродуцируем картины своей памяти, но мои тогдашние впечатления связаны только с тогдашним образом мужа Светы — он был просто новым лицом в этом семействе.

Но я заметила, что незнакомец наблюдает за девочкой с интересом. Мне он тоже был любопытен, как один из многих. Гостей тут было достаточно, и я не могла привыкнуть, что он член этой семьи...

Позже я была поражена нежностью Распутина даже к совершенно посторонним детям. Помню, на их дачный двор (2009 год) заехал на велосипеде соседский мальчик Боря. Мальчик был чем-то расстроен. Распутин присел на корточки и колыбельным голосом утешал дитя. Из последних сцен помню, как мы (Света, Сергей и я) сидели за столом, а на руках у Валентина Григорьевича сидел внук Гриша полутора лет и обращался к нему: «Диди!» На что Распутин сказал жене, что «диди» звучит нежнее и красивее, чем «баба». Речь шла о первых словах ребёнка.

* * *

В студенческие годы я мало общалась с Распутиным, но с его прозой была знакома со школьных времён. Однажды я ночевала у Виктории Станиславовны, и она дала мне маленькую книжку «Деньги для Марии». Я удивилась, что книга написана так, «как сейчас никто не пишет» (имею в виду сравнение с прозой журнала «Юность»).

Сразу скажу об отношениях «тёти Вити» и Распутина. Она вообще была человеком любящим, почти всегда по-доброму говорящая о соседях, друзьях, родственниках. Своего зятя она звала Валюшей. Виктория Станиславовна была полячкой, хотя давно жила в Сибири. Как-то она показала мне католическое распятие, которое Валюша привёз ей из-за границы в подарок. Оно висело у неё над кроватью (хотя, как я думаю, у Валентина Григорьевича религиозное чувство возникло раньше, чем у тёщи). Она относилась к зятю любовно и благоговейно. Он в шутку подписывал ей книги так: «Моей самой любимой тёще».

Когда тётя Витя умерла, Распутин сказал, стоя у могилы своей тёщи: «Будут хорошие разные люди. Но таких, как Виктория Станиславовна, уже не будет». Он

имел в виду женщин, выделяющихся даже в своём поколении. Он ценил подруг Виктории Станиславовны, интеллигентных и отзывчивых, казалось бы, из другого мира, но таких же трудолюбивых, гостеприимных и щедрых на добро, как крестьянские женщины. Виктория Станиславовна рассказывала мне, что отнесла первые рассказы зятя («Я забыл спросить у Лешки» и др.) Марку Сергееву, главному редактору альманаха «Ангара», тот очень похвалил их, но напечатать их в альманахе было не так-то просто.

Моя мама, Анна Ивановна Басманова, обладала особым литературным вкусом. Она сразу оценила зятя своей подруги как писателя, бывала в гостях у Распутиных. Валентин Григорьевич как-то умилил её тем, что достал книги её брата — китаиста-переводчика М.И. Басманова (книги тогда были большим дефицитом). Однажды мама сказала мне, что хочет сделать Валечке хороший подарок. «Хм-м... — сказала я, — книгу, но ведь не простую...» Я стала рыться в старом шкафу и нашла «Синописис» за 1768 год — это были выдержки из исторических документов. «Лучше не придумаешь, — подумала я, — но ведь жалко». Я порылась ещё и нашла точно такую же, но с дефектом: не хватало четырёх первых страниц. Я их перепечатала и вложила, удивляясь счастливому случаю. Неполный экземпляр оставила нам, а другой отдала маме для подарка. Распутин потом (мамы уже не было) вспоминал этот эпизод и говорил, что в его библиотеке это самая старая книга.

* * *

В восьмидесятые годы общение с Валентином Григорьевичем было не таким частым. Я встречалась с ним на концертах, в библиотеках, в театре и в других «очагах культуры» и старалась не злоупотреблять временем человека, в котором увидела великого писателя.

Света Распутина, встречая меня на улице, весело говорила: «Натали, ты почему к нам не заходишь? Вот бежишь мимо — и заходи на чай». Я с ней весело болтала и, конечно, обещала. Света была крепкая, организованная, всё умеющая, по-настоящему счастливая. Она ходила в красивой короткой дублёнке, носила элегантные простые вещи, привезённые ей из-за границы. Но никогда не позволяла себе особенной роскоши и — тем более — драгоценности. Один петербургский профессор говорил, что счастливых людей гораздо меньше, чем умных. А истинно обогащают именно счастливые. Счастье, как известно, всё же мгновенно, длительность счастья — это редкость из редкостей... Свете выпала такая редкость. Но это не внушало ей опасную мысль, что она сама это заслужила, что она особенная и достойная. Думаю, что она понимала: счастье — это не столько заслуга, сколько дар небес.

Дети у Распутиных получились замечательные. Про Сергея в юности говорили, что он очень хороший учитель. Потом вместе с женой они создали частную школу иностранных языков АВС. Он умудрялся зазвать иностранных преподавателей на летние курсы, привлекая их возможностью побывать на Байкале. Организовывал все — от общения до быта. О младшей Марусе сейчас говорить больно. Внешне она была похожа на отца. Музыкальность передалась, возможно, от маминых родственников, строгость и образность творчества — от отца. Она закончила Московскую консерваторию и две аспирантуры — по теории музыки и по игре на органе, выступала как органистка в Иркутске, Петербурге, Москве, принимала участие в конкурсах в Германии и Австрии.

Семья была на редкость гармоничной и гостеприимной. Света всё делала быстро, была настоящей хозяйкой, могла состряпать пироги из деликатесов, а могла на даче — из ревеня. Все Распутины радостно общались друг с другом на отдыхе, но очень много трудились, умея сочетать увлечённость с самодисциплиной. Внучка Тоня практически выросла под приглядом бабушки и дедушки.

* * *

Как-то зимним вечером Света сумела заманить меня к себе. Я пошла, тем более ВГ (так я называла теперь Валентина Григорьевича) не было в Иркутске. Угощая меня, Света подарила английский чай, который муж откуда-то привёз. Она всегда любила дарить. Был тёмный зимний вечер. Света всё показала мне в своей новой квартире. Проводив по всем комнатам, она предложила мне ночевать в кабинете писателя, но я всё же отказалась.

Прошло не так много времени, как она опять настойчиво пригласила меня в гости (а она могла быть настойчивой). Был октябрь 1985 года. Началось, конечно, с ужина. До этого шёл разговор о литературе. Я спрашивала ВГ о современных писателях, с которыми он общался в поездках, российских и зарубежных. Меня интересовал Юрий Трифонов, к тому времени уже умерший. ВГ говорил о нём с уважением и симпатией. А затем вполне добродушно добавил про других: «А вообще, Наташа, писатели, в основном, — народ неинтересный, мало читающий, нелюбознательный». Мы вместе посмеялись над писателем N, что он в пятьдесят лет впервые прочитал статью Достоевского о Пушкине. Понятно, что этот писатель считал себя знатоком литературы. Распутину смешно было, что такие открытия делаются так поздно...

И тут как-то постепенно и с задушевной осторожностью мы перешли к Достоевскому. Слава Богу, что Достоевский для каждого из нас был очень любимым. У Распутина тогда, может быть, самым, у меня — почти... Он спросил меня, почему для меня особенно важно сочетание Пушкина, Герцена и Достоевского, таких разных, хотя он им всем цену знает. И я ответила, что Пушкин даёт потребность в гармонии, Герцен ум воспитывает, а Достоевский объясняет мне людей и заставляет их любить. «А вот Толстого я не очень люблю. Он всех судит, являясь великим психологом, а как психолог должен понимать, что общие рецепты не для всех. Иногда и о хороших людях он не выдержит и скажет что-то тайное, ехидное...» «Да, — сказал Распутин, — Достоевский всегда с человеком, а Толстой — над человеком». Эта фраза показалась мне очень точной, и я её записала, вернувшись домой.

Я в разговоре сравнила впечатления Николеньки Иртеньева из «Детства» о смерти матери с моими воспоминаниями о смерти отца, мне показалось, что Толстой шёл только от ума, а дети обладают разной впечатлительностью. Я спросила: «А вы в детстве были впечатлительным?» Распутин кивнул головой. И мы опять увлеклись обсуждением Достоевского. И романы, и личность, и болезнь, и колебания от идей Спешнева до Победоносцева, от сомнений в Боге и до веры в Него... Мы ему сочувствовали... Света, слушая нас, заметила: «Ишь ты, разговариваете прямо как два филолога». «Ну, какой я филолог...» — грустно сказал Распутин. Не знал он себе цену, по крайней мере, как книголюб и знаток литературы и истории!

В другое время я засмеялась бы над собой, но тогда серьёзный тон не допускал шуток. Мы втроём прошли в кабинет писателя. У меня сильно болела голова, ВГ

слишком хорошо понимал это состояние. За несколько лет до того на Распутина было совершено нападение, его били головой об стену в проходе между домами, потом он лежал в больницах и оперировался. Близкие мне люди тогда шёпотом предполагали, что это были либо люди из КГБ, либо наёмники его идейных противников... К сожалению, облик Распутина после операции изменился (линия носа и лба), только глаза остались те же. Взгляните на фотографии сорокалетнего писателя и позже, лицо Распутина до случившейся беды было красиво и скульптурно.

ВГ тогда принёс мне в салфетке много американских таблеток от головной боли: «Может быть, Вам поможет... Мне всё равно не помогают». И действительно, это были первые таблетки, которые оказали желанное действие. Распутины были очень внимательны в этот нелёгкий для меня период жизни. ВГ не утешал словами, а сказал просто: «Ешьте, Наташа, виноград...» Потом он принёс из другой комнаты маленькую чёрную книжку — палехское издание Евангелия: «Вот, я хотел вам передать». Я поблагодарила, но сказала, что у меня есть издание 1917 года. «А вот если бы Вы мне подарили свою книгу...» — «Я же дарил Анне Ивановне...» — «Там не все сочинения...» Он принёс новый двухтомник и написал «Наташе Дуловой своё Былое без дум. Очень искренне. Октябрь. 1985. Распутин».

* * *

В Москве я была у Распутиных в январе 1992 года. Времена были тревожные, репутация писателя в восприятии интеллигенции была, мягко говоря, неоднозначная. Я давно не виделась с ВГ, а нужно сказать, что мы легко понимали друг друга, когда часто — по крайней мере, раз в год — разговаривали. Тогда я не решилась высказать ему то, что говорили о нём в Питере вполне авторитетные для меня люди по поводу его политической и национальной позиции. Но когда мы гуляли со Светой по тёмному ночному Арбату, я всё это высказала в тревоге за авторитет, творческую судьбу и буквально жизнь Распутина. Я не уверена, что в пересказе все эти волнения были восприняты адекватно.

Наступил перерыв в наших отношениях — по объективным причинам: Распутины жили большую часть года в Москве. Вернуться в Иркутск они не могли из-за дочери, которая училась в консерватории.

В Иркутске была построена новая дача — как зимний дом, в котором Распутин мечтал провести свою старость. Меня звали на дачу, однажды я приехала — в 1999 году.

Дачный дом № 87... В этом доме я ночевала в мансарде, где была большая библиотека — Марусины и распутинские книги. Было много книг о Сибири — самых разных жанров и эпох. И много книг с дарственными надписями.

В один из первых приездов Света устроила мне экскурсию по участку. Она показала мне бревенчатый домик у ворот. Мы зашли туда. Распутину было неловко, но он улыбался. Это был его индивидуальный домик. Я бы сказала, лесной кабинет. Печка, деревянный стол, коврик, постель. Сувенирная ложка на стене (чей-то подарок). Уютно, чисто, но уж очень миниатюрно. Я сказала, что домик похож на картинку из сказки про трёх медведей, только этот домик подходит для одного медведя. Распутин засмеялся.

Деликатность и тактичность Светы и ВГ были уникальными, я испытывала там особый психологический комфорт. Например, они днём говорили шёпотом, думая, что могут меня разбудить. Завтрак был свободный — все вставали и ели,

когда хотели... Часов в 12 я созывала всех на кофе. Все собирались за круглым уличным столом. С аппетитом у всех все было в порядке. ВГ знал толк в еде. Иногда он топил баню, приговаривая: «Вот ещё одно удовольствие...»

Мы с писателем часто беседовали после обеда и полдника. Разве сейчас вспомнишь эти разговоры! Это было удовольствие, хотя мы и спорили. Я слишком много наблюдаю и не всегда могу наслаждаться настоящим моментом, а здесь я наслаждалась. Как часто думаешь: мы сегодня не сфотографировались, но ничего — будет завтра и послезавтра... Кажется, всегда будет это завтра...

Сейчас я пишу уже про 2001–2005 годы. А ведь Свету я знала со своего дня рождения, а писателя — лет сорок и более, хотя и с антрактами. Надо сказать, что споры с моими друзьями часто кончались раскатами грома... А тут, бывало, заведусь, а ВГ возьмёт и согласится со мной — утихомирят мои эмоции. Я вхожу в разум, и мы продолжаем разговор. Надо сказать, что я себе позволяла свободу слова. Оттого, что он не сковывал меня, легко было говорить и думать. Кроме того, мы очень осторожно обходили темы или имена, которые нас могли разделять. Я уже писала, что мы оба любили Достоевского, а Толстой не занимал такого места в наших эмоциях и душах. Я как-то развеселилась, вспоминая жизненные странности Толстого, и сказала, что я бы никогда не хотела с ним знакомиться, сидеть смиренно и умирать от страха его гнева. Распутин засмеялся: «Да, Наташа, к нему ещё надо было в очереди постоять». — «Нет, если бы я его в лесу встретила, то прошла бы мимо поскорее...»

Как-то я опять иронизировала над дружбой Толстого с Чертковым, над тем, что будучи таким психологом, он не понимал, что от людей нельзя требовать одного и того же: кому-то надо плоть укрощать, а кому-то оживлять из последних сил... тут меня аккуратно прервали, дескать не зарывайтесь... А однажды я Распутина всерьёз расстроила. Незадолго перед одной дачной встречей я прочитала его рассказ «Женский разговор». Я очень расхвалила старуху, говоря, что она у него такая живая, непохожая на других старух, им созданных. И сюжет со вторым мужем прямо-таки новеллистический. «А вот девчонка никакая, то есть её трудно представить. Она набор каких-то пороков и глупостей». Валентин Григорьевич обиделся: «Но ведь она же меняется!» — «Не знаю, она не похожа на человека, который может думать и чувствовать. Я думаю, что она у Вас — просто критика времени и поколения». Он помолчал, а потом сказал с некоторой горечью: «А ведь никто и не заметил, какая там звукопись...» Я его расстроила. Тем более, что я была уверена: образ этой девчонки — из газет, фильмов и телевизора. А в другой раз он мне сказал, что у него была кратковременная «невестка», которая в девятнадцать лет страховала части своего тела перед выездом в Испанию — там она и осталась. То есть писатель был знаком с новой генерацией не понаслышке.

В другой раз мы со Светой и писателем вспомнили «Рудольфио». И я уже не как персонажа, а как живую девочку осудила Ио: «Что это за безобразие! Звонить по утрам, критиковать жену, требовать решения задачек, поцелуев!..» ВГ и Света согласились со мной. «А, впрочем, герой-то — где его ответственность! И зачем он девочкам в таком нежном возрасте телефоны раздаёт?.. И вообще, мы неправы, потому что мы сухие, чёрствые, просто не помним, как можно чувствовать... Это у нас сейчас текста нет, а когда читаешь, то любишь и девочку, и этого «русского человека на rendez-vous». Распутин опустил голову, немного порозовев от комплимента. Он спросил: «Значит, рассказ действует противоречиво?» Я ответила:

«Но ведь это мгновенное действие настоящего текста!» ВГ смутился, когда его хвалили. (На вечере 1982 года Распутин, выступая перед публикой, заметил в ответе на записку, что в действительности была такая девушка по имени Ио и обратился к кому-то в зале за подтверждением.)

Обходя вопрос об интеллигенции, мы все же его касались. Я вспомнила девяностые годы, когда приезжали писатели (это была «околица» «Нашего современника»). Разумеется, писатели критиковали современную Россию, власть и т. д. Выступал кто-то и рассказывал, как его жена в феврале 1992 года за ночь посела от инфляции. «Странно, — сказала я, — она, видимо, в жизни горя больше не знала. Я была совершенно одинока, зарплата даже после защиты маленькая, но мне в голову не приходило сесть от инфляции». Распутину тоже показалось, что это нарочитый мелодраматизм. Он назвал двух писателей, мысли которых могли звучать так пафосно, но я ответила, что сидела далеко и слишком плохо знаю выступавших. «А вы так нападали на интеллигенцию, что мне было горько. Честное слово, у меня сильно закололо сердце, и я ушла, чтобы не расстраиваться ещё сильнее. Понимаете, я ведь очень много читала про русскую интеллигенцию разных времён, много общалась с этими людьми, видела и знала, как им приходилось. Я представляла их всех, когда Вы их так ругали... Да ведь, и Вы не земледелием кормитесь». Распутин понял меня, к тому же мне стало ясно, что компания окружавших его в девяностые годы им покинута. Но тогда я не ожидала, что они будут мягко смеяться над Крупиним. ВГ любил настойчиво повторять мне: «Я, Наташа, не интеллигент». Мне же казалось, что более интеллигентных людей трудно встретить: никто в доме не кричал, не грубил, не скандалил, а сам писатель за каждую мелочь проявлял благодарность и щедрость.

Комическим мне казалось ожидание приезда на даче писателя. Света накануне раздумывала, куда деть ковры, лежащие на улице. Она любила цветы, их было очень много, а Распутин бежал проверять, что выросло в огороде: ему было жаль, если земля пропадала зря, не принося плодов.

Однажды я его спросила, неужели старухи из его деревни говорят так, как в его произведениях. Писатель ответил категорично: «Нет, они так не говорят». Но я так и предполагала, что, даже если они такие мудрые, то вряд ли им такой язык дан. Да и диалектика в разговорах — как в сократических диалогах Платона. «Значит, это Ваши слова? Я так и подозревала: откуда же они к Вам приходили?» Распутин даже изменился в лице: «Я сам это не всегда понимаю. Наверное, это в звучании ветра, воды, ветвей деревьев... Я вижу лица этих женщин, и к этим лицам как бы сами нисходят слова. И в такие минуты, когда я слышу эти слова, я испытываю такое же удовольствие, как от прикосновения ветра и воды. Наташа, это природа».

Однажды я ему пожаловалась на природу. Я его спросила: «Неужели Вам не жалко человека, который трепещет, глядя на жуткие скалы, и не знает, что ждать от горной реки в Голоустном, от молнии, которая сверкает перед глазами?.. Главное, это ощущение себя песчинкой перед огромными деревьями и камнями до небес...» Распутин сказал, что так и должно быть: человек должен чувствовать себя малым перед природой и испытывать такой страх. Я спросила: «А вот конкретного, не виноватого перед природой человека Вам не жалко?» По его взгляду я заметила, что он догадался: я говорю о себе, о кошмарах Д. Каспара-Фридриха и дальних ущельях Кавказа или Байкала. Он смягчился: «Не надо бояться, тем более, если Вы не чувствуете своей вины перед природой».

На даче он ходил в добротном тёмно-синем спортивном костюме и напоминал мне синего медведя своей неловкостью. И одновременно я ощущала в нём фетовско-тютчевскую утончённость.

Помню осенний его приезд на дачу в 2005 году. Распутин был весёлым как никогда. На даче мы были со Светой и внучкой писателя Антониной. Приехал он из Аталанки утром. Заметив, что я была в тёмных очках, он воскликнул: «Ещё и солнца не видала, а уже закрылась очками...» В ответ на насмешку я позволила себе дерзость: «Боюсь ослепнуть от солнца русской прозы!» Он не рассердился: «Слепнут-то больше от поэзии...» и рассмеялся. Потом я развешивала бельё и споткнулась о камень. Он опять рассмеялся, тут уж я обиделась. После завтрака, замечая мою редкую молчаливость, он спросил: «Наташа, наверное, Вы обиделись, что я обратился к Вам на ты? Извините! Как Вам идёт это платье!»

Потом на уличном столике я села стряпать пироги. Он подсел ко мне рядом и сказал, что наш декан и декан психфака попросили его выступить в поддержку губернатора — а он его не поддержал. И спросил меня весело, не собирается ли наш декан делать дальше карьеру? «Нет, я думаю, что это заработок на предвыборной кампании». Разговор коснулся нашего факультета. Я хвалила факультет, говоря, что Распутин не знает, какая у нас хорошая молодёжь. Назвала несколько фамилий, но не встретила понимания. Он всегда с симпатией отзывался о Н.В. Ковригиной, В.П. Трушкине, Л.Л. Ермолинском.

В быту писатель был прост и доступен. К нему часто приходил таджик, как говорила Тоня, «рассказать деду свои мысли». Иногда таджик спрашивал чаю, но тут после разговора он ушёл недовольный. За обедом ВГ сказал, что таджик попросил его разрешения устроиться на зиму в новый дом. ВГ отказал. А я что-то сказала, что потом, наверное, его трудно было попросить выехать. «Нет, Наташа, — сказал строго Распутин, — он честный человек. Но мне это не подходит». А потом я его спросила: «Как вы думаете, кто займёт Сибирь — китайцы или мусульмане?» Реакция у него была почти трагическая. «Я и сам об этом думаю», — сказал он, встал из-за стола и ушёл в глубь участка.

* * *

8 мая 2006 года позвонила Света и пригласила в гости. Были там родственники, Женя со Скифом (сестра Светы с мужем), кто-то из племянников, отмечали Марусин день рождения. Как я поняла, Маруся недавно защитила диссертацию и пока оставалась в Москве. Мы говорили про неё, праздновали, я, правда, удивилась, потому что никогда не видела, чтобы в отсутствие человека отмечали его день рождения.

9 июля я ловила по телевизору нужную музыкальную передачу, но её не было. Я включила другой канал и узнала о гибели самолёта из Москвы. Первая мысль: «У меня там нет знакомых...» Пошли списки погибших — и я с ужасом увидела имя Марии Распутиной. Списки шли снова и снова, как волны. Увы, имя Маруси не исчезало. Она погибла в восемь утра в горящем самолёте.

Мне было страшно за родителей Маруси. Кажется, на следующий день я осмелилась позвонить Жене. Она сказала, что у Распутиных телефон отключён, но я могу прийти к ним. Я вошла в дом Распутиных, мне было очень страшно. На кухне сидела Света с двумя знакомыми Маруси. Лицо у неё было какое-то застывшее. Распутин с невидящими глазами очень быстро ходил туда и обратно по коридору.

Казалось, он ничего не видел. Я подумала, что Света будет медленно сходить с ума, а он — сразу. Я много повидала трагедий, но эта превзошла все. В этой семье все так любили друг друга. И долго-долго семья была действительно счастливой.

Отпевали Марусеньку в Знаменском монастыре. Народу было много. Но все провожающие были члены семьи или близкие, любящие люди. Г. Сапронов позаботился о том, чтобы ни один журналист, ни один посторонний не попали на похороны. Было очень тихо. Отец, мать, брат Маруси стояли у гроба. Только слышен был голос священника да церковное пение. Священник сказал, что можно подойти к родственникам.

Место на кладбище было красивое. За все предшествующие и наступившие потом дни, мне кажется, это был единственный, когда напряжение спало (а сколько сил ушло на то, чтобы доказать, что это тело Маруси и получить разрешение предать его земле...) Может, помогли стены Знаменского монастыря, может, проявления любви не только близких, но и далёких, может, высокий берег и высокий крест...

Много народу сидело за поминальным столом. И почему-то казалось, что страшное кончилось, что Маруся не совсем ушла... Скиф очень просто выбрал естественный и какой-то жизнеутверждающий тон, прочитав некоторые телеграммы, точно выбрав нужные строки о Марии из рассказа «Что передать вороне?» Уходя, я прощалась с родными и сказала ВГ: «Вы ведь автор... Это ваша дочь. Только Вы можете рассказать о ней, только Вам доступен её образ». «Странно, — сказал он, — я об этом сейчас думал». Увы! Это был только один выдох...

А потом наступили тяжёлые времена. Света просила, чтобы я бывала на даче. Я ночевала на мансарде в новом доме и смотрела на абсолютно гладкое холодное зеркало воды. Просыпалась я рано, услышав шёпот на первом этаже. Они оба не спали. Разговаривали.

Девятый день отмечали в полном молчании. Ничто не подходило: ни речи, ни стихи, ни воспоминания... Только молчание.

* * *

Года два после всего общение с ВГ стало тяжёлым даже в собственной семье. Он очень плохо ел, отодвигая за обедом какое-нибудь блюдо. Не доедал, чего раньше себе не позволял. И раньше всех стремился выйти из-за стола. Когда Света предлагала его любимый чай или компот, он просил: «Водички». Чая, думаю, он стал опасаться из-за бессонницы.

Когда по просьбе коллег я звала ВГ выступить на нашем филфаке, он сказал доверительно: «Понимаете, Наташа, у меня мыслительный аппарат не работает». У него были карие глаза, такие тёмные, почти черные. И вот они стали совершенно прозрачными. Из них как будто вытекла природная краска. Я видела, как выцветают голубые глаза, но не черные. Понадобилось несколько лет, чтоб они снова потемнели.

ВГ с печалью признавался мне, что не может писать. Он чувствовал себя виноватым, что не осуществляет писательский труд. «Но вы можете читать?» — «Читать — да». Он удовлетворённо это сказал, я видела, что какое-то время ВГ не мог погрузиться и в чтение. Я сказала, что все люди имеют право на отдых. В шестьдесят лет официальная пенсия... и он никому ничего не обязан.

А потом мы говорили с ВГ о Диккенсе, который, оказывается, ему когда-то был очень близок. Я заметила, что раньше слегка высокомерно обходила его: «А

теперь вижу, что вот так надо писать, потому что жизнь сама по себе так трагична, что даже Шекспир и Достоевский не могут быть адекватны её трагизму». Мы были согласны тогда. ВГ лишился самого дорогого — творчества и дочери. Когда-то он с симпатией говорил о Герцене. И не распространяясь, вспомнил его «Рассказ о семейной драме». Вспомнил и грустно кивнул.

В 2008 году Распутины не приехали в Иркутск, как это было обычно. Они были вдвоём в Москве и от своих болезней враз оказались совершенно беспомощными. У Светы был рак, у Валентина Григорьевича комплекс серьёзных заболеваний. По своей деликатности и самостоятельности они решили не беспокоить сына, занятого работой. К тому же, после окончания института, к Распутиным собиралась приехать внучка Тоня.

По последующим рассказам Светы я узнала, что им звонила Наталья Дмитриевна Солженицына и настойчиво предлагала пожить у них. Искренность и настойчивость Натальи Дмитриевны победили гордость и застенчивость писателя. Они иногда, ненадолго, на несколько дней (Света была связана курсами химиотерапии), приезжали к Солженицыным. Там за ними ухаживала медсестра, кормили правильной пищей. ВГ несколько раз общался с Солженицыным. ВГ сказал: «Наталья Дмитриевна, я же Вас не знал!» Солженицын умер через месяц.

Летом 2009 года меня пригласили на дачу, где жила вся семья. В одно из воскресений мы в Серёжиной машине поехали в город. Примерно на полпути одно из колёс испустило дух. Мы остановились, Света и Сергей решали, что делать. На даче была ещё одна машина, но до неё долго было добираться. Решили Свету оставить в недвижимой машине на тракте, Сергею возвратиться на дачу. Писатель должен был остановить транспорт и нас с Тоней увезти в город. Я знала, что в их семейные решения не нужно вмешиваться, хотя переживала за Свету, которая должна была сидеть в машине посреди Байкальского тракта.

Зато в экстренной ситуации ВГ активизировался, что с ним теперь редко происходило. В летний воскресный день машины и автобусы были переполнены. Распутин выходил на тракт, но никакие машины не останавливались на взмах его руки. Наконец, остановился переполненный автобус. ВГ подтолкнул Тоню на ступеньки, затем меня. Вскочил сам, заплатил деньги шофёру и поблагодарил его. Я, вообще, всегда отмечала, что он очень благодарный человек. В автобусе кто-то позвал меня, уступая место. Это был наш журналист В.И. Кашевский. Я спросила: «А может быть, мы Валентина Григорьевича посадим?» ВГ с силой усадил меня на место, продолжая стоять. Я поняла, что с моей стороны было бестактно напоминать о его физической слабости. Потом мы уже сидели вместе рядом — Тоня, писатель и я.

Он был в тёмных очках, и никто не обратил на него внимания. Но пожилая женщина, сидевшая напротив меня, спросила: «Скажите, это Распутин?» Я кивнула. Она обратилась к ВГ, вспоминая, как работала редактором в издательстве и её коллеги радовались общению с ним. В конце приключения я попросила Тоню позвонить, когда приедет Света. Я себя чувствовала предателем. Сколько ей там сидеть?! «Долго», — засмеялся Распутин. Но часов около десяти вечера оживлённая Света позвонила мне. Все хорошо закончилось. Серёжа водворил её на место.

На даче у Распутиных была поляна перед заливом. Вечером подъезжали машины и устраивали музыкальный грохот. ВГ спокойно выходил к этим ночным чертям и как-то умел поговорить с ними, попросить отъехать, уменьшить звуки.

Света переживала, что на него нападут. Но он всегда смело и спокойно выходил к этим людям.

Вспоминаю последние посещения их дома. Как-то мы сидели на кухне. ВГ рассуждал, что человек должен уметь делать всё самое необходимое. «Ага, — сказала я, — а Вы можете сварить обед из трёх блюд?» Он ответил: «Света меня сильно избаловала». Будучи больной, она всё успевала, ничего не забывала и думала, как муж будет жить без неё. За месяц до её кончины я сидела рядом с диваном, на который она впервые позволила себе лечь при мне. Она страдала о смерти Маруси. А ещё сказала, как будто веря в сказочную жизнь: «Я бы так хотела умереть с Валей в один день».

Я уехала в Германию. Когда вернулась, Светы уже не было. На годовщине были только близкие люди. Распутин рассказал мне, что в поездке на родину исполнил то, что не мог сделать многие годы. Он раньше поминал тётку Улиту, но могилу её не мог найти. И вот, наконец, нашёл. Доволен был тем, что исполнил свой долг. Он говорил: «Заходите, Наташа, заходите». Но я понимала, что при его состоянии можно прийти не вовремя.

У Валентина Григорьевича было обострено чувство вины. Я запомнила, как он переживал гибель режиссёра Ларисы Шепитько в 1979 году. Чувствовал себя виноватым. В чём? В том, что гибель произошла во время съёмок фильма «Прощание с Матёрой».

В каком-то из разговоров последних лет он вздохнул, что бездеятельность — худшее наказание. Я возразила, напомнив, какое путешествие он совершил совсем недавно. И фильм получился необычным. Распутин мне горько возразил: «Но ведь из-за этого путешествия умер Гена Сапронов...» Зная физическое и душевное состояние самого Распутина, я была изумлена тем, как он смог пойти на такой риск.

Мы нередко ходили с Распутиными в театр и на концерты. Когда осенью были интересные гастроли, Света всегда беспокоилась, чтобы мне было место. Как правило, всё молчановско-распутинское семейство не пропускало этих радостных дней. Распутин не только интересовался театральными постановками, но по-особому воспринимал музыку. Уже не было Светы больше двух лет. В дождливый вечер я шла с концерта Мацуева. Из знакомой семьи я встретила только Катю (племянницу Распутиных). Она вздохнула и сказала, что Распутин в больнице. «И там ему тоска...»

Но в последний раз я его увидела всё же в театре. Зал опустел. За мной шли друзья, которые приехали издалека. Я раздала им сувениры. Навстречу мне встал Валентин Григорьевич и обратился ко мне с весёлым вопросом о спектакле Московского художественного театра. И тут я резко вытащила из сумки колокольчик, протянула писателю. Колокольчик сильно зазвенел, но перестав раскачиваться... тихо позванивал остатком голоса.



Идиллия живописца Сергея Казанцева

Взбегу на холм
и упаду
в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!

Николай Рубцов



Сергей Казанцев

Заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств Сергей Иванович Казанцев родился в 1963 году в городе Магнитогорске. Окончил живописно-педагогическое отделение Свердловского художественного училища; потом — академический факультет Красноярского государственного художественного института по специальности «станковая живопись». С 1988 года — преподаватель Иркутского художественного колледжа имени И.Л. Копылова. Принимал участие во многих Международных выставках,

которые проходили в России, Монголии, Китае, Южной Корее, во Всероссийских, региональных, областных и групповых, в восьми персональных выставках. Произведения художника хранятся в коллекциях Государственной Думы России, в Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачёва, в музеях сибирских городов. Награждён почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и многими другими грамотами и дипломами, а также Золотой медалью «Союз художников России» и Золотой медалью имени Василия Сурикова.

В ранней юности, не способной учиться на чужих ошибках, перехворал, словно младенческой ветрянкой, и кубизмом, и метафизикой, и сюрреализмом, но однажды осознал душой, где уже угнездилился дух Божий, что живописец, не плетясь понуро за натурой, конечно, должен образно и символично запечатлеть дольний мир, но... от лукавого дьявола, когда художник, яко холоп князя тьмы, замахиваясь на Бога, глумливо рушит кистью человека — подобие Божие, когда живописует порок, подобно бесам искушая ближних, обрекая их души на смерть даже в рассвете плотских сил. Отряхнув ветхие лохмотья модернизма, художник пытается воплотить мировидение и мироощущение в традициях древнего, вечно юного реализма.

Нынешняя живопись Сергея Казанцева — сокровенно казанцевская, хотя и с крепким замесом русского и европейского академического романтизма, а иногда и народного традиционализма, — вновь и талантливо показала мертворождённому формализму, искорёженному бесом, безграничные возможности реализма, который, казалось, уже в начале прошлого века исчерпал себя, который потом весь век хоронили, но который, вобрав формальные приёмы, вдохнув в них Любовь к Вышнему и ближнему, отчей земле, снова и снова рождает шедевры живописи, глядя на кои очистительно замирала, ликовала и сострадала народная душа.

Слава Вышнему на небесах, отсулившему Сергею Казанцеву живописный дар, не рассеянный художником в суете сует мира сего, не сгинувший в хмельной и сумрачной богеме, не спалённый в мертвдушном формализме до дьявольского «чёрного квадрата». Свято почитая порядок в душе, Отечестве и на холсте, художник с юности, мудро снося житейскую скудость, веря в свою утреннюю звезду, трудился вдохновенно, от зари до зари, не покладая рук, до наслаждающего изнеможения. Эдак вынуждал работать и подмастерьев — Сергей Казанцев — преподаватель рисунка, живописи и композиции Иркутского художественного училища, — а посему и не случайно в 1997 году удостоился российской премии «Лучший педагог года». Но властелины премий не оплошали бы, коли попутно присудили бы художнику звание «Лучший ученик года»...

Истинный художник учится всю творческую жизнь, даже тогда, когда уже не горит, но ещё тлеет в душе творческий жар; учится, пока кисть не выпадет из рук. Сергей Казанцев, художник широко и основательно просвещённый в искусстве, неистово трудолюбивый, старательно учился у русской классической живописи, учился у западносибирских художников, будучи студентом училища, а потом института. Учился и у мастеров Иркутска, когда уже сам преподавал живопись, рисунок и композицию в художественном училище, творчески, дружески сблизившись с Тетенькиным, Костовским, Кузьминым, Лапиным. Молодой художник вдумчиво созерцал, переживал душой, с любовью постигал красоту байкальскую, прибайкальскую, городскую, деревенскую — натуральную и уже запечатлённую на холстах именитых иркутских живописцев.

Так рождалась созвучная архитектурно-художественному исконному Иркутску серия лирико-философских этюдов, что, случалось, перерастали в картины, по мысли, чувству и цвету не уступающие этюдам стареющих братьев по холсту и кисти. Вслед за иркутскими живописцами художник, словно выпивая успокоительную чашу, выпевал поминальную молитву и величавую песнь уходящему патриархальному сибирскому селу и обветшавшему древесной плотью старгороду, хранящему в бревенчатой памяти высокую и трагическую судьбу России («Этюд», «Старый дом», «Зимка», «Унылый мотив», «Март», «У околца», «Утро в Нижнеудинске», «Вечер в Кирей-Муксуге»).

Молодого живописца и на деревянной мещанской улице, воспетой и оплаканной певцами сибирского старгорода, и во всякой прибайкальской деревушке подстерегала опасность подсознательного подражания именитым иркутским художникам — Тетенькину, Костовскому, Кузьмину, Лапину. Может, в единичных натурных этюдах, городских и сельских, некое *благодарное* влияние и ощутит искушённый в живописи, дотошный искусствовед, подобный Тамаре Дранице¹, но в целом живопись Сергея Казанцева — самобытна; и спаслась самобытность от поглощающей *иркутской пейзажной школы*, от художественного провинциализма.

¹Тамара Драница — именитый иркутский искусствовед, сотрудница художественного музея.

лизма обращением к русской и мировой классической живописи, постижением и реалистическим использованием бесчисленных формальных приёмов, в Европе лукаво повеличенных *измами*, стремлением из пленэрного этюда создать жанровую картину.

В пейзажах Сергея Казанцева, где доживают век мещанские дома, крестьянские избы, слава Богу, не слышно грешное унынье и трагическое отчаяние; лишь светлая грусть, случается, отуманит взор. Художник запечатлел закатную красу старгородского и сельского мира в неизбежном слиянии остаревших домов, изветшавших изб и кривых, щербатых заплотов с природой — с матерью-сырой землёй. Из земли пришли, покрасовались, отцвели и в землю ушли...

Не отчаянье, а смиренная грусть в картине «*У погибшей берёзы*»: отпустившая на вольный выпас домашнюю животину, жена — похоже, на закате короткого бабьего века — зятяно и задумчиво оглядывает погибшую берёзу, вольно ли, невольно озирая и свою заплечную судьбу, коя, может, тоже надломлена... Философски и даже тематически созвучна сему произведению и картина «*Вековой тополь Большого Голоустного*», словно художник задумал диптих: пастух задумчиво оглядывает одинокий древний тополь, переживший своё поколение, который хотя и матёр, но уже, по-старчески поскрипывая, прощается с матерью-сырой землёй. В вековом тополе, может, привиделся пастуху древний предок, послышался его назидательный, прощальный голос: «...Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий... Если имею *дар* пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что *могу* и гору переставлять, а не имею любви, — то я ничто... Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше»².

Трагическое полотно «*Стога*» — вроде и заготовили крестьяне сена вдоволь — жить бы да жить, но сиротливо замерли стога на метельном ветру, а в небе выются чёрные птицы. Приходит в память поведанная отцами и дедами предвоенная картина: щедрый урожай хлебов и трав, но... налетел злой ветер войны, закружились вороны над полями русскими, над стогами, избами...

Оговорюсь вновь, печальные, а паче трагические картины для Казанцева не характерны; художник тематически и колористически широк, полон сил, и молодая суть противится старческому унынию, не желает однообразно петь *со святыми упокой*, справлять вечную тризну по уходящему деревянному и каменному, природному русскому ладу. И рождаются картины старгородской и сельской жизни без привычной поэтизации духа разорения и тления, картины воображённого *идиллического* русского мира («*У бабушки*»).

Сергей Казанцев испытывал живописный дар на силу и прочность в разных, вроде и несовместимых манерах: вот музыка русской сказки с заросшим и приболоченным, таинственным предночным озером среди замшелой тайги, где вольно ли, невольно ли воображаются и сестрица Алёнушка, и братец Иванушка, и царевна-лягушка, и жених её Иван царевич, и даже баба Яга («*Лесное озеро*»); вот, словно вызов стылому формализму и мертвому декоративизму, — декоративно-музыкальная «*Элегия*»; а вот и народно-религиозная картина «*Никола Вешний*», где мистический мотив сливается с реальным пейзажем, призрачным, вроде неотмирным, ибо на картине и внешнее пробуждение природы, и пробуждение

²Первое послание к коринфянам святого апостола Павла. Гл. 13.

Православной Руси, где испокон православного века избранным и любимым святым почитался Никола Чудотворец, на холсте и оживший в божественном сиянии среди светлых берёз.

* * *

Художник был полон творческих сил, молодая суть противилась старческому унынию, не желая однообразно петь Лазаря, справлять вечную тризну по уходящему деревянному и каменному, природному русскому ладу. Почто, сурово следуя натуре, живописать лишь дух разорения и тления даже и с певучей, светлой печалью?! Почто бы не довообразить изветшавшую деревню или тонущий в асфальте деревянный старгород и запечатлеть их изначальными — ладными, безунывными, тепло-ласковыми в предзакатном и закатном свете?! Отчего же не написать идеал, *идиллию*?!

И рождается картина «*Иркутск в Рождество*», где вне иркутской школы, подобно сказочно-рождественскому стиху, явился староиркутский двор. И хотя усадьба ветхая — уже и нет в помине ограды, перекошенные, чудом висят калитка и полотно ворот, — и под стать ветхой усадьбе уныло бредущая старушка, но в картине царит великий праздник — Рождество Христово: словно на святочных открытках, дети, играющие во дворе, и древние тополя в синеватом сказочном инее, и праздничные думы выются к Божиим небесам с заснеженной крыши.

От холста к холсту тихо вздымается *идеально-патриархальное*... Вот «*Утро*» в остаревшей лесостепной деревушке: приземистая изба, кривая банька, врастающая в землю, крытая изветшавшим лиственничным драньём, и покосившиеся приворотные верей, но возле колодезного журавля уже *идиллично* пасутся телушка-пеструшка, козы, куры, и шествует празднично принаряженная девчушка-школьница, а над сельским покоем *идиллия* ласкового предзакатного неба. Вот картина с незлобивой народной потехой-утехой: «*Мужики*», похожие на сельских выпивох, кажется, соображающие на троих, похмельно-тоскующе сидят на бревне подле редкозубого палисада толи избы, толи барака с полупровалившейся крышей, но всё же рядом по-хозяйски *идиллично* расхаживают куры, и неведомо из каких палестин прискакавший на лошади огнебородый и краснолампасный *идилличный* казак осуждающе косится на мужиков: дескать, тыфу на вас, лодыри.

Чтобы полнее воплотить на холсте философию *идеального* бытия природы и человеческого мира в природе, художник обретает дух и смелость созидать в созвучии с живописью всесветно славленных русских и европейских романтиков; а затем, не волочась уныло за натурой, вопреки суровой и безжалостной правде жизни преображает *реальное в идеальное, в идиллию*.

Можно экспозиционно выстроить большую серию *идиллических* картин и этюдов Сергея Казанцева. Вот, скажем, сибирская деревня в картинах «*Осенний вечер в Тихоновке*», «*Вечер. Ждут стада*» и «*У магазина*», «*Поздняя осень*» и других — деревня, по которой в начале и конце прошлого века словно Мамай прошёл, порушив крестьянский мир. Но в помянутых произведениях мечтой и волей художника поэтически возрождается мудрый и ласковый, певучий лад крестьянского жития: животины сытые, избы ладные, люди справные, в коих после страдного летнего дня наслаждающаяся усталость. А в глазах — ласковый свет, исходящий из боголюбивой души...

Идиллического состояния художник достигает и цветом, но не импрессионистской рассеянностью света, не буйством красок, а нежно светящимся, сосредото-

точенным и усиленным светом из цвета закатного, когда мать-сыра земля после суетного дня обмирает в желтовато-тёплой неге, легко и безмятежно думает о прожитом дне... годе... веке... вечности...

Идилличное из деревни кочует на берег Байкала в рыбацьи посёлки: вот «*Шида*» вечеряющая, с притихшими у старого причала катерами и утомлёнными чайками, плавно летящими к ночлегу; вот закат в картине «*Большое Голоустное*» с дремлющими у пирса судами, с девчонкой, счастливо бегущей к морю, с тихой, ещё не скинувшей леса Никольской церковью, где по молитвам Николы Чудотворца Спас печётся о байкальских мореходах³; а вот «*Осенний вечер в Тихоновке*» с желтовато светящимися в закате копнами и лениво бредущим вдоль городьбы сытым стадом. Потом *идилличное* оживает и в бурятских селениях («*Дети Сармы*», «*Утро молочника*»), и в закатно-блаженном иркутском старгороде («*Осень на Большой Русиновской*», «*Весна на Большой Русиновской*», «*Иркутская улочка*», «*Иркутский дворик*»); и вдруг *идилличное* рождается и в равнинной Руси, в нежной и небесно высокой, призрачной музыке снежного предвечерья («*Зимний вечер в Кишиарино*», «*Зимний ноктюрн*»).

Идиллическое воскресает и в академически строгих, но дивных портретах художника, где увековечились его училищные ученики, — «*Портрет И. Югая*», «*У бабушки*», «*Портрет Е. Цыбулина*».

В портретных холстах мало примет нынешнего смутного и суетного времени; герои в безвременной обстановке безвременны созерцательным покоем, глубоким погружением в познание мира, светлой душой, подобной ясному лазурному небу, где, верится, не лукавый, а Господь начертает божественные письмена.

Блажным, мечтательным состоянием картины «*Портрет И. Югая*», «*У бабушки*» созвучны и деревенским пейзажам «*Год белой лошади*», «*Подпаски*», «*Ветковой тополь*», но в пейзажах равноправно и слитно с героями живёт закатная и предзакатная, обмершая в протяжной думе, вечная природа. Когда сморишь на большое полотно «*Год белой лошади*», над которым Сергей Казанцев работал долго, с особым пристрастием, то невольно являются в душу величавые и вещие строки русского поэта Николая Рубцова:

*Взбегу на холм
и упаду
в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!*

Но вдруг, вроде нежданно-негаданно, оживает на холстах *идиллия*, затаившая в себе тревогу и опасение: не рухнут ли покой и лад в одночасье в мире нарастающей тьмы?... Тревожен «*Остров. Тишина*», а в «*Стороне Тверской*» плывут, словно из чужеземья, грозовые тучи и копятя над русским полем; и высокие стога загодя сметаны возле летней избы, отчего-то заколоченной, вроде оборонительно укреплённой.

Разумеется, все сопоставления, выстраивания рядов весьма условны, ибо всякий этюд, а тем паче картина, подобны живым душам с их неповторимым духом, сокровенным смыслом и самобытным голосом. Да и художник, что говорилось выше, непредсказуем, и вот уже рождается пронзительная до слёз картина

³За серию идиллических пейзажей из байкальского посёлка Большое Голоустное Сергей Казанцев сподобился обрести губернскую премию имени выдающегося русского художника Александра Вычугжанина.

«Едут!», картина без идиллии. Малая отрочица, обувшая второпях великоватые ей подшитые древние дедовы катанки, накинув шубейку, выбегает на заснеженное крыльцо и всплескивает голыми ручонками: едут!.. Отрочица счастлива верой в грядущее счастье.

А вот у девушки с другой картины вера в отрадную судьбу уже смутна и скупа, и она уже не ждёт от моря погоды. Эти произведения ...равно и картина «*Что делать*» с толкующими промеж себя дворником и дворничихой, написанная в неожиданной народно-грубоватой манере, с едва приметными передвижническими мотивами... эти картины благодаря живописному дару художника избежали плакатности, обострённой социальности и рожают не озлобленность к сильным и властным мира сего, но — жалость Христа ради, коя есть предтеча божественной любви к ближнему, а потом и к Вышнему.

На сем и завершаю слово о художнике; а на прощание пожелаю, чтобы в живописных холстах его ради спасения души своей и зрительской вечно светилась Любовь, ибо Любовь — имя Христа Бога.

2011 г.



БОРИС БАРАНОВСКИЙ

Сказание о графомане

«Графомания — это страсть к бесплодному писанию, пустому сочинительству» — так написано в энциклопедическом словаре, да разве этим всё сказано! Только тот, кто работал в редакциях да издательствах и не на шутку измотан нескончаемой и бесплодной борьбой с особями разного пола и возраста, одержимыми ненасытной страстью к бумаготворчеству, знает, с каким безумным фанатизмом и безмерной плодовитостью загружают они редакционные мусорные корзины своими несусветными творениями! И всё же нередко прорываются на страницы районных и городских мелкотиражек. Своей неистовой тягой к самовыражению в «искусстве слова» они здорово смахивают один на другого. И всё-таки возьму на себя смелость выделить самого выдающегося среди известных мне графоманов, хотя бы потому, что с ним связано несколько интересных воспоминаний.

Для этого следует переметнуться в год тысяча девятьсот пятьдесят девятый, в общежитие Иркутского госуниверситета, а именно, в нашу комнату студентов-филологов, и для начала познакомиться с одним из моих однокурсников — Петром Шумковым, который применительно к нашему повествованию знаменит тем, что приехал из города Тайшета, где работал в районной газете и где ему пришлось «иметь дело» с неистовым самодеятельным поэтом, героем данного очерка, которого звали Николай Чуркин. Узнав, что его земляк учится на филологическом, Чуркин завалил его ворохом своих произведений, питая возделенную надежду, что тот возьмёт да и протолкнёт их в областную печать. Петя и раньше иногда цитировал полубредовые вирши тайшетского чудака, так что мы заочно с Николаем Кирсановичем уже были знакомы, поэтому появление собрания сочинений в нашей комнате вызвало заметное оживление, незамедлительно переросшее в фантазмагорию. Несколько вечеров стены первого этажа общежития потрясал гомерический хохот, сопровождавший декламацию чуркинских опусов. Например:

*Ну, мороз — как в Лондоне, туман,
Постовой направил вдаль наган.
Стой иль выстрелю!
Эй, не пали!
Мы сошлись как в море корабли.*

Через день мы уже шпарили чудо-стихи наизусть. С одной из кроватей неслось:

*Увести подругу вдаль легко —
Да любовь зашла неглубоко.*

С другой вторили:

*Баба-сахар, баба-мёд!
Кто её, красотку, грабил?
Баба тихо слёзы льёт...*

Стоит ли этому удивляться, если и сегодня, ровно через полвека, я могу вам без запинки цитировать и ещё много чего. Вот целая мини-поэма на тему морали:

<i>Душа болит о производстве,</i>	<i>Но стенгазетная бумага</i>
<i>Ну, а буфет зовёт к вину.</i>	<i>Дает однажды мне пинка.</i>
<i>И я, своей натуре родствен,</i>	<i>Бумага все, конечно, примет,</i>
<i>Не привыкал пускать слюну.</i>	<i>Но я пинка принять не смог.</i>
<i>Согрет живительною влагой,</i>	<i>С меня завком взысканье снимет —</i>
<i>Хожу с приплясом вокруг станка,</i>	<i>Я в пьянстве смертью храбрых лег.</i>

А вот страсти трагического накала:

<i>Она ударила: «Прощай!»,</i>	<i>Он посмотрел ей молча вслед</i>
<i>Из уст, презрительно поджатых.</i>	<i>Смертельно злобными глазами</i>
<i>Так у кочевника праща</i>	<i>И, яростно дрожа усами,</i>
<i>Разила в дебрях супостатов.</i>	<i>Четвертовал её портрет!</i>

Особая история связана со следующим четверостишием:

*Из подворотни выбрел пес лохматый
И вдруг завоил словно не к добру.
Подкрадывался сумрак бородатый,
Подвязывая сумочку к ребру.*

История эта и делает нашего графомана самым знаменитым, так как связана с подлинной знаменитостью, а именно, с нашим известным писателем-драматургом Александром Вампиловым. Он учился двумя курсами раньше нас, в общезнании не жил, но навещался туда чуть ли не ежедневно. Вот и в первый вечер «чтений» он вместе со всеми впитывал сию усладу, а на следующий день снова появился в тот же час на том же месте и со своей «фирменной», по-вампиловски хитровой усмешкой и негромко объявил, что написал юмористический рассказ о том, как некий литературный консультант одной редакции едва не свихнулся от прочтения несуразных стихов нештатного автора. В качестве этой несуразицы будущий драматург и использовал «сумочку к ребру». Правда, Саню (только так его тогда однокашники называли) интересовал сугубо практический вопрос, этакая юридическая, что ли, тонкость: поскольку вирши принадлежали конкретному реально существующему лицу, то опубликование без его ведома не повлечёт ли неких правовых последствий? Мы наперебой стали давать свои советы на этот счёт, но основное внимание Вампилова было обращено к Петру Шумкову — именно он, единственный, знал лично этого Чуркина. Петя вынес окончательный вердикт, который сводился к тому, что этот Чуркин как человек — душа добрейшая. Ему лишь бы опубликоваться, не важно, в каком виде, и никаких обид от него не последует.

Так оно и оказалось. Вскоре в газете «Советская молодёжь» вышел рассказ А. Вампилова под псевдонимом *А. Санин*. Называется он «Сумочка к ребру» и является одним из самых первых произведений Александра, опубликованных в областной печати.

Кстати, данная история (правда, без последних подробностей) описана в книге ещё одного нашего однокашника — Арнольда Харитонов. Он учился на курсе на год старше нашего и на год младше вампиловского, а книгу воспоминаний озаглавил «Эх, путь-дорожка...»

Пути Господни поистине неисповедимы, а посему лет этак через семь оказался я в должности заместителя редактора той самой районной газеты того самого Тайшета, где снова работал Петя Шумков, а также по-прежнему обитал наш герой Коля

Чуркин, и, следовательно, получил возможность воочию лицезреть его одержимую натуру, добродушно-простецкую с виду и в то же время одухотворённую несгораемой страстью к рифмоплётству. Стоит ли говорить, что он был самым преданным членом местного литобъединения и так же заваливал редакцию перлами своего творчества, вызывавшего у нас ту же реакцию, что и в студенческом общежитии.

Как раз в то время литобъединение возглавил приехавший выпускник журфака Володя Потапов, который оживил его деятельность и даже придумал выпускать самодеятельную стенгазету. Для разнообразия её тематики открыл рубрику «Уголок графомана». Нетрудно догадаться, что главным героем рубрики стал несравненный Николай Чуркин.

А теперь остаётся воссоздать заключительную сцену нашего повествования.

Редакционный кабинет. Потапов, Шумков, вдоволь натешившись комизмом ситуации, под наш общий гул готовятся к вывешиванию «органа собственного издания». И в сей момент в коридоре раздаётся знакомое громкоголосие лёгкого на помине Николая. Должен сказать, что это повергло издателей в заметное смущение. В кабинете наступила непривычная тишина, которая настороженно встретила вступившую в комнату высокорослую фигуру в неизменном распахнутом полущубке и с добродушной полуулыбкой на лице. Протянув Володе пачку свежееписанных листов, он в недоумении остановился, удивлённый непривычным нашим молчанием.

— Видишь, Коля, — откашлявшись, начал Потапов, — мы тут газету выпустили... И твои стихи там...

— О! Хорошо! — Чуркин мигом оживился и потянулся к листку ватмана.

— А ещё, знаешь, мы там «уголок графомана» открыли...

— Значит, графоман... — зычный голос Николая звучал контрастом к тихому Володиному словесному ручейку.

— Нет, что ты!.. — загомонили разом газетчики.

— Да, ладно, ладно, — пробурчал посетитель. Он уже, не обращая ни на кого внимания, полностью погрузился в чтение стенной печати и в целом остался доволен. Главное — опубликовали!

Может быть, где-то в глубине этой неприкаянной души обретались какие-нибудь поэтические гены — не случайно же его родной брат Леонид Кирсанович Чуркин был известной в областных литературных кругах фигурой — директором Восточно-Сибирского книжного издательства. В то же время подобная одержимость здорово смахивает на конкретную психическую аномалию. На такую мысль наталкивает также и немислимо трагический финал этого человека. К сожалению, уйдя из редакции, я потерял след Николая Кирсановича, а может, просто забыл в сумятице прошедших лет. Поэтому о дальнейшей судьбе Н. Чуркина я узнал из уже упомянутой книги А. Харитонов. Арнольд встретился с ним в колонии, где тот отбывал срок за страшнейшее преступление — убийство, совершенное якобы в алкогольном беспамятстве. А может, сказались последствия перенесённого в детстве менингита.

Больше он ничего о себе гостю не рассказал, зато всё время порывался... почитать новые стихи. Он так и решил, что корреспондент приехал к нему как к поэту. Воистину, графомания — болезнь неизлечимая.

В заключение, наверное, следует заметить, что лица, подверженные этому недугу, в основном люди безобидные и чаще вызывают к себе отношение лёгкой иронии. Есть таковые и среди нас. Кстати, начинаю замечать, что проявляются они не только традиционно в поэзии, но не чужаются и прозаических жанров. Однако об этом как-нибудь в другой раз.

«...Исторгая радости рекой...»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

*А по совести пред Богом
Кинь зелёные глаза.
Он с тобой перед чертогом,
Где бы ты была чиста*.*

Александр Лукин (Попов)

А по совести, пред Богом
Положи свои глаза.
У него в чертогах много:
Руки, ноги, волоса.

Чтобы каждый, кто приходит,
Подобрал под рост и вес.
По ранжиру всё в природе
Пред чертогом и окрест.

*Если день ломает ноги,
Бьёт подножками с утра,
Ты пойди другой дорогой,
Что закончилась с утра.*

Александр Лукин (Попов)

Если день ломает ноги,
Полдень бьёт под дых с утра,
Вечер умер на пороге,
Ночь не крикнет нам «ура!»,

Значит, нужно плюнуть в лужу
И другой дорогой плыть.
День такой совсем не нужен —
Закопать его, забыть!

*Ветер стих и ливень успокоился,
Как моё всежрущее нутро.
Что зависли мысли? Живо строится!
Кто не смог построится, в ведро.*

Максим Сафиулин

Моё всежрущее нутро
Не может успокоиться.
Вчера сожрал кефир в кино,
Не знал, что все расстроится...

Стихов я извергаю ряд.
Шеренгами, поротно.
В ведро отправить этот яд!
Прощай, бесповоротно.

*Здесь и далее сохранена авторская орфография и пунктуация.

*Опять не смог запомнить строчки,
Что этой ночью снились мне.
И вместо строчек фраз кусочки,
Что скрылись в сумасшедшем дне.*

Максим Сафиулин

Опять не смог запомнить строчки,
Поэтому в стихах кусочки.
Кусочки фраз, метафор крошки
И недорифм зелёных мошки.

Во сне гляжу на длинный ряд
Недостихов, которым рад.
Считаю я себя поэтом
И в соцсетях твержу об этом.

Рыбий жир

*Страшно ночами видеть тот лицемерный мир,
В коем с мозгами из перьев эгоист-кумир,
Очередь нервно стоит из последних сил,
Друга плечо где — теперь состоит из вил.*

*Там, где активно пекутся лишь за свое филе,
Не от того ли так нечем дышать на земле?
Каждый здесь держит свое только в себе,
Варит из мрачных идей сладко-соленое желе.*

Ольга Фокина

Уже не помню я про филе.
Дышать и вовсе нечем стало.
Сладко-солёное желе
В стихах меня совсем достало.

В мозгах из перьев стоит кумир.
Держу себя совсем напрасно.
Стихи прекрасны, как рыбий жир.
И не читать их — уже есть счастье.

На ветке

*Тесно ведь гнездится в клетке,
Телом скован, душно мне...
И она висит на ветке,
Возле кроны в вышине.*

Николай Хромовских

Моя душа висит на ветке.
Страшно очень, ну, хоть плачь.
Баратынский рядом в клетке.
И Жуковский — мой палач.

Говорят: пошто воруеть,
Рифмы наши и слова,
То, как хищник, ты завоешь,
То бормочешь, как сова.

Мы тебе унять поможем
Стихотворный горе-зуд.
Ты во сне пиши, на ложе,
Избавляйся от причуд.

Забурлилось

*Что-то я забылась на минутку,
Что-то забурлила моя кровь.
Вопреки угрюмому чему-то,
Я опять поверила в любовь.
Я опять чему-то улыбалась,
Обнимала мир одной рукой
И врагам в восторге умилялась,
Исторгая радости рекой.*

Эмма Гриб

Что-то забурлилось, что-то я забылась.
Исторгая что-то, над стихом трудилась.
Рифмы и восторги вопреки чему-то
Я бросала в реку и ещё кому-то.

Состоянье это очень берегу,
Исторгая что-то прямо на бегу.

ВЛАДИМИР СКИФ

Бессмертие таракана

*Завивали горе верёвочкой,
лили споры в стакан.
А с буфета глядел с издёвочкой
друг семьи — таракан...*

Олег Кузьминский

Мы — поэты, мы — люди забавные,
часто смотрим в стакан.
Есть у нас вдохновители главные —
клоп, блоха, таракан.

И в стихах — таракан обязателен!
Друг поэта! Семьи!
Он такой золотой, замечательный,
дарит рифмы свои.

Вот сидел бы я, пил своё «Клинское»,
капал слёзы в стакан.
А с буфета вдруг прыг на Кузьминского
мой родной таракан.

Сколько пива не пью — мне не пишется,
а теперь — посмотри:
вот она — моя новая книжица —
с тараканом внутри!

Любитель старух

*Светила полная луна,
И не было греха
Ни в том, что ты была пьяна,
Старуха, дрянь, труха,
Ни в том, что мир скатился в бред
Навязчивый, больной,
И что Творец эксперимент
Поставил надо мной.*

*И страсть была, и страх, и грех,
Но и во тьме греха
Ты мне была желанней всех —
Старуха, дрянь, труха.*

Алексей Шманов

Я — не Раскольников. О, да!
Старух не бью в висок.
Мне очень нравится, когда
Из них шуршит песок.

Увижу старую, дрожу,
Брожу с ней дотемна
И по лугам её кружу,
Аж падает она.

Потом, припав к её плечу,
Без всякого «ха-ха»

Старухе ласково шепчу:
— Старуха! Дрянь! Труха!

Старуха шамкает в ответ
Какие-то слова,
А для меня на свете нет
Роднее существа.

Читатель мой, ты с толку сбит.
«Что дальше?» — голосок.
Моя старуха крепко спит,
Я слушаю песок.

Ведьма

*Не лгала тебе, но скрыла я,
Что летала на метле,
Мне беспутной да бескрылою
Скучно стало на земле.*

Милана Зарубина

Я девчонка баламутная,
И хотя стихи пишу,
Я беспечная, беспутная,
Многим голову кружу.

Скучно жить до безобразия
Среди страшных образин.
Как случается оказия,
Поспешаю в магазин.

Запасаюсь зельем ласковым
И с мечтами о тепле
Над Сибирью ведьмой классною
Пролетаю на метле.

Скучно мне дружить с дебилами,
Полетаю, посвищу,
На куриных ножках милую
Я избушку отыщу.

Там с Кощеем я безмерная
В томных грёзах и грехах...
И поэтому — бессмертная,
Даже больше, чем в стихах.

Типа чё-ково

*когда бабло в кармане
к точке летишь как на крыльях...*

*...стараясь по-тихому
всё чики-мони...*

*...вся шелупонь повылазит
типа чё-ково
как типа жизня
давай замутим...*

...соображалка всюду пашет...

Александр Журавский

у меня бабла
как дерьма за баней
и пока соображалка варит
я типа с утра ползу на точку
замутить косячок-два
на точке никак
чё вату катать
беру косячок
всё чики-пики
ползу обратно в кайфе
есть и покурить и заварить
назло другим уркаганам
из нашего союза
российских писателей
а они мне типа давай
колись-делись
я им щас вот я в завязке
пошли вы шелупонь-супонь
антракены хреновы
это вам не синдифирополь
и ничё-ково
а журавский

В сетях любви

*Попросила прийти — не пришёл.
Не сказала того, что хотела...*

*...И опять вечерами чиню
Сеть из слов: распелась,
развязалась...*

Людмила Белякова

Разговор оказался тяжёл:
Не сказала, чего я хотела,
А сказала бы — ты не пришёл,
И теперь вот грустит моё тело.

Но сижу вечерами, чиню
Сеть из слов.

Этой сетью невинной
Оплету тебя, как паутиной,
В нежном образе женщины «ню».

О любви своей буду трубить
И стихами пытаться твоё ухо.
Не теряя присутствия духа,
Буду кровь твою сладкую пить.

Почему ты меня не хотел,
Почему отвергал то и дело?
Ведь просила прийти, ведь хотела,
Чтоб ты в сети мои залетел.

Ну, и ты залетел, наконец...
Сеть крепка —

ты от счастья немеешь.
Расплести ты её не сумеешь!
И теперь мы пойдём под венец!

Ответ В.И. Липину

Дорогие друзья! Панове — товарищи!

Наш активный читатель Вячеслав Иванович Липин, обидевшись на пародирование его работ (журнал «Сибирь», № 5, 2017), грозит редакции судебным разбирательством, в том случае если не будут опубликованы в журнале его пародии на пародии. Простите великодушно за невольную тавтологию. А посему, в порядке исключения, решили мы оказать честь сему автору, сохраняя его пунктуацию и орфографию, не страха ради, а пользы для.

Решил побаловать он нас, —	Хотел он плавно перейти,
Пошли за горлопаном.	Чтоб миновать депрессию.
Но поднимаясь на Парнас,	Но изломал перо в пути —
Смеялись над Степаном.	Наткнулся на Поэзию.

* * *

Он решил блеснуть словами, —	По следам и доползу...
Изнемог — уменя нету:	Грешен — не подпустит к раю.
Подгляжу за божествами —	Кончик ручки изгрызу,
Может подберусь к Поэту.	Но Поэта измараю.

* * *

Ради кормовой халтуры —	На экзамене ж невзгода —
Долго размышлял.	Не давали чин,
Лучшую литературу	Ибо с первого захода
Нагло опошлял.	«Неуд» получил!

* * *

Хотелось бы после ликбеза
Нарубать основной беспредел.
Читатель: «Не вышла «трапЕза» —
Срубил сук, на котором сидел!»

Как говорится, без комментариев...

Ваш Степан Правдорубский



«...Значит, нужные книги ты в детстве читал»

Вообще-то, книги, а особенно нужные, то есть хорошие, следует читать всегда. В детстве, отрочестве, юности, зрелом возрасте, и даже в старости, чтобы маразм с тобой не приключился. А ещё по той простой причине, что настоящая художественная литература — это не только, не кривое, а реальное зеркало, отображающее всевозможные, порою весьма причудливые, и даже нелицеприятные и трагические моменты нашей жизни, но ещё и очень хороший учитель. Недаром же в незабвенные советские времена писателей называли инженерами человеческих душ. А душа человека, как известно, — это дело тонкое...

А ещё читать следует (но именно хорошую литературу, а не макулатуру, которая ныне, увы, преобладает на прилавках книжных магазинов) для того, чтобы не стать уж совершенным дебилом от чрезмерного порою общения с компьютером, телевизором и прочими новомодными новшествами современного мира. Ибо только чтение, хотим мы того или нет, развивает наш мозг. Учит строить логические умозаключения, правильно и красиво выражать свои мысли. Одним словом, хорошая литература учит нас правильным ориентирам, а значит, и достойной жизни. И происходит это оттого, что в процессе вдумчивого, неторопливого чтения, в нашем мозгу задействуются разные его центры. Ведь, читая книгу, человек (неосознанно даже) следит за сюжетом, соглашается или не соглашается с автором, сопереживает или не сопереживает героям художественного произведения, ставит себя на их место. Кроме всего прочего, книга — это ещё и произведение искусства. Совместный труд автора, художника, дизайнера, корректора, редактора, издателя...

А как приятен сам шелест страниц новой книги! Её неповторимый запах! Когда открываешь новую, доселе не читанную тобой книгу, ты находишься в предчувствии чего-то таинственного, но обязательно хорошего и необычного, как бывало с нами в детстве, в новогоднее утро, когда мы подходили к ёлке. А под ней для нас обязательно лежали подарки, оставленные добрым Дедом Морозом...

Но всё это справедливо и относится лишь к хорошим книгам. И, напротив, ничего подобного в нашем мозгу не происходит от общения с компьютером — этой системой строгих посылов и команд. Или, уж тем более, при просмотре телевизора. С экрана которого в наши головы при помощи виртуозных создателей различных программ и шоу — зачастую неудобоваримой продукции (очень часто весьма низкопробной — и с этической, и с эстетической, и с моральной точек зрения), попросту вливаются помои. Или отстой, как говорит современная молодёжь...

Вот о пользе чтения, о книгах, на мой взгляд, хороших и не очень, мне и хотелось бы сегодня поговорить.

Заголовок для своей статьи я взял из последней строфы (всего их там двенадцать) песни Владимира Высоцкого, написанной им к кинофильму о Робин Гуде.

Приведу целиком это крайнее четверостишие баллады, чтобы вы имели представление, о чём идёт речь.

*Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почём,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.*

Причём Владимир Высоцкий долго не мог определиться с названием этой баллады. Он называл её на разных выступлениях то «Балладой о детстве», то «Балладой о книгах», то «Балладой о геройстве». Что, кстати, совсем не то, что новомодное ныне явление, именуемое лидерством. Ибо лидер чаще всего, и прежде всего, думает о себе самом, любимом, и своей карьере. И может легко подставить, если ему это выгодно, своих же друзей. Герой же думает о людях. И ради них он совершает подвиги. За что они и отвечают ему взаимной любовью или взаимной ненавистью, как это было с горьковским Данко. Вот и в песне Высоцкого речь идёт, на мой взгляд, фактически, о становлении характера, о человеческой личности.

И неважно, что баллада эта написана о 12-м или 13-м веке, когда жил отважный Робин Гуд. Эта баллада и о нас с вами. Поскольку из какого источника мы пьём, таковыми и становимся. А настоящая литература — это благодатный, светлый источник. Из которого не только полезно пить, не боясь отравиться, а даже необходимо насыщаться им, чтобы возрасть духовно...

Итак, о книгах, недавно или уже давно прочитанных. О так называемых раскрученных и не раскрученных авторах.

Начну с романа Ирины Кисельгоф «Пасодобль танец парный», вышедшего огромным (для нынешних времён) тиражом в московском издательстве «АСТ».

Сразу же разъясню, что пасодобль в переводе с испанского означает «двойной шаг». Сам же танец имитирует корриду, где в качестве быка или, точнее сказать, бычихи выступает партнёрша танцора, изображающего танцевальными па, соответственно, матадора, покоряющего свою партнёршу.

Роман Ирины Кисельгоф — книга о семейной жизни, сюжет которой многие критики поспешили даже сравнить чуть ли не с романом Льва Толстого «Анна Каренина».

На мой же взгляд, роман Ирины о безумной (в его начале) любви до безумной же (в его конце) ненависти друг к другу молодой семейной пары, это что-то совершенно непонятное ни по жанру, ни по содержанию, состоящее из неких рваных кусков, между которыми автор, как ей кажется, излагает неожиданно умные мысли. Отчего и получается, что роман этот так же мало похож на роман Льва Толстого (где все действия героев мотивированы прежде всего психологически), как картонные декорации дешёвого спектакля — на реальную жизнь. И это несмотря на все старания автора не только чрезмерно умничать, но и излагать отношения между партнёрами настолько откровенно, что никакой тайны в них уже не остаётся. Впрочем, описание, в конечном итоге, не чувств человеческих, а физиологии отношений — это почти закон современной литературы. Где чем пошлее, тем, значит, лучше. А на самом деле — безвкуснее, безобразнее. То есть без образа человеческого, как такового, превращённого автором в своей нашумевшей книге в примитивное животное.

Одним словом, после прочтения данного произведения, у меня долгое время было устойчивое тошнотворное чувство, от которого хотелось избавиться кардинально — выbleвав весь этот роман из себя, дабы очистить организм от последствий самоотравления.

Другой, ещё более раскрученный, чем Кисельгоф (у которой в её произведении киселя, вернее тягучей жижи, действительно много, а вот гофа, вернее гопы, — не говори гоп, пока не перепрыгнешь, — совсем нет), автор, живущий в Перми, Алексей Иванов.

Произведения его у всех на слуху. Это «Общага на крови», «Золото бунта», «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил».

О последнем романе трещали повсюду как не просто о выдающемся, а о гениальном произведении. Предполагая, по-видимому, что и сам Фёдор Михайлович Достоевский прослезился бы от бессилия, узнав, что сей «гениальный» роман написан не им. Настолько, по мнению критиков, автору удалось проникнуть в глубины человеческой психики.

Вот, кстати, как сам автор оценивает своё произведение: «Это роман не о том, что весёлый парень Витька не может в своей жизни обрести опору. И не о том, что молодой учитель географии Служкин влюбляется в собственную ученицу. Это роман о том, как много человеку требуется мужества и смирения, чтобы сохранить «душу живую». Не впасть в озлобление или гордыню, а жить по совести и любви».

Какие правильные, хорошие, почти библейские, слова! И порою в особо хороших местах этого романа (поскольку автор, несомненно, человек не бесталантный) возникает иногда чувство, что они и станут путеводной нитью в канве романа. Однако этого, увы, не происходит. И на протяжении почти всей книги мы наблюдаем главного героя Виктора Служкина в его стационарном состоянии — постоянного пьянства или тяжкого похмелья. Когда он не только не стремится обрести какую-то опору, а вообще ни к чему не стремится. И ни о каком мужестве (герой человек слабый), а тем более смирении, речи в романе и вообще нет. Да, герой пытается — обычно как всегда по пьяни — производить некие, похожие на человеческие действия или рассуждать о сложной человеческой природе. Правда, и то и другое Служкину удаётся с трудом. Поскольку, похоже, единственной путеводной звездой на протяжении всей книги ему служит бутылка. Отчего и действия его нормальному человеку абсолютно непонятны. Да и неприемлемы. Например, он (при этом шутя и сыпля прибаутками) фактически подкладывает свою жену под своего друга — удачного бизнесмена, как-то, весьма неуклюже впрочем, обосновывая это. Сам в перерывах между рюмочками «трахается», как он выражается, со своей давнишней, со школьных лет, знакомой. А иногда напивается до того, что и этим, любезным его сердцу делом, заняться не может, падая почти бездыханным от выпитого не на диван к своей коллеге по школе, а под диван.

И все эти действия «героя», какого-то жалкого постоянно, ничего кроме брезгливости или сочувствия вызвать, в конечном итоге, не могут.

Не хочу далее рассуждать об этой книге и разбирать её подробно (хотя и мог бы), поскольку задача моей статьи совсем иная, не критическая, а указательная, векторная. Показать где, на мой взгляд, литература хороша и где она так себе — для времяпровождения в лучшем случае, как детективы Донцовой, Марининой и иже с ними.

Правда, для чистоты эксперимента я прочёл ещё один роман Алексея Иванова, книги которого издаются московскими издательствами огромным тиражом,

«Общага на крови». Однако сей роман показался мне ещё намного хуже, во всех отношениях, чем даже «Географ...». Поскольку в «Географе...» всё-таки нередко встречаются чудесные описания природы и глубокие человеческие чувства, правда, абсолютно психологически немотивированные. Например, непонятно за что может любить вечно пьяного географа его четырнадцатилетняя ученица Маша. Нет там, на мой взгляд, для любви юной, неиспорченной девушки никаких посылов. И любовь эта в романе просто притянута за уши. И, может быть, оправдана лишь тем, если Маша является совсем уж законченной мазохисткой.

Посмотрел я и фильм «Географ глобус пропил», в котором в главной роли снялся Константин Хабенский. Фильм, по-моему, получился ещё хуже романа. И примерно того же чернушного плана и уровня, что и «Левиафан», и «Метод». В последнем главную роль играл этот же актёр — Хабенский, непонятно почему соглашающийся на подобные мелкотравчатые роли...

Теперь о книгах, на мой взгляд, неплохих и хороших.

В декабре, находясь в Сочи, я прочёл прекрасную толстенную книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Это роман-идиллия. Книга автобиографическая. Но автор там не выпячивает самого себя. Не становится бронзовым памятником. Он описывает время, в котором жил. И делает это настолько изящно, искусно, мастерски, что каждый день, прочитывая какое-то количество страниц этой книги, я сожалел только об одном, что их впереди остаётся всё меньше и меньше. Настолько это было приятное, наполненное самой жизнью чтение. Отчего и процесс этот хотелось длить и длить...

А ещё, буквально на днях, я прочёл книгу нашего старейшего работника Иркутского телевидения, режиссёра Ирины Бухаловой «Всем спасибо, запись окончена!» Книга выстроена автором как добрый диалог на кухне (со множеством отступлений от основного сюжета, что собственно и бывает при дружеской беседе). И она такая добрая. И в ней столько ценной информации о становлении телевидения в Иркутской области, что я искренне порадовался за автора книги, сделавшего нам, читателям, такой хороший подарок!

И ещё одна иркутянка Татьяна Ясникова, член Союза писателей России, преподнесла нам недавно подарок. В Художественном музее состоялась презентация её книги, выпущенной в московском издательстве «Молодая гвардия» в одной из старейших, знаменитейших, читаемых серий — «ЖЗЛ». Книга эта о сибиряке, выдающемся художнике Василии Сурикове. О котором написано уже столько книг, что вроде бы ничего нового и сказать-то уже невозможно. Даже его внучка Наталья Кончаловская (мать режиссёра Андрона Кончаловского) написала книгу о нём. Однако Татьяне удалось всё-таки «нарыть» немало нового, неожиданного порою, материала для своего титанического труда. Отчего и книга получилась не просто очень содержательная, познавательная, но и, что немаловажно, очень интересная.

И ещё, так сказать, на посошок. Мой роман «Уходящее время», вышедший на исходе 2017 года, точнее 26 декабря, что удивительно, полностью в течение месяца разошёлся. К счастью, уже в начале февраля 2018 года старейшее издательство региона, приемник Восточно-Сибирского книжного издательства — «ВостСибкнига» выпустило дополнительный тираж, ибо спрос на книгу ещё есть. Что оставляет мне надежду на то, что и моя книга, может быть, в моём реестре разобранных книг считается неплохой.

Эхо незабытого детства



Эхо детства слышат очень немногие из нас. Кто-то «глохнет» в начале бурного отрочества, но есть и те, кто порою слышит нечто далёкое, кажущееся трепетным, неотчётливым, теряющимся в неведомо откуда взявшейся то ли радужной туманной дымке, то ли призрачной радуге, заглубившим сознанием воспринимаемое не более как «прекрасная чушь».

Иркутская поэтесса Мария Артемьева (Яковенко) слышит эхо детства и замечательно проецирует его в нашем сознании. Она принадлежит к когорте немногих поэтов, пишущих для детей, и, без преувеличения, из категории штучных поэтов, составляющих славу русской и сибирской литературы. О её творчестве можно писать детально и долго.

Вот её книга «Плюющее эхо», изданная в Иркутске в 2014 году.

Открываем, читаем название стихотворения — «Облака», — и спрашиваем себя: когда последний раз я смотрел в небо? а если даже и смотрел, то что увидел, кроме заурядных облаков? Читаем:

*Плыли в небе облака, сине-белые бока!
Наворочал им причёсок смелый ветер без расчёсок.*

*Так похожи на людей, на предметы, на зверей,
На героев детских книжек и на разных ребятишек.*

*Вон там облако плывёт — большеротый бегемот,
Следом бабушка Тортилла, Чебурашка с Крокодилом.*

*Вот Хоттабыч на ковре, вот козлёнок на дворе,
Вот петух, а вот цыплёнок, вот верблюд, а вот котёнок,*

*Вот царевна, вот Яга, озерцо и берега,
Вот ворона, а вот коршун, вот кастрюля, а вот ковшик.*

*Небо — будто шар земной, ты крути лишь головой,
Небо — будто бы музей, фантазируй и глазами.*

Кажется, будто не просто слышишь далёкое, трепетное, — стоишь в самом центре радужной туманной дымки и словно бы воочию наблюдаешь бегемотов и котят... Но как *увидеть* самому? Вроде всё просто: «фантазируй и глазей», — но как фантазировать, если не слышишь эхо детства? Не можешь сам — смотри на мир глазами Марии Артемьевой, или, как она сама подсказывает, — глазей.

Следующее стихотворение — «Лошадь купила калоши».

Здесь один лишь заголовок — фантазия и поэтичность.

Обыкновенный человек видит в лошади всего лишь непарнокопытное животное, а вот поэтесса Мария Артемьева — покупательницу калош. Чтобы взглянуть на лошадь под творческим ракурсом, поэтессе достаточно посмотреть на неё глазами из детства, обыкновенному же человеку потребуется напрячься, подпрыгнуть, влезть на дерево, что ли, но — увидит ли...

— Лошадь купила калоши!
— Лошадь купила калоши?
— У лошади деньги откуда?
— В сберкассе ей дали два пуда!

Вот здесь изумительно показано обывательское мировоззрение, способное приземлить любую поэтическую фантасмагоричность. Что лошадь купила калоши — это обывателя не пронимает, его заботит другое: «У лошади деньги откуда?» И находится лишь одно рациональное (так и хочется сказать — глобализированное) решение: «В сберкассе ей дали два пуда!» И жадность, и зависть — как же, два пуда! — в одной жмени. Но обратите внимание — поэтесса говорит об этом с легчайшим, необходимым вздохом, — мол, что с них возьмёшь, такими уж уродились...

...Так удивился прохожий:
— В день не дождливый, погожий,
Лошадь в калошах! О Боже!
Это на что же похоже?..

На взгляд из детства это похоже, вот что, прохожий!

А вот — ошеломительное стихотворение «Поющее эхо»:

Эхо на крики
Мои отвечало:
Ухало, пело,
Негромко ворчало...
Крикнешь «Ха-ха!» —
И оно захохочет,
Крикнешь «Ура!» —
И оно загрохочет,
Песню поёшь —
И оно подпевает,
Быстро бежишь,
И оно догоняет.

Прочтёшь — и хочется выйти во двор, крикнуть «Ура!» — вдруг да и отзовётся кто-нибудь, запеть (про себя, конечно же!) — может быть, и подпоёт ребёнок из глубины зачем-то повзрослевшей души?.. Что тут скажешь, умеет Мария Артемьева подтолкнуть воображение!

А вот стихотворение «Бараны».

Казалось бы, бараны и поэзия даже насильно несовместимы, но давайте прочитаем стихотворение.

*Бом-бом, бом-бом,
Что за грохот, что за гром?
У ворот стоят бараны —
Бьют копытца в барабаны.
Понабычились быки —
И к баранам напрямки:
— Эй вы, глупые бараны!
Приглушите барабаны.
Неприлично вам, баранам,
По гостям ходить так рано!*

*Понасупились бараны,
Бьют сильнее в барабаны:
— Спозаранку мы не спим,
Ходим мы, когда хотим.
Призадумались быки:
— Мы зачем гостей в штыки?
И открыли ворота...
Бьют бараны: тра-та-та!*

Сюжет, картинка, звук, объём — ну что за поэтическая прелесть! И, кстати говоря, готовый мультфильм, правда, пока ещё не нарисованный. Касательно назидательности (она здесь есть, без неё в детском стихотворении никак нельзя) — спрятана настолько глубоко, что, пожалуй, дети воспримут её лишь на уровне подсознания, а вот взрослые увидят сразу же, ведь это стихотворение живо напомнит эскапады и пароксизмы международной политики... Но — стоп! Здесь хочется сказать: умеет Мария Артемьева в стихах коснуться всего, написать и для детей, и для взрослых, плотно и вместе с тем изящно, красиво — по-настоящему поэтически.

«Считалочка», несмотря на незатейливый заголовок, написана для думающих детей и взрослых.

*Шили зайчата зверятам подушки.
У каждой подушки есть острые ушки.*

*Пять новых подушек зайчата кроили,
Но их получилось не пять, а четыре...*

Бежало стихотворение, бежало — и споткнулось об интригу. Тот, кто читает, и те, кто слушают, невольно интересуются: как? почему?

*...Прежде чем эти подушки отдать,
Зайчата решили их посчитать:*

*— Сшили сначала четыре подушки,
Сверху два ушка и снизу два ушка.*

*Потом ещё сшили пять раз по четыре
И ровно рядами на полку сложили.*

*Сбились зайчата подушки считать,
Шили-то вроде четыре по пять...*

Вот незадача, она же задача! Далее — внимательнее:

*...Четыре по пять во второй раз пошили,
А в первый раз сшили всего лишь четыре.*

*Так сколько зайчата сшили подушек?
Умножь на четыре — вот столько и ушек.*

И вовлечённый ребёнок не замечает, как стихотворение неприметно перетекло в поэтический урок математики. Что и требовалось: «Считалочка» — значит, надо считать!

Кстати говоря, неплохо бы в детском саду или начальной школе уроки (и не только математики) разнообразить считалками, говорилками, сказилками и прочими крайне нужными штуками, написанными поэтами, понимающими детскую душу, такими, как Мария Артемьева. Стихотворные учебники, уверен, окажутся весьма востребованными и педагогами, и родителями. Сейчас, в условиях рынка, все стремятся из всего извлечь скорую прибыль, так почему бы не извлечь её — не сейчас, а в недалёком будущем — из поэтов? Наверное, наше государство не поворачивается к писателям потому, что попросту не понимает, как использовать находящийся втуне интеллектуальный капитал.

Книжная полка



Каменный цветок: антология стихов о войне. — Иркутск: [б.и.], 2017 (Тип. «Репроцентр А1»). — 482 с.

Книга поразительных в своей правдивости стихотворений о Великой Отечественной войне, о людях на той войне, о жизни, просшей из смерти павших. Стихи, рождённые сердцем. Стихи солдат-поэтов и сти-

хи послевоенного поколения, вобравшие горечь и боль теперь уже далёкой, но не забытой войны.

Редактором и руководителем проекта выступил поэт В.П. Скиф.

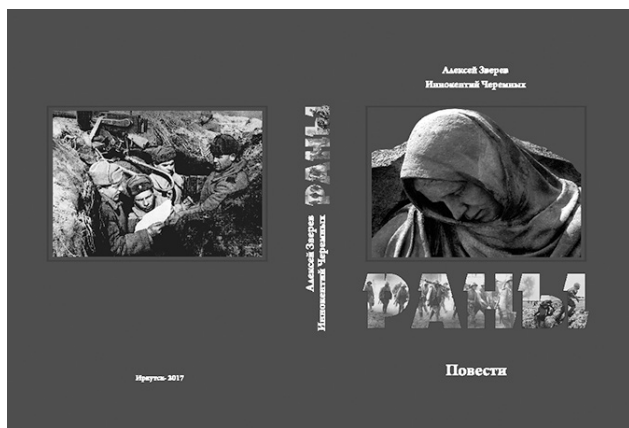
Пакулов, Г.И.

Глубинка: повести / Г.И. Пакулов. — Иркутск: [б. и.], 2017 (Тип. «Форвард»). — 176 с.

В книгу известного сибирского прозаика Глеба Пакулова включены повести «Глубинка» и «Останцы». Повесть «Глубинка», написанная почти сорок лет назад, повествует о военном детстве автора. В повести «Останцы» рассказывается о по-разному сложившихся

судьбах двух земляков, призванных в армию из одного села. В этих произведениях в полной мере проявился писательский талант автора, его умение несколькими штрихами показать характер героя, снабдить его неповторимыми чертами и поставить перед непростым жизненным выбором. Психологизм, достоверность и метафоричность — вот отличительные черты прозы Глеба Пакулова, поставившие его в один ряд с лучшими писателями земли Сибирской.





Раны: повести сибиряков о войне/А. Зверев, И. Черемных. — Иркутск: [б.и.], 2017 (Тип. «Репро-центр А1»). — 448 с.

В эту книгу включены повести сибиряков о Великой Отечественной войне. Авторы повестей — Алексей Васильевич Зверев и Иннокентий Захарович Черемных — знали о войне не

понаслышке. Оба воевали на передовой, оба были тяжело ранены, и оба вернулись с фронта домой орденоносцами и победителями в самой страшной в истории человечества войне. Включённые в книгу повести «Раны», «Выздоровление», «Разведчики», «Передышка» и «Гарусный платок» — стали классикой сибирской литературы, вошли в её золотой фонд. Эти произведения никого не оставят равнодушными. В них не только суровая правда о страданиях и о смерти, но и глубокое сочувствие оглушённому войной человеку. Рекомендуется читателям всех возрастов.

Максимов, В.П.

Уходящее время: пунктирный мемуар / В.П. Максимов. — Иркутск: Востсибкнига, 2017. — 363 с.

Новая книга известного сибирского писателя — роман-воспоминание о родном крае и земляках наполнен трогательными страницами жизни, творчества, любви.





Артемьева, М.И.

Ай да кошка!: стихи для детей / М.И. Артемьева; худож. Т.А. Югатова. — Иркутск: [б.и.], 2018 (Тип. «Форвард»). — 56 с.: ил.

Главный герой поэзии известной иркутской писательницы Марии Артемьевой — юный читатель — пытливый наблюдатель, который восторженно смотрит на мир и удивляется: почему летает «бумажный змей» без мотора, почему мыши не боятся котов, а коты предпочитают читать книжки, верить в чудеса.

В новой книге маленьких почемучек также заинтересует загадочный волк, который дружит с детьми, им понравится красивая модница лиса. Они будут сочувствовать наивному Мишке-топтыжке, ко-

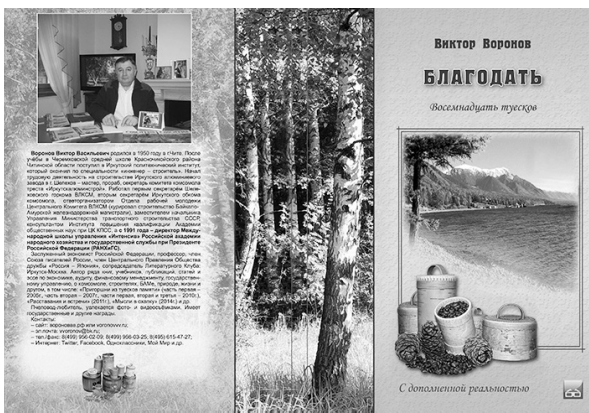
торый сбивает кедровые шишки себе в лоб, придут в восторг, что в книжке есть стихи про домик из стульев, — именно такой они строят сами, и захотят непременно быть похожими на полюбившихся героев.

Книга предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Воронов, В.В.

Благодать. Восемнадцать туесков: эссе / В.В. Воронов. — М.: Прондо, 2016. — 108 с.: ил.

Очередная книга Виктора Воронова впервые создана одновременно и как обычная полноцветная иллюстрированная художественная книга, и как интерактивное литературно-художественное издание (имеет 106 фотографий, фоторяды, видеоряды, музыкальное сопровождение). Читателю предлагаются для чтения, прослушивания и просмотра не только тонкие и пронзительные наблюдения и размышления о природе, мыслях и чувствах человека, выразительно и с восхищением запечатлённые в его неизменных «туесках» в стиле эссе, с замечательными фотографиями и видеосюжетами, но также предоставляется прекрасная возможность с помощью компьютерных технологий периодически погружаться вместе с автором в саму Природу нашей планеты Земля — настоящую Благодать!





Лауреаты премии имени Валентина Распутина



Лауреаты премии А. Семёнов, В. Хайрюзов, М. Щукин, А. Байбородин, М. Попов. Фото Я. Ушаковой

Победителей Национальной литературной премии имени Валентина Григорьевича Распутина объявили в Иркутске 15 марта — в день рождения сибирского прозаика. Вручение награды состоялось впервые. **Первым лауреатом премии признан писатель Анатолий Байбородин за создание сборника повестей и рассказов «Деревенский бунт».**

— Трагедия постсоветской российской литературы не в том, что хлынул поток беллетристики, пустой либо порочной, а в том, что были утрачены критерии искусства. В том числе и литературы. А высшим критерием всегда было понятие народности. Валентин Распутин, исходя из этого критерия, воистину русский народный писатель, — подчеркнул Анатолий Байбородин после получения награды, которую ему вручили президент Российского книжного союза Сергей Степашин и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В числе лауреатов премии также Александр Донских с книгой «Солнце всегда взойдёт», Михаил Попов с романом «На креслах восточных», Александр Семёнов со сборником повестей и рассказов, Валерий Хайрюзов со сборником повестей и рассказов «Отцовский штурвал», Михаил Щукин с романом «Каторжная воля».

Торжественная церемония вручения премии в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова собрала большое количество людей. Кроме Сергея Степашина и Сергея Левченко, сюда прибыли митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, председатель организационного комитета премии, управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства «Вече» Леонид Палько, председатель жюри премии, писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский и другие гости.

— Сегодня знаменательный день для всех любителей литературы, для всех жителей Прибайкалья. Сегодня день рождения нашего знаменитого земляка Валентина Григорьевича Распутина. Идея об учреждении премии была высказана год назад. Нас поддержали мгновенно, на всех уровнях, начиная с Правительства и Администрации президента России. Разные общественные организации сразу откликнулись для наполнения премии, чтобы у нас была гарантия, что премия будет постоянной. Благодарен всем, кто принимал в этом участие, — сказал в приветственном слове Сергей Левченко.

Сергей Степашин выразил огромное уважение Валентину Распутину и поделился мнением о его творчестве.

— Валентин Григорьевич Распутин представлял собой русскую совесть, просвещённого и православного человека. Когда он писал о деревне, он писал не о населённых пунктах, а о потерянных корнях нашего народа, о людях без памяти, не любящих свою землю, такой силы произведения я встречал только у Достоевского. Я очень рад, что нам удалось воплотить в жизнь эту идею о присуждении национальной литературной премии имени вашего великого земляка, — отметил он, обращаясь к собравшимся в зале.

Слово взял и митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.

— Валентина Григорьевича нет с нами уже три года. Это время, наполненное глубокими воспоминаниями и переживаниями. Сегодня присутствуем при удивительно радостном событии. Вручается премия, носящая такое название, которое Валентин Григорьевич бы сам одобрил, — национальная литературная. Для него это было весьма важно — национальная. Он был человеком, который любил национальное достоинство нашего народа.

Инициативу учреждения Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина впервые озвучил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в 2016 году во время подготовки к юбилейным мероприятиям, посвященным 80-летию со дня рождения Валентина Григорьевича. Учредителями премии стали Российский книжный союз и правительство Иркутской области, соучредителями — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России и госкорпорация «Ростех». Премию планируют вручать один раз в два года.

На первый конкурс поступили 104 заявки из 38 регионов России, а также Германии, Израиля, Казахстана, США, Украины и Эстонии. Приём заявок объявили в декабре 2017 года, в феврале 2018-го к работе приступило жюри. В его составе было 11 человек. Среди них ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев, главный редактор журнала «Москва» Владимир Крупин, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, секретарь правления Союза писателей России Владимир Скиф и другие. В наблюдательном совете Национальной литературной премии имени Валентина Распутина состоят семеро человек, в том числе Сергей Степашин, Сергей Левченко, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, который реализует программы поддержки писателей, Сергей Филатов.

Верхушка айсберга

О ЖУРНАЛЕ «СИБИРЬ» (№ 1, 2018)

Вышел в свет первый номер журнала «Сибирь» за 2018 год. Журнал издаётся в Иркутске, что уже само по себе вызывает интерес читателей, которые любят творчество Валентина Распутина и Александра Вампилова, других знаменитых иркутян. Как любой айсберг огромен из-за величины своей подводной части, так и значительность литературного издания определяется теми авторами, которые десятилетиями создавали писательский авторитет региону, городу, его журналам и книгам. Многих из иркутских знаменитостей уже нет с нами. Они скрыты океаном времени. Но именно их творчество, как огромная «подводная» часть, — держит на плаву верхушку айсберга под названием журнал «Сибирь». И притягивает всех пишущих.

В конце первого номера журнала большая подборка информации о творческих встречах на Иркутской земле. Читаешь известные имена и убеждаешься — в течение всего прошлого года на конференциях здесь побывала вся Россия. Почти вся российская культурная элита, которая любит свою страну!

Совсем рядом Байкал — сакральное место, излучатель горней духовной энергии. Да простит мне Гоголь небольшой плагиат, но редкий атеист, доплыв до середины Байкала, не ощутит присутствия Небесных сил. Возле Байкала нельзя писать плохо...

В числе издателей и авторов «Сибири» мы видим друзей и соратников иркутских «старейшин». Они — известные писатели и поэты, награждены многими премиями и постоянным вниманием читателей. Это Анатолий Байбородин и Владимир Скиф, Валерий Хайрюзов и Александр Донских. В 2016 году авторитетным жюри журнал «Сибирь» был признан лучшим изданием Российской Федерации.

В первом номере «Сибири» продолжает иркутскую тему московский поэт Валерий Хатюшин. Державным своим оком поэт-патриот узрел связь времён...

*Нет, на Руси монархия не свергнута.
В ней Царь и вождь скрепились на века.
По улицам Урицкого и Свердлова
я вышел к монументу Колчака.*

В разделе «Поэзия» представлены поэты Нина Ягодинцева из Челябинска и Максим Орлов из Братска. Их произведения не случайно собраны вместе под одной обложкой журнала «Сибирь». Это авторы русского склада, народного лада! И как говорил ещё Александр Твардовский, всё понятно, всё на русском языке.

Читая стихи Максима Орлова, вспоминаешь поэтические споры имажинистов и символистов в горячую пору двадцатых годов. Как тогда ценили яркую образность, сколько надежд вкладывали в неё поэты! И как ловко тогда умели «в небеса запустить ананасом», а читателя поразить парадоксальной по смыслу гиперболой или метафорой. И не боялись обвинений в зауми! Часто во время отчаянных экспериментов все смыслы разлетались в клочья. Появлялись неудачно рождённые герои, вроде пастернаковской «любимой», которая «прекрасна без извилин», но были и озарения Маяковского про «единственный глаз у идущего к слепым чело-

века». И многое другое. Главное, поэты искали что-то новое. Максим Орлов весь опыт борьбы за образность стиха, конечно, знает и ничего не боится: высший класс поэта, когда он находит не удачные сравнения, а видит себя неким персонажем и говорит от его имени. Поэт Орлов может выступить то как ученик на уроке черчения, то как художник, свой стих называющий «этюдом».

Но какую бы роль поэт ни определил для себя, он всегда остаётся патриотом и влюблённым в жизнь философом, который мыслит образами, но за образностью не забывает о важнейших вопросах бытия.

*Настал октябрь... Светла Покрова гжель,
хотя не вся земля покрыта снегом.
Повсюду — серо-грязная постель,
и поберега не белá, а пегá.
Местами смачно чавкает мокреть —
зима пришла, но злобствует вполсилы.
Ещё не срок России околеть,
не тот мороз, чтоб околеть России.*

Этюд № 5

И нету у планеты Земля такого количества морозов, чтобы нас совсем «заморозить». Слишком велик запас духовной энергии. В Иркутской стороне она имеет свойство накапливаться и согревать множество людей. Начиная с памяти о декабристах, к культуре здесь относятся очень бережно, как к общему богатству нашей нации. И здесь есть кому заниматься её сбережением.

Особенность журнала «Сибирь» ещё в том, что он не поддался новомодным течениям: показом суетных мытарств российского среднего класса и богатых «хозяев жизни», которые заняты склоками по поводу делёжки капиталов и любовниц. В журнале публикуются произведения, где герои — люди рабочие, люди простые. Петербуржец Александр Богатырёв, например, опубликовал в журнале рассказ о старом церковном стороже. Есть ощущение, что редакция журнала «Сибирь» подбирала авторов из разных российских регионов по одному критерию: покажите нам народную жизнь большинства российских тружеников, которые не страдают комплексами общества потребления, как герои многочисленных телесериалов. Которые пытаются жить в согласии с природой, сохранили свою душу для любви и веры. Как иногда говорят модные критики: у журнала «Сибирь» — другой творческий проект. Полный антипод коммерческой чисто развлекательной литературе.

Писатель Борис Шергин своими «Поморскими сказами» повествует о помо-
рах мурманских и архангельских. В этом же номере «Сибири» Владимир Личу-
тин опубликовал статью об этом удивительном православном прозаике. В статье
есть такие строки: «Не только житьё лепит певца, но и рождение; родина входит
в твою кровь неслышно от предков твоих и навсегда. Ничего не пропадает втуне,
всё копится в нашей долгой памяти, и порою достаточно лишь её одной, чтобы
понять отчие пределы. Много ли Шергин пробыл в родном Поморье, но зато до
самой смерти странствовал по своей памяти...»

По какой памяти могут странствовать русскоязычные «образованцы» (термин Сол-
женицына) наших мегаполисов? Только по мстительной памяти о своих многочислен-
ных обидах и отрицательных эмоциях по поводу жительства среди нашего народа.

Шергин свою родину слышал: «бывало, поезд от Москвы до Архангельска
шёл тридцать шесть часов. И вот сначала грубоватое новгородское оканье слуша-

ешь, потом ярославское — оно помягче, потом круглое вологодское и наконец степенное — архангельское. И говоры эти, как сложный музыкальный инструмент; всякая струна на свой лад выстроена».

Вот как надо чувствовать, чтобы быть не просто по-русски пишущим, а по-русски живущим.

Станислав Китайский рассказом «Рупь делов» напомнил нам о советской Сибири. Он умер в 2014 году. А вот его проза живёт своей жизнью. Когда-то я встречал его с делегацией писателей в заповедных местах Крайнего Севера. Ему было тогда 44 года. В этом году ему было бы 80 лет. Светлана Тарбеева посвятила юбилюру статью, где достаточно подробно рассказывает о его жизни и творчестве.

Герои рассказа Владимира Максимова «Заненастило» — обитатели барака, но от того их будни не становятся скучнее. Совсем наоборот! Пусть это поход на рыбалку, но это настоящая жизнь на природе... Рассказ создавался в местечке Порт Байкал. Когда рассказ пишется рядом с Байкалом, он не может не сверкать чистотой языка...

Рассказ Александра Обухова «Бабушка» о детях, а точнее, об учительнице и ученике. Как трогательно изображён мальчишка-сирота, который ищет папе-вдовцу новую жену, а себе — маму. Сюжет простой и прекрасный. Герои — сердечные! Такие случаи надо уметь видеть и желать запечатлеть в литературе. Обухов умеет и желает. Такие истории вызывают искренние слёзы сострадания. Они из всё той же «шинели Гоголя». Видеть за частной историей общедуховное, объединяющее всех, призывал ещё воспитанник бездомных сирот Макаренко. Любые повествования о любви педагог-новатор считал частным делом самого автора, если за описаниями любовных историй нет каких-то обобщений, которые будет полезно знать другим людям. История, рассказанная писателем Обуховым, должна потрясти читателя глубоким проникновением автора в душу ребёнка, оставшегося без матери.

Отдел «Публицистика» представлен статьей Василия Шелехова «Русский крест» и литературными заметками автора этих строк. Хотите увидеть наше российское общество глазами православного человека — читайте публицистику журнала «Сибирь».

В разделе «Критика» публикуется обстоятельная работа Анатолия Байбородина о Сергее Есенине «Душа грустит на небесах». Темы, поднятые в ней, заслуживают новой диссертации по литературоведению. Хотя на Руси это давно не научная дисциплина, а поле битвы Русского мира за свою идентичность. И рецензии у нас давно как военные сводки.

Автор статьи воссоздаёт те «круги ада», в которых оказался Есенин, перебравшись в Первопрестольную. Плотной смрадной стеной, как вурдалаки гоголевского бурсака из «Вия», окружили поэта «и порочный малый, стихоплёт, с крылом волос, как с чёлкой конской, укрывшей бесноватый глаз; и женственный певец с косичкой и серьгой в ухе; и раздобревший и лукавый пустобай; и хулиган-жиган из подворотни; и с жирными перстнями душегубец-вор; а с ними и барыги, и правители, иноверцам продавшие Русь. Все они славили рязанского поэта и, размазывая по лицу мутные хмельные слёзы, мусолили «хулиганские» стихи. Но славушка от них, что ославушка, будто и не славили — изгалялись над бедной деревенщиной, заблудшей в каменной чашобе. От таких похвала, что хула!»

Не покидает ощущение, что эта странная толпа из какой-то другой страны... Она не имеет ничего общего с той Российской Федерацией, которую воспевают Маяковский, которая строила социализм. Русский духовный мир в этой толпе как одинокая фигура Иисуса Христа на горе среди иудейской пустыни.

Байбородин видит великого поэта во всей сложности его духовного мира. Кре-

стьянский сын из рязанского села Константиново таил в себе целый Вавилон смыслов: язычество, которое из нашего народа никуда не делось и благополучно отстаивает свои ценности в наших натурах, в наших поэтах. Но рядом, в одной и той же душе, может воссиять особая щедрая православная духовность, как бриллиант, — Светлый мир Христов! В Есенине и его стихах — этого небесного света любви удивительно много. Рискну утверждать, что гораздо больше, чем в поэте Юрии Кузнецове. Только Николай Рубцов получил его сполна. Поэтому Рубцов по-есенински щедр на искреннюю любовь. Прав французский писатель Мишель Уэльбек: только у великого художника может быть мужество быть сентиментальным! Я бы добавил: и предельно искренним, так что со стороны это кажется простоватой наивностью. Особенно с точки зрения литераторов с психикой, тяжело заболевшей иронией и сарказмом.

Не удивительно, что питаться этим небесным светом, поглотить его — собираются все силы зла, как чёрные кошки на запах валерьянки. Сергея Есенина плотным кольцом окружили мариенгофы и бурлюки. У толпы вурдалаков каждый светлый гений на особом учёте. В своё время к поэту Рубцову было приставлено некое существо, очень напоминающее по своему «обаянию» помощницу Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

А по-другому и не бывает. Тьма только в живописи полезна в качестве тени, а в живых существах она не заботится о колорите, о гармонии светотени, она жадно питается светом, стремится поглотить его совсем, без остатка. Много из того Небесного, что было в Есенине, к счастью, осталось в его стихах! Остальное, проглотило окружение и собственная греховная, как у всякого живущего в этом мире, натура поэта. День и ночь дьявольские пляски иудствующих помощников князя тьмы отвлекали поэта от его главного великого дела: записывать стихами приходящие к нему в сердце волны Небесного Света! Есенин оказался по-крестьянски сильным, не соблазнился «американской мечтой», и свита князя тьмы — убила его.

Потом, сменив наряды и имена, — такой же толпой — чёрная свита стала кружить вокруг писателей следующего поколения «почвенников». Эти новые «дьявольские пляски» убедительно описал в журнале Анатолий Заболоцкий, рассказывая о судьбе писателя Василия Белова. Герои книг Белова — настоящие живые русские люди, которые проходят сквозь все революционные проекты, сквозь все режимы и все государства, потому что они — люди Отечества. Но это же можно сказать о многих героях произведений, опубликованных в журнале «Сибирь».

Журнал словно чуткий камертон. Он умеет слышать настоящее русское слово. Умеет отличить искренность и боль творческого человека от постмодернистских забав нынешней литературной либеральной тусовки в мегаполисах, родину, как духовное понятие, от страны, как места проживания.

Раздел журнала под названием «Вернисаж» посвящён памяти художника Анатолия Костовского. Читаешь, смотришь репродукции и ещё раз убеждаешься: такие картины может писать только верующий человек — с трепетом и благоговением, как чудодействовал Нестеров.

Точно так же о самом художнике может написать только автор, владеющий богатейшим словарным запасом народного русского языка и близкий к Православию. Григорий Лазарев — именно такой автор. После ужасного полуиностранного языка критиков либеральных журналов с их вывертами, вроде «дискурса», «брутальности», «игры в смыслы» — кажется, что статья Лазарева выводит читателя на чистый воздух из прокуренного подвала. Вот отрывок из статьи:

«Художник взошёл к рускости, народности, когда храм на холстах не столь па-

мятник зодчества, не столь и живописный образ, сколь обитель Божия, где в очистительном страдании, в покаянной молитве спасается грешная душа на пороге Вечности; когда деревенские избы, старгородские ветхие усадьбы не столь милый сердцу живописный вид, сколь русская судьба, величавая и печальная, о которой Анатолий Костовский мог бы воскликнуть: «Люблю навек, до вечного покоя...»

Образы родной сибирской природы, старых городских улочек, близких сердцу земляков, в произведениях иркутского художника Анатолия Костовского вызывают смешанное чувство грусти и восторга — настолько они правдоподобны и так эмоционально созвучны нашему восприятию. Его пейзажи, натюрморты и портреты — протяжённое во времени живописание любимых образов».

Не могу не привести здесь один случай из моей практики посещения картинных галерей. В далёкие советские годы в Иркутске проходила художественная выставка японской живописи. А в одном из залов заканчивалась выставка полотен Ленинградского Эрмитажа. Сначала я посетил японскую экспозицию. Сложилось впечатление, что наши восточные соседи выражали себя с помощью пейзажа. Настроение они создавали в картине особым расположением растений и деревьев. Сам человек в этом живом саду «говорящих» растений только присутствовал. На довольно больших полотнах художников — и лица были крупными. Но вместо глаз — узкие ровные горизонтальные линии-щёлочки. Эти глаза молчали. Лицо молчало. Говорил свет среди деревьев, гамма цветов. Таков их восточный художественный язык.

В соседнем зале на стене висела маленькая Мадонна работы итальянского художника Рафаэля. Крохотные глаза портрета Мадонны горели как живые. Их можно было создать с помощью какой-то особо тонкой кисти, точнее, даже волоса. Но по-другому было нельзя. Без блеска в зрачках картина бы не ожила, взор бы её не сиял несколько сотен лет. Так, выражаясь только ему присущим языком и стилем, живёт любое национальное искусство.

Перед русским художником в Сибири стоят свои поистине метафизические творческие задачи. Тут орнаментом и чёрно-белым рисунком наших восточных соседей-японцев не обойтись. У нас в России ещё со времён картины «Грачи прилетели» художника 19-го века Саврасова — пейзаж понимается художниками как сложное произведение со своей драматургией... И если уже берётся за него русский художник, то с мыслью о вечных вопросах бытия. В каждом пейзаже ищет разгадку мировых тайн... И если вложил в него душу, пейзаж сам начинает говорить и подсказывать разгадку этих тайн!

Лазарев пишет, что «однажды в мастерскую к Анатолию Костовскому... навелись студенты художественного училища, затаённо дерзкие, одержимые бесом крушения реализма, мечтающие на порушенном реализме нагромоздить Содом и Гоморру. Но... посмотрели работы мастера и оторопели: да реалист ли Костовский при столь образной, символической живописи?! Может, у иных слепых котят разлепились веки, отпахнулись глаза на реализм, который у художников, подобных Анатолию Костовскому, не убогий натурализм, но поэтическое, символическое, образное воплощение на холсте земной реальности, непостижимо таинственной, причудливой, парадоксально сочетающей в себе горний свет и дольний сумрак!»

Кто знает лучших иркутских писателей, не сомневается, что раздел пародий под названием «Сумочка к ребру» в журнале «Сибирь» будет всегда на высоком профессиональном уровне. Один из его основателей, Владимир Скиф, много лет был широко известен именно как поэт-пародист! Большинство из поэтов с го-

дами теряют горячий лирический пафос. Восторженные песни юности сменяет элегия... грустный романс или злая пародия... У Скифа — обратный отчёт творческих этапов. Чем больше ему лет, тем искреннее и лиричнее его поэзия. Та самая... серьёзная, которая «не читки требует с актёра», а полного погружения в трагизм и противоречия нашей жизни. Но — неистраченный на лирику в молодости — молодой задор остался. И ещё осталась никогда не проходящая доброта.

В разделе «Сумочка к ребру» самые разные авторы выступают с пародиями на самого Скифа. Много ли найдётся редакторов, которые способны на это? Это как бы дополнение к статье Евгения Степанова «О пародии». Пародия может быть и сатирой, и поводом для юморески, и вежливым напоминанием автору о допущенных им в тексте произведения смысловых ошибках, невнимательности, небрежности. Но во всех вариантах и жанрах — пародия должна быть доброй!

Но с добротой сейчас в литературе дела обстоят совсем плохо. Как отмечает Евгений Степанов, «в настоящее время распространён, прежде всего, фельетонно-эпиграмматический стиль пародии, когда пародист, найдя смешную и несуразную строчку у поэта, высмеивает её. И тогда пародия — литературная критика. Таких пародий — большинство. Однако лучшие поэты-пародисты не просто высмеивают стилистические огрехи стихотворцев, но показывают особенности их версификационной манеры. Характерны в этом смысле пародии современного поэта-пародиста, живущего в Израиле, Евгения Минина». Вот одна из его пародий на следующие строки из «Божественной комедии» Владимира Скифа:

*Поэтов мало, стихотворцев рать,
И это очень грустная примета.
Ведь только Бог способен выбирать
В своей Господней милости — Поэта.*

Так у Владимира Скифа. А вот Евгений Минин:

*Услышал как-то я Господний глас,
От перепуга чуть не стал заикой:
Владимир, выбрать я способен вас
Для миссии почётной и великой.
Литинститут не нужен больше тут,
Ведь уровень его стал ерундовский.
Возглавьте вы новый институт.
Он будет называться — Скифосовский...*

Раздел «Сумочка к ребру» публикует удачные пародии других авторов. Но вот сложносочинённое слово «Скифосовский», придуманное Мининым, кажется знаковым для всех читателей журнала «Сибирь».

В духовном аду постмодернизма, среди «творческих» сборищ пишущих эгоистов всех мастей и оттенков, у которых гордыня разрослась в голове до неоперабельной опухоли, наверно нужен новый «Литературный институт неотложной моральной и нравственной помощи» для всех любителей литературы, у которых согласно пушкинскому определению «сердца для чести живы» и для Веры — душа открыта!

И создавать такой институт лучше на базе журнала «Сибирь» из славного города Иркутска.

Литературный автопробег «Великая Россия»



Писатели А. Новиков и А. Пономарёв

Можно ли проехать более десяти тысяч километров на стареньком ВАЗ-2107 в одну сторону, а потом благополучно вернуться тем же способом обратно? Эту задачу, которая наверняка вызвала бы интерес у героев не только Ильфа и Петрова, но и Жюль Верна, решают два липецких писателя — Александр Пономарёв и Андрей Новиков. В среду, 4 апреля, они отправились в автопробег «Великая Россия», который должен будет фини-

шировать через полтора месяца в Южно-Сахалинске, находящемся относительно Липецка на самом краю света. На столь смелый шаг литераторов толкнул не только авантюрный склад характера (а ведь оба писателя уже отнюдь не юноши), но и вполне практические соображения.

— Горизонтальные связи между российскими писателями в последние десятилетия оказались сильно нарушены, мы сегодня мало знаем друг о друге, о том, кто чем живёт, какими темами интересуется, какие проблемы поднимает в своём творчестве. — говорит Андрей Новиков. — Наш автопробег призван устранить это досадное недоразумение и наладить связи, причём сделать это не локально, а в масштабах всей нашей великой и необъятной России.

Впрочем, и авантюризма, без которого подобные идеи просто не придут в голову, у писателей хватает. В прошлые годы Александр и Андрей посещали с литературными миссиями Крым, Донбасс, Приднестровье и другие регионы, обстановка в которых либо остаётся напряжённой, либо стабилизировалась относительно недавно.



*Писатели А. Пономарёв, В. Замышляев,
М. Тарковский и А. Новиков*

Александр вспоминает:

— Стартующая акция даёт начало череде мероприятий, посвященных 10-летию выхода в свет первого номера литературного журнала «Петровский мост» Издательского дома «Липецкая газета», которое мы будем отмечать в сентябре. Участники автопробега — два постоянных автора журнала — взяли с собой несколько пачек свежих номеров, и теперь о «Петровском мосте» узнают «по всей Руси Великой».

Маршрут автопробега просто поражает воображение. За полтора месяца писатели сделают остановки в семнадцати регионах России: Пензенской, Самарской, Новосибирской, Омской и других областях, Республиках Башкортостан и Бурятия, Красноярском, Забайкальском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области... На обратном пути Александр Пономарёв и Андрей Новиков остановятся в республиках Хакасия и Горный Алтай. На каждой «станции» писатели посетят знаковые литературные места, встретятся с местными авторами, обсудят проблемы и перспективы современной литературы. Фишкой пробега станут коллективные фотосессии литераторов у памятников Пушкину, которые, конечно же, есть в каждом из городов, где им предстоит задержаться по дороге на Сахалин.



Писатели А. Новиков и А. Байбородин

И всё же, возможно ли преодолеть такой огромный километраж на старенькой «семерке», уже изрядно покосившей по далеко не самым шикарным в мире российским дорогам? Оснований сомневаться в выполнимости их миссии пока нет. Писатель убеждён, что даже если с машиной в пути что-то и случится, то дока, способный её починить, найдётся в каждой деревне. В случае с «русской классикой»

(речь в данном случае об автомобильном, а не литературном значении) на это, по крайней мере, можно рассчитывать с большей вероятностью, чем при перемещении на иномарках.

Так что присутствия духа, несмотря на возможные тяготы и лишения, мы не теряем. На литературный вопрос: по каким проблемам нашей действительности собираются они бить автопробегом вслед за «великим комбинатором» Осей Бэндером, Александр Пономарёв отвечает: «Конечно же, по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму... с тех пор у нас же мало что изменилось...»

23 апреля мы добрались до славного города Иркутска, где в Доме литераторов нас уже ждали главный редактор литературного журнала «Сибирь» Анатолий Байбородин, секретарь правления Союза писателей России, советник губернатора Иркутской области Владимир Скиф и председатель правления СП Иркутской области Юрий Баранов. Состоялась творческая беседа о вопросах современной

литературы, обратной связи между писательскими организациями России. В процессе дискуссии к нам присоединился Сергей Распутин — сын великого русского писателя Валентина Распутина. Беседа прошла в тёплой и дружеской атмосфере. Затем мы познакомились с достопримечательностями Иркутска.

Следить за перипетиями автопробега «Великая Россия» можно в социальной сети ВКонтакте, а также на сайте LipetskMedia.

Справка

Александр Пономарёв. Писатель, драматург. Родился и живёт в Липецке. Закончил филологический факультет Липецкого государственного педагогического института, Республиканский институт МВД России по специальности «практическая психология». Служил в органах внутренних дел РФ. Подполковник милиции в отставке. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Член Союза писателей России. Автор пяти книг прозы и драматургии: «За нас. За вас. За Северный Кавказ» (2008), «Хризантемы для Эммы» (2012), «Эпоха Водолея» (2015), «Бабкины сказки — дедкины подсказки» (2015), «Охота на призрака» (2015). Печатался в столичных и губернских журналах. Лауреат национальных и международных литературных конкурсов.

Андрей Новиков. Родился 26 декабря 1961 года в селе Алабузино Бежецкого района Тверской области. Окончил Литературный институт им. Горького. После окончания института в 1990 году работал корреспондентом, ответственным секретарём в газетах «Липецкие известия», «Липецкая газета», «Провинциальный репортёр», специальным корреспондентом РИА Новости по Липецкой области, главным редактором газеты «Город Лип». Автор 5 книг. Награждён почётной грамотой Правления Союза писателей России, большой серебряной медалью Н. Гумилёва, премией литературного журнала «Петровский мост». С апреля 2015 года возглавил региональное отделение Союза писателей России. Живёт в Липецке.

ДАРЬЯ НЕКРАСОВА

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЖУРНАЛА «СИБИРЯЧОК»

Кедровые орешки «Сибирячка»



*Сказочный герой журнала по имени
Сибирячок с юными писателями*

Сегодня литературно-художественный журнал «Сибирячок» — это не только знаменитый на всю Россию детский журнал, что приобщает ребят к богатому культурному наследию России, но и близкий друг юных читателей, помогающий им развивать творческие способности. Мальчишки и девчонки пишут стихи и рассказы, рисуют, занимаются научно-исследова-

тельской работой. Именно поэтому редакция журнала ежегодно проводит конкурсы детского творчества.

В декабре 2017 года стартовал конкурс «Кедровый орешек». Его участниками стали дети от 5 до 12 лет, проживающие в Сибирском федеральном округе: из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Забайкальского края, Республики Бурятия.

В жюри конкурса вошли известные иркутские писатели, художники, научные работники, члены редколлегии и редакторы журнала «Сибирячок». На конкурс пришло 199 работ. Они оценивались в шести конкурсных номинациях: «В одной волшебной стране...» (сказка, стихотворение); «Это было в нашем классе» (история из школьной жизни с весёлым или неожиданным поворотом сюжета); «Моё первое интервью»; «Будем знакомы!» (письмо герою журнала); «Сундук затей» (кроссворды, сканворды, ребусы, загадки, головоломки); «Я — герой «Сибирячка»» (рисунок). В номинациях выделялись две возрастные категории: 5 — 8 лет и 9 — 12 лет. Итоги подводились для каждой группы отдельно.

24 апреля 2018 года состоялась церемония награждения победителей конкурса. Лауреатами «Кедрового орешка» стали пятьдесят юных авторов и один детский коллектив. Юные читатели и взрослые были рады встрече с героями журнала «Сибирячок» и его создателями. Победителями конкурса стали ребята из Иркутска, Усть-Илимска, Черемхово, Бодайбо, Ангарска, Байкальска, Качугского, Тулунского, Чунского, Боханского, Осинского, Зиминского, Нижнеилимского районов Иркутской области. Как отметили организаторы и члены жюри, всех удивило мастерство юных журналистов, писателей и художников.



Сказочные герои журнала «Сибирячок»: боцман Сарма, Леший Кеша, Мудрая Ворона и юный писатель

— Конкурс детского творчества для нашей редакции — это особое время, когда приходит много писем по электронной почте, когда в редакцию с большими конвертами приезжают родители и преподаватели, когда появляется живой интерес к тому, о чём размышляют дети сегодня, — говорит Татьяна Николаевна Тихонова, главный редактор журнала «Сибирячок». —

Рассказы, сказки, интервью, истории детей внимательно прочитываются и оцениваются членами жюри. Да, не во всех номинациях названы лауреаты, потому что мы всегда честно говорим детям, что надо развивать творческие дарования посредством чтения классической литературы XIX и народной литературы XX века.